***Тема 1. Философия Древнего Китая***

***«Лунь юй» Конфуция***

*КОНФУЦИЙ -**латинизированная форма китайского Кун Фу-цзы – «Учитель Кун» (552/551–479 до н.э). Первый китайский философ, личность которого исторически достоверна, создатель конфуцианства.*

*Конфуций уже в молодости стал первым в истории Китая профессиональным преподавателем и организатором сообщества ученых-интеллектуалов (имел более трех тысячи учеников). Его педагогическая доктрина строилась на эгалитарно-демократическом принципе равных возможностей – «обучения вне зависимости от рода» обучаемого и предполагала минимальную плату – «связку сушеного мяса». Последние годы жизни он занимался развитием своего учения, преподаванием и текстологической работой над каноническими произведениями древности. Собственную историческую миссию Конфуций видел в сохранении и передаче потомкам древней культуры (вэнь), поэтому не занимался сочинительством, а редактировал и комментировал письменное наследие прошлого (5-книжие). Конфуций трактовал «культурность» (вэнь) и правильное общественное устройство как две стороны одной медали – разные проявления единого «Пути» (дао) человека. При династии Хань во 2 в. до н.э. подобный подход к культуре был высоко оценен государственной властью и конфуцианство получило статус официальной идеологии.*

*Взгляды Конфуция нашли выражение в составленном его учениками в 5–4 вв. до н.э. сборнике диалогов, исторических описаний и бытовых сцен «Лунь юй» («Суждения и беседы», «Беседы и высказывания», «Рассуждения и высказывания», «Изречения»), содержащем высказывания самого Конфуция, его учеников и их учеников. Конфуций воздерживался от суждений о сверхъестественном, полагая высшей мироуправляющей силой божественно-натуралистическое «безмолвное» Небо (тянь). Ниспосылаемое им «предопределение» может и должно быть познано человеком, который только в таком случае способен стать «благородным мужем» (цзюнь цзы), то есть личностью, сочетающей в себе идеальные духовно-моральные качества с правом на высокий социальный статус. В центре учения Конфуция – человек, осмысляемый в единой социально-этической плоскости, к котоpoй сводятся и экзистенциальные проблемы, и религиозные, и гносеологические. Человеческую «природу» Конфуций, видимо, считал этически нейтральной («по природе люди близки друг другу, а по привычкам – далеки»). Поэтому для формирования личности необходимо «преодоление себя и возвращение к благопристойности/ритуалу (ли)». «Благопристойность» – «внешняя», ритуализованная этико-социальная норма и «гуманность» (жэнь) – «внутренняя» морально-психологическая установка на «любовь к людям» составляют двуединую ось конфуцианства, вокруг которой концентрируются его основополагающие категории – «благодать/добродетель» (дэ), «долг/справедливость» (и), «ум/знание» (чжи), «сыновняя почтительность» (сяо) и др.*

ИЗРЕЧЕНИЯ

…Учитель говорил:

– Не радостно ль учиться и постоянно добиваться совершенства? И не приятно ли, когда друзья приходят издалека? Не тот ли благороден муж, кто не досадует, что неизвестен людям?

\* \* \*

…Благородный муж заботится о корне; когда заложен корень, то рождается и путь, сыновняя почтительность и послушание старшим – не в них ли коренится человечность?

\* \* \*

– Человечность редко сочетается с искусными речами и умильным выражением лица.

\* \* \*

– Я на день трижды себя вопрошаю: добросовестно ли я трудился для людей? Сохранил ли искренность в общении с друзьями? Повторял ли то, чему меня учили?

\* \* \*

– Правя уделом, способным выставить тысячу боевых повозок, надо быть тщательным в делах, правдивым, любить людей, экономить средства и побуждать народ к труду в соответствии со сменой сезонов.

\* \* \*

– Дома младшие почтительны к родителям, а на стороне послушны старшим, осторожны и правдивы, полны любви ко всем, но близки с теми, в ком есть человечность. Если при этом остаются силы, то стремятся обрести ученость.

\* \* \*

– Если кто-либо предпочитает чувственности добро, способен до изнеможения служить отцу и матери, на службе государю может жертвовать собой и обращается к друзьям с правдивым словом, то пусть бы говорили, что он неучен, я непременно назову его ученым.

\* \* \*

– Если благородный муж лишен строгости, в нем нет внушительности и он не тверд в учении. Главное – будь честен и правдив, не дружи с теми, кто тебе не равен, и не бойся исправлять свои ошибки.

\* \* \*

– Если будут чтить умерших, помнить предков, то в народе вновь окрепнет добродетель.

\* \* \*

– В какой бы стране Учитель ни был, он всегда знает о делах ее правления. Он сам ищет эти сведения или ему их дают?

\* \* \*

– Учитель получает их благодаря тому, что ласков, добр, почтителен, бережлив и уступчив. Не отличается ли он в том, как их ищет, от других людей?

\* \* \*

– Кто вглядывается в устремления своего отца, когда он жив, а после его смерти – в то, как он поступал, и не меняет его путь в течение трех лет, тот может называться почитающим родителей.

\* \* \*

– Из назначений ритуала всего ценней гармония. Она делает прекрасным путь древних царей, а им следуют в малом и великом. Но и гармония бывает применима не всегда. Если знают лишь гармонию, не заключая ее в рамки ритуала, она не может претвориться в жизнь.

\* \* \*

– Если в искренности близок справедливости, обещанное сможет выполнить. Если чтит согласно ритуалу, то избежит стыда и срама. Если твоя опора тот, кто на самом деле тебе близок, то можешь ему подчиниться.

\* \* \*

– Если благородный муж не думает во время трапезы о насыщении своего желудка, не помышляет, живя дома, об уюте, проявляет расторопность в деле, осторожно говорит и исправляется, сближаясь с теми, у кого есть путь, он может называться любящим учиться.

\* \* \*

– Не печалься, что люди не знают тебя, но печалься, что ты не знаешь людей.

\* \* \*

– Три сотни Песен заключены в одной строке, гласящей: "Его мысль не уклоняется".

\* \* \*

– Если править с помощью закона, улаживать, наказывая, то народ остережется, но не будет знать стыда. Если править на основе добродетели, улаживать по ритуалу, народ не только устыдится, но и выразит покорность.

\* \* \*

– В пятнадцать лет я ощутил стремление учиться; - в тридцатилетнем возрасте я утвердился; достигнув сорока, освободился от сомнений; в пятьдесят познал веление Неба; в шестьдесят мой слух обрел проникновенность; с семидесяти лет я следую желаниям сердца, не нарушая меры.

\* \* \*

– Ныне сыновняя почтительность сводится лишь к содержанию родителей. Но ведь содержат и животных. В чем будет тут отличие, если не проявлять самой почтительности?

\* \* \*

- (…) Что такое сыновняя почтительность (…)?

– Выражение лица – вот в чем ее трудность. Когда же появляется какое-либо дело, и младшие берут о нем заботу, а появляется вино, еда – и ими потчуют преждерожденного, то в этом ли состоит сыновняя почтительность?

\* \* \*

– Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.

\* \* \*

– Благородный муж не инструмент.

\* \* \*

- (…) Каким должен быть благородный муж (...)?

– Он прежде видит в слове дело, а после – сказанному следует.

\* \* \*

– Благородный муж участлив, но лишен пристрастности.

Малый человек пристрастен, но лишен участливости.

\* \* \*

– Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения.

\* \* \*

– Увлеченность чуждыми суждениями приносит только вред.

\* \* \*

– Как привести народ к покорности? Конфуций ответил:

– Если возвысить и поставить честных над бесчестными, то народ придет к покорности. Если возвышать бесчестных, ставя их над честными, то народ не покорится.

\* \* \*

- (…) Как добиться, чтобы народ был почтителен, предан и воодушевлен (...)?

– Будь с ним серьезен, и он станет почтителен; соблюдай долг сына и отца, и он будет предан, возвысь способных, наставь неумелых, и воодушевится.

\* \* \*

– Человеку и не быть правдивым? Не ведаю, возможно ли такое. Если у малой ли, большой повозки не скреплены оглобли с перекладиной, разве на них какая-то езда возможна?

\* \* \*

– Жертвоприношение чужому духу заключает в себе лесть.

Бездействие в момент, когда возможно поступить по справедливости, означает трусость.

\* \* \*

…При исполнении ритуала бережливость предпочтительнее расточительности; на похоронах чувство скорби предпочтительнее тщательности.

\* \* \*

Учитель говорил о музыке "Весенняя": в ней все прекрасно и все хорошо; и говорил о музыке "Воинственный": в ней все прекрасно, но хорошо не все.

\* \* \*

– Лишь тот, кто человечен, умеет и любить людей, и испытывать к ним отвращение.

\* \* \*

– Знатность и богатство – это то, к чему люди стремятся; если они нажиты нечестно, благородный муж от них отказывается. Бедность и униженность – это то, что людям ненавистно. Если они незаслуженны, благородный муж ими не гнушается...

\* \* \*

– Каждый ошибается в зависимости от своей пристрастности. Вглядись в ошибки человека – и познаешь степень его человечности.

\* \* \*

– Кто устремляется к пути, но стыдится, что плохо ест и одевается, с тем говорить не стоит.

\* \* \*

– В делах под Небесами благородный муж ничем не дорожит и не пренебрегает, но следует тому, что справедливо.

\* \* \*

– Благородный муж стремится к добродетели, Малый человек тоскует по своей земле; Благородный муж предпочитает быть наказанным, Малый человек надеется на милость.

\* \* \*

– Когда исходят лишь из выгоды, то множат злобу.

\* \* \*

– Не печалься, что тебе нет места,

А печалься о своем несовершенстве;

Не печалься, что тебя никто не знает,

Но стремись к тому, чтоб заслужить известность.

\* \* \*

– Благородный муж постигает справедливость. Малый человек постигает выгоду.

\* \* \*

– Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться; встретив недостойного, вникайте внутрь себя.

\* \* \*

– Служа отцу и матери, их увещай помягче;

А видишь, что не слушают, их чти, им не перечь;

А будут удручать, ты не ропщи.

\* \* \*

– При живых отце и матери далеко от них не уезжай,

А уедешь, будь на одном месте.

\* \* \*

– Кто не меняет путь отца три года после его смерти, тот может называться почитающим родителей.

\* \* \*

– Нельзя не помнить о возрасте отца и матери; для сына в этом сразу и радость, и тревога.

\* \* \*

– Древние предпочитали промолчать, Стыдясь, что могут не поспеть за словом.

\* \* \*

– У сдержанного человека меньше промахов

\* \* \*

– Благородный муж стремится говорить безыскусно, а действовать искусно.

\* \* \*

– Добродетель не бывает одинокой, у нее непременно есть соседи.

\* \* \*

– Настойчив ты с правителем – и вот уж опозорен;

настойчив ты с друзьями – и дружбы той уж нет.

\* \* \*

– Сначала я общался с людьми так: внимая сказанному, верил, что исполнят; теперь же я веду себя иначе: внимая сказанному, жду, когда исполнят...

\* \* \*

…Я не встречал того, кто может осудить себя в душе, когда видит, что ошибся!

\* \* \*

Жань Цю сказал: – Не то чтоб мне не нравился ваш путь, но сил моих недостает.

Учитель ответил: – В ком сил недостает, на полпути бросают. А ты еще не начинал идти!

\* \* \*

– Люди живы тем, что прямы. Коль обманщик живет, то лишь по случайности.

\* \* \*

– Узнать – не то, что пожелать; желать – не то, что наслаждаться.

\* \* \*

– Кто возвышается над средним человеком, с тем нужно говорить о высшем; но с тем, кто его ниже, о высшем говорить нельзя.

\* \* \*

…благородный муж готов идти на смерть, но он не может гибнуть безрассудно; его способны обмануть, но сделать из него глупца нельзя.

\* \* \*

– Я чувствую печаль, когда не улучшают нравы, не уясняют то, что учат, а зная долг, не могут ему следовать и не способны устранить порок.

\* \* \*

– Кто не проникнут горестным порывом, тех не просвещаю, непотрясенных не учу; не повторяю тем, кто не способен отыскать по одному углу три остальных.

\* \* \*

– Ученый человек не может не быть твердым и решительным, ибо его ноша тяжела, и путь его далек…

\* \* \*

– Народ можно принудить к послушанию, его нельзя принудить к знанию.

\* \* \*

– В дела другого не вникай, когда не на его ты месте.

\* \* \*

– Учись, словно не можешь обрести и будто опасаешься утратить.

\* \* \*

– Как можно не соглашаться со справедливым замечанием? Но при этом важно самому исправиться. Как можно не радоваться деликатно высказанному совету? Но при этом важно вникнуть в его суть. Я не могу помочь тем людям, которые лишь соглашаются, но себя не исправляют и радуются, не вникая в суть.

\* \* \*

– Главное – будь честен и правдив; с теми, кто тебе не равен, не дружи и не бойся исправлять свои ошибки.

\* \* \*

– Можно с полководцем разлучить солдат. Но нельзя стремлений у простых людей отнять.

\* \* \*

– С кем можно сообща учиться, не всегда годен для того, чтобы вместе с ним идти по пути; с кем можно идти по пути, не всегда годен для того, чтобы вместе с ним на пути прочно стоять; с кем можно стоять прочно, не всегда годен для того, чтобы вместе с ним применяться к обстоятельствам.

\* \* \*

*Колышутся, волнуются*

*Цветы на ветках сливы.*

*Я ли о тебе не думаю?*

*Да дом твой далеко отсюда.*

Учитель по поводу этих строк заметил: – Не думает. А если бы думал, то было бы недалеко.

\* \* \*

– Считать ли благородным мужем того, кто одобряет верные суждения?

Или он только внешне кажется достойным?

\* \* \*

- (…) В чем состоит управление государством (…)?

– Это когда достаточно еды, достаточно оружия и есть доверие народа.

– А что из названного можно первым исключить в случае необходимости?

– Можно исключить оружие.

– А что из остающегося можно первым исключить в случае необходимости?

– Можно исключить еду. Смерть издревле никто не может избежать, когда ж народ не верит, то не устоять.

\* \* \*

– Когда руководишь, забудь об отдыхе. А выполняя поручение, будь честен.

\* \* \*

- (…) Что значит быть кому-то другом (…)?

– Будь честен с ним, когда даешь ему совет, и побуждай к хорошему. Но если он не слушает, то не настаивай, чтобы не быть униженным.

\* \* \*

– Какое множество людей!..

– Когда их много, то что еще следует сделать?

– Их обогатить, – ответил Учитель.

– А если станут и богаты, то что еще следует сделать?

– Их обучить…

\* \* \*

– Воистину, как верно сказано, что если власть в стране в течение ста лет будет принадлежать хорошим людям, то они смогут справиться с насилием и обойтись без казней!

\* \* \*

– Даже когда приходит к власти истинный правитель, человечность может утвердиться лишь через поколение.

\* \* \*

- (…) Что значит управление государством (…)?

– Это когда радуются те, что близко, и приходят те, что далеко.

\* \* \*

- (...) Как должен действовать правитель (...)?

– Не рассчитывай на скорые успехи и не соблазняйся малой выгодой. Поспешишь – и не добьешься цели, соблазнишься малым – и не сделаешь великого.

\* \* \*

– Не найдя идущего посередине, должны сближаться с необузданным и добросовестным. Необузданные целеустремленны, а добросовестные сдержанны.

\* \* \*

Кто непостоянен в своей добродетели, часто испытывает стыд.

\* \* \*

– Благородные мужи при разногласии находятся в гармонии; у малых же людей гармонии не может быть и при согласии.

\* \* \*

– Что, если кого-то любят все односельчане? Учитель ответил: – Это плохо.

–.Что, если кого-то ненавидят все односельчане?

– Это тоже плохо. Будет лучше, если его полюбят лишь хорошие односельчане и невзлюбят плохие.

\* \* \*

– Легко служить, когда правит благородный муж, но угодить ему непросто. Ему не угодить, если угождать, не следуя пути. Когда же он руководит людьми, то исходит из талантов каждого.

Трудно служить, когда правит малый человек, но угодить ему легко. Ему можно угодить, если даже угождать, не следуя пути. Когда же он руководит людьми, то крайне к ним взыскателен.

\* \* \*

– В благородном муже скромность сочетается с раскованностью, в малом человеке при отсутствии раскованности много спеси.

\* \* \*

– Если хороший человек учил людей семь лет, их можно посылать в сражение.

\* \* \*

– Вести сражаться необученных людей значит их бросать.

\* \* \*

– А может ли считаться человечностью избавление от тщеславия, высокомерия, зависти и алчности?

– Это можно считать труднодостижимым. Что же касается человечности, то я не знаю, – ответил Учитель.

\* \* \*

– Не достоин быть ученым тот, кто думает о сытой спокойной жизни.

\* \* \*

– У добродетельных людей всегда есть что сказать, но у кого есть что сказать, тот не всегда бывает добродетелен.

Кто полон человечности, тот непременно храбр, но храбрый не всегда исполнен человечности.

\* \* \*

– Как можно быть нетребовательным к тому, кого ты любишь?

Как можно оставлять без наставления того, кому ты предан?

\* \* \*

— Трудно бедняку злобы не питать. И легко богатому не быть заносчивым.

\* \* \*

…совершенным также мож­но считать того, кто предпочитает справедливость лич­ной выгоде, жертвует собой в момент опасности и никог­да, даже пребывая длительное время в трудных обсто­ятельствах, не забывает своих обещаний.

\* \* \*

- (…) Как служить государю (…)?

- Не лги и не давай ему покоя.

\* \* \*

В древности учились ради улучшения себя. Ныне учатся, чтобы понравиться другим.

\* \* \*

— Благородный муж стыдится много говорить, когда же действует, то проявляет неумеренность.

\* \* \*

— Что если за зло платить добром? Учитель ответил: — А чем же за добро платить? Плати за зло по справедливости. А за добро плати добром.

\* \* \*

Мальчик из селения Цюэ докладывал Учителю. Кто-то спросил о нем: — Он делает успехи? Учитель ответил: — Судя по тому, что он садится с нами, ходит наравне со старшими по возрасту, это тот, кто ищет скорых результатов, а не настоящего успеха.

\* \* \*

— Благородный муж в нужде не отступает; малый человек, терпя нужду, становится распущенным.

\* \* \*

— Если твои речи честны и правдивы, а поступки благородны и исполнены почтительности, то проявишь себя, даже в землях варваров. Но как сможешь проявить себя, пусть даже и в родных краях, если речи твои лживы и нечестны, а поступки лишены благородства и почтите­льности? Когда стоишь, то должен видеть это мысленно перед собой, а едешь в повозке — видеть это, словно оно прислонилось к перекладине. Тогда только и сможешь проявить себя.

\* \* \*

— Когда не говорите с тем, с кем можно говорить, то упускаете таланты; когда же говорите с тем, с кем гово­рить нельзя, то тратите слова напрасно. Но умный ни­кого не упускает и не тратит слов напрасно.

\* \* \*

— Когда не ведают далеких дум, то не избегнут близких огорчений.

\* \* \*

— Все кончено! Я не встречал еще того, кто любил бы добродетель так же сильно, как чувственные на­слаждения.

\* \* \*

— Когда строги к себе и снисходительны к другим, не вызывают злобы.

\* \* \*

— Как трудно быть вместе целый день и с увлечением умничать, не заводя речей о справедливости!

\* \* \*

— Благородный муж печалится о своем несовершен­стве, он не печалится о том, что неизвестен людям.

\* \* \*

— Благородный муж страшится, что умрет он и не будет его имя прославляться.

\* \* \*

— Благородный муж, сознавая свое превосходство, никому его не показывает, он легко сходится с людьми, но остается беспристрастным.

\* \* \*

— Благородный муж не возвышает никого за речи, но не отвергает и речей из-за того, кто их говорит!

\* \* \*

— Найдется ли одно такое слово, которому можно было бы следовать всю жизнь? Учитель ответил: — Не таково ли сострадание? Чего себе не пожелаешь, того не делай и другим.

\* \* \*

— Искусной речью затемняют добродетель, а неболь­шое нетерпение может помешать великим замыслам.

\* \* \*

— Когда кого-либо все ненавидят, это требует проверки; когда кого-либо все любят, это требует проверки.

\* \* \*

— Человек способен сделать путь великим, но великим человека делает не путь.

\* \* \*

— Лишь та — ошибка, что не исправляется.

\* \* \*

— Я днями целыми не ел и ночи напролет не спал — все думал, но напрасно, полезнее — учиться.

\* \* \*

— Благородный муж не ценен в малом, но ему по силам все великое; малым людям не по силам все вели­кое, но они ценны в малом.

\* \* \*

— Человечность для людей важнее, чем вода с огнем. Я видел погибавших от воды с огнем, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь погиб от человечности.

\* \* \*

— Не уступай возможности быть человечным даже своему наставнику.

\* \* \*

— Благородный муж тверд в принципах, но не упрям.

\* \* \*

— Когда служат государю, относятся с благоговением к своим обязанностям и не придают значения тому, какое получают жалованье.

\* \* \*

Учитель подчеркнул: — Можно учить всех, не делая различий.

\* \* \*

— Когда пути не одинаковы, не составляют вместе планов.

\* \* \*

— От речи требуется только выразительность.

\* \* \*

…благородный муж не любит, когда не высказы­вают прямо своих побуждений, лишь стараются найти им оправдание. Я слышал, что того, кто правит государством или возглавляет знатный род, тревожит не отсутствие богатства, а его несоразмерное распределение, тяготит не малочисленность народа, а отсутствие благополучия. При соразмерности нет бедности; когда царит гармония, нет недостатка в людях; где утверждается благополучие, там не бывает потрясений… коль непокор­ны жители далеких местностей, их привлекают тем, что совершенствуют образование и нравственность; когда же привлекают, то делают их жизнь благополучной…

\* \* \*

— Бывают три полезных друга и три друга, приносящих вред. Полезны справедливый друг, чистосердечный друг и друг, который много знает. А вредны льстивый друг, двуличный друг и друг красноречивый.

\* \* \*

— Есть три полезных и три вредных радости. Полезно радоваться правильно исполненному ритуалу с музыкой, речам о чем-нибудь хорошем в людях и тому, что дружи­те со многими достойными людьми. Но вредно пре­даваться радостям тщеславия, безделья и застолья.

\* \* \*

— Рядом с благородным мужем допускают три ошиб­ки: говорить, когда не время говорить, — это опромет­чивость; не говорить, когда настало время говорить, — это скрытность; и говорить, не замечая его мимики, — это слепота.

\* \* \*

— Благородный муж выполняет три запрета: в моло­дости, когда горячи дыхание и кровь, он избегает наслаж­дений; в зрелости, когда сильны дыхание и кровь, он избегает ссор; в старости, когда слабы дыхание и кровь, он избегает жадности.

\* \* \*

— Благородный муж трижды испытывает трепет: он трепещет перед Повелением Неба, с трепетом относится к великим людям и трепещет перед словом лю­дей высшей мудрости. Малый человек, не зная Повелений Неба, перед ними не трепещет, непочтительно ведет себя с великими людьми и пренебрегает словом людей вы­сшей мудрости.

\* \* \*

— Высший — тот, кто знает от рождения, следующий — тот, кто познает в учении; следующий далее — учится, когда испытывает крайность; те же, кто и в крайности не учатся, — люди низшие.

\* \* \*

— Благородный муж вынашивает девять дум. Когда глядит, то думает, ясно ли увидел; а слышит — думает, верно ли услышал; он думает, ласково ли выражение его лица, почтительны ль его манеры, искренна ли речь, благоговейно ль отношение к делу; при сомнении думает о том, чтоб посоветоваться; когда же гневается, думает об отрицательных последствиях; и перед тем, как что-то обрести, думает о справедливости.

\* \* \*

— "Стремлюсь к хорошему, словно опасаюсь его упустить, от плохого же отскакиваю, как ошпаренный". Я встречал таких людей и такие речи слышал. "Живу уединенно в поиске того, к чему стремится сердце; делаю то, что справедливо, и тем самым достигаю своего пути". Я такие речи слышал, но не встречал таких людей.

\* \* \*

— Природа каждого с другим сближает, привычка друг от друга отдаляет.

\* \* \*

— Никогда не изменяются только высшая мудрость и самая большая глупость.

\* \* \*

…о шести достоинствах, переходящих в шесть заблуждений…

Когда стремятся к человечности, но не хотят учиться, то это заблуждение приводит к глупости. Когда стремятся проявить свой ум, но не хотят учиться, то это заблуждение ведет к дерзости. Когда стремятся быть правдивыми, но не хотят учиться, то это заблуждение приносит вред. Когда стремятся к прямоте, но не хотят учиться, то это заблуждение приводит к грубости. Когда стремятся быть отважными, но не хотят учиться, то это заблуждение приводит к смуте. Когда стремятся к непреклонности, но не хотят учиться, то это заблуждение приводит к безрассудству.

\* \* \*

— Кто распространяет слухи, тот отбросил до­бродетель.

\* \* \*

— Как можно вместе с низким человеком служить государю? Когда он еще не достиг своей цели, то трево­жится лишь о том, чтобы достигнуть. Когда уже достиг, то тревожится лишь о том, чтобы не утратить. Когда тревожится о том, чтобы не утратить, может пойти на все.

\* \* \*

— В древности у людей было три недостатка, которых в наше время уже, наверно, не найти! Необузданность у древних проявлялась в своенравности, ныне она прояв­ляется в распущенности; горделивость древних прояв­лялась в сдержанности, ныне она проявляется в озлоблен­ности; глупость древних проявлялась в прямоте, ныне она означает только лживость.

\* \* \*

— Человечность редко сочетается с искусными речами и умильным выражением лица.

\* \* \*

— Я хотел бы не говорить.

— Что же тогда мы сможем передать, если Вы не будет говорить? — спросил Цзыгун. Учитель ответил: — А говорит ли Небо что-нибудь? Но чередуются в году сезоны, рождается все сущее. А говорит ли Небо что-нибудь?

\* \* \*

— Трудно, когда не находят применения своему серд­цу, проводя все дни в чревоугодии! Разве нет такой игры, как шашки? Уж лучше играть в них, чем ничего не делать!

\* \* \*

— Благородный муж больше всего ценит справед­ливость. Когда благородный муж смел, но несправедлив, он вызывает смуту; когда малый человек смел, но неспра­ведлив, он становится разбойником.

\* \* \*

— Трудней всего общаться с женщиной и малым человеком. Приблизишь их к себе — и станут дерзкими, а удалишь — озлобятся.

\* \* \*

— Нет будущего у того, кто вызывает неприязнь к себе в сорокалетнем возрасте.

\* \* \*

— Ремесленники, чтобы выполнить свою работу, тру­дятся в мастерских, а благородный муж для достижения своей стези учится.

\* \* \*

— Ошибаясь, малый человек всегда находит опра­вдание.

\* \* \*

— Благородный муж по-разному воспринимается в трех случаях: издалека он выглядит внушительным, вблизи предстает ласковым, а его речи отличает строгость.

\* \* \*

— Благородный муж, не обретя доверия простых людей, не заставляет их трудиться, иначе они примут его за насильника; не обретя доверия, он не выступает с уве­щанием, иначе его примут за клеветника.

\* \* \*

— Если не выходить за рамки высшей добродетели, то можно не быть строгим в соблюдении второстепенных правил поведения.

\* \* \*

— Я слышал от Учителя, что люди до поры до времени не могут выразить себя, но это непременно происходит с ними, когда умирают их родители.

\* \* \*

— Высшие утратили свой путь, и народ давно уже находится в смятении. Раскрывая преступления простых людей, сочувствуй и скорби, а не впадай в самодо­вольство.

\* \* \*

— Когда ошибается благородный муж, то это как затмение солнца и луны. Он делает ошибку — и все это замечают; он исправляет ее — и все устремляют к нему взоры.

\* \* \*

Великодушие покоряет всех, правдивость вызывает у людей доверие, сметливость позволяет достигать ус­пеха, а беспристрастность радует.

\* \* \*

— Каковы условия участия в правлении страной? Учитель ответил:

— Если относиться с почитанием к пяти достоинствам и устранять четыре недостатка, то можно принимать участие в правлении.

— Что значит пять достоинств? Учитель ответил:

— Благородный муж, оказывая милость, не несет расходов; не вызывает злобы у людей, когда заставляет их трудиться; его желания несовместимы с жадностью; он полон величавости, но чужд высокомерия; он грозен, но в нем нет свирепости.

— Что значит: "оказывая милость, не нести расходов?" Учитель ответил:

— Благотворить народу, используя все то, что прино­сит ему выгоду, — это ли не милость, не требующая расходов? Если для людей, которых заставили трудиться, выбирать посильный труд, то у кого из них возникает злоба? Когда стремятся к человечности и добиваются ее, откуда может взяться жадность? Благородный муж не смеет проявить пренебрежение, имеет ли он дело с много­численным или немногим, великим или малым, — это ли не величавость без высокомерия? Благородный муж но­сит надлежащим образом шапку и платье, его взор полон достоинства, он так внушителен, что люди, глядя на него, испытывают трепет, — он ли не грозен без свирепости?

— Что значит четыре недостатка? Учитель ответил:

— Казнить тех, кого не наставляли, значит быть жестоким; требовать исполнения, не предупредив зара­нее, значит проявлять насилие; медлить с приказом и при этом добиваться срочности, значит наносить ущерб; и в любом случае скупиться, оделяя чем-либо людей, значит поступать казенно.

\* \* \*

— Не зная Повеления Неба, не сможешь быть благо­родным мужем.

Не зная ритуала, не сможешь утвердиться.

Не понимая сказанного, не сможешь разобраться в человеке.

*(Лунь Юй //Конфуций. Я верю в древность. –М.,1995. С. 55-164)*

***тема 2. Античная философия. "О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов" Диогена Лаэрция, "Апология Сократа" Платона***

ДИОГЕН ЛАЭРЦИЙ (ЛАЭРТСКИЙ), греческий писатель, живший скорее всего в 3 в. н.э. «Лаэрций» не указывает ни на происхождение Диогена, ни на его родной город, по-видимому, это прозвище или эпитет. Диоген – автор истории греческой философии в десяти книгах, единственного произведения такого рода, которое дошло до нас полностью и является источником уникальных сведений. В I кн. автор настаивает на чисто греческом происхождении философии, рассказывает о первых, полулегендарных греческих поэтах, вкратце обозревает дальнейшее развитие философии, после чего повествует о Фалесе и Семи мудрецах. Во II–VII кн. говорится об «ионийских» философах, таких, как Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор и наконец Сократ, к которому примыкают другие философы этой группы. Здесь мы обнаруживаем, например, Ксенофонта, основоположника гедонизма Аристиппа, создателя диалектической школы Эвклида Мегарского, главу Академии Платона (которому Диоген отводит целую книгу), Аристотеля и школу перипатетиков, Антисфена и его последователей киников, Зенона и его школу стоиков. VIII кн. посвящена «италийским» философам, прежде всего Пифагору, Эмпедоклу, астроному Эвдоксу и др. В IX кн. дается характеристика философов, стоящих особняком (Гераклит, Ксенофан), а затем рассказано о Пармениде, Зеноне Элейском, Демокрите, Протагоре, Пирроне и прочих скептиках вплоть до Сатурнина (2 в. н.э.). Х кн. целиком посвящена Эпикуру и его школе. Возникает впечатление, что свою схему развития философии Диоген строит вокруг двух ключевых фигур – Сократа и Пифагора.

*В построениях Диогена много неясного, они зачастую искусственны или сомнительны, хотя история греческой философии до сих пор основывается во многом именно на них. Книга в целом представляет собой компиляцию имевшихся на тот момент историй философии, биографий, библиографий и т.д., основана на зачастую плохо скомпонованных выписках, бессвязных и иногда противоречивых. Диоген ссылается на сотни источников, но с большинством из них он был знаком лишь из вторых, а то и из третьих рук. Тем не менее, современным исследователям пока не удалось выявить его собственных источников. По содержанию книга весьма разнообразна, местами это не имеющая никакой ценности спекуляция, а иногда – весьма компетентное изложение. Книга содержит также бесценные свидетельства (в частности, три послания Эпикура).*

## О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

***Фалес*** (по согласному утверждению и Геродота, и Дурида, и Демокрита) был сын Эксамия и Клеобулины из рода Фелидов, а этот род финикийский, знатнейший... [Он был одним из семи мудрецов], что подтверждает и Платон; и когда… эти семеро получили именование мудрецов, он получил такое имя первым…

Отойдя от государственных дел, он обратился к умозрению природы. По одному мнению, от него не осталось ни единого сочинения – ибо приписываемая ему *“Судоводная астрономия”* принадлежит, говорят, Фоку Самосскому… По другому же мнению, он написал только две книги: *“О солнцестоянии”* и *“О равноденствии”*, считая остальное непостижимым.

Некоторые полагают, что он первый стал заниматься астрономией, предсказывая затмения и солнцестояния… Некоторые же утверждают также, что он первый объявил душу бессмертной… Он первый нашел путь солнца от солнцестояния до солнцестояния; он первый (по мнению некоторых) объявил, что размер солнца составляет одну семьсот двадцатую часть [солнечного кругового пути, а размер луны – такую же часть] лунного пути. Он первый назвал последний день месяца “*тридесятым*”. Он первый, как говорят иные, стал вести беседы о природе.

Аристотель и Гиппий утверждают, что он приписывал душу даже неодушевленным телам, ссылаясь на магнит и на янтарь. Памфила говорит, что он, научившись у египтян геометрии, первый вписал прямоугольный треугольник в круг… Впрочем, иные, в том числе Аполлодор Исчислитель, приписывают это Пифагору...

Можно думать, что и в государственных делах он был наилучшим советчиком. Так, когда Крез пригласил милетян к союзу, Фалес этому воспротивился и тем самым спас город после победы Кира. Впрочем, в повествовании Гераклида он сам говорит, что жил в уединении «простым гражданином»… А Иероним Родосский (во II книге «Разрозненных заметок») сообщает, будто, желая показать, что разбогатеть совсем не трудно, он однажды в предвидении большого урожая оливок взял в наем все маслодавильни и этим нажил много денег.

Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным божеств. Говорят, он открыл продолжительность года и разделил его на триста шестьдесят пять дней.

Учителей он не имел, если не считать того, что он ездил в Египет и жил там у жрецов. Иероним говорит, будто он измерил высоту пирамид по их тени, дождавшись часа, когда наша тень одной длины с нами…

Гермипп в «Жизнеописаниях» приписывает Фалесу то, что иные говорят о Сократе: будто бы он утверждал, что за три вещи благодарен судьбе: во-первых, что он человек, а не животное; во-вторых, что он мужчина, а не женщина; в-третьих, что он эллин, а не варвар. Говорят также, будто однажды старуха вывела его наблюдать звезды, а он свалился в яму и стал кричать о помощи, и старуха ему сказала: *“Что же, Фалес? ты не видишь того, что под ногами, а надеешься познать то, что в небесах?”* Как астроном он известен и Тимону, который в «Силлах» хвалит его так: *Между семью мудрецами Фалес – мудрец-звездоведец...*

А изречения его известны такие:

*древнее всего сущего – бог, ибо он не рожден;*

*прекраснее всего – мир, ибо он творение бога;*

*больше всего – пространство, ибо оно объемлет все;*

*быстрее всего – ум, ибо он обегает все;*

*сильнее всего – неизбежность, ибо она властвует всем;*

*мудрее всего – время, ибо оно раскрывает все.*

Он сказал, что между жизнью и смертью нет разницы. – *“Почему же ты не умрешь?”* – спросили его. – *“Именно поэтому”,* – сказал Фалес. На вопрос, что возникло раньше, ночь или день, он ответил: *“Ночь – раньше на один день”*. Его спросили, что на свете трудно*?* – *“Познать себя”*. Что легко? – *“Советовать другому”*. Что приятнее всего? – *“Удача”*. Что божественно? – *“То, что не имеет ни начала, ни конца”*. Что он видел небывалого? – *“Тирана в старости”*. Когда легче всего сносить несчастье? – *“Когда видишь, что врагам еще хуже”*. Какая жизнь самая лучшая и справедливая? – *“Когда мы не делаем сами того, что осуждаем в других”.* Кто счастлив? *– “Тот, кто здоров телом, восприимчив душою и податлив на воспитание”…*

Аполлодор… пишет, что родился Фалес в 1-й год 39-й олимпиады, прожил 78 лет (или, по словам Сосикрата, 90) […]

***Анаксимандр Милетский, сын Праксиада.*** Он учил, что первоначалом и основой является беспредельное (apeiron), и не определял его ни как воздух, ни как воду, ни как что-либо иное. Он учил, что части изменяются, целое же остается неизменным. Земля покоится посередине, занимая место средоточия, и она шарообразна. Луна светит не своим светом, а заимствует его от солнца. Солнце величиною не менее Земли и представляет собою чистейший огонь.

Он же первый изобрел гномон, указывающий солнцестояния и равноденствия, и поставил его в Лакедемоне на таком месте, где хорошо ложилась тень (так пишет Фаворин в «Разнообразном повествовании»), а также соорудил солнечные часы. Он первый нарисовал очертания земли и моря и, кроме того, соорудил небесный глобус.

Суждения свои он изложил по пунктам в сочинении, которое было еще в руках Аполлодора Афинского. Этот последний сообщает в своей «Хронологии», что на втором году 58-й олимпиады Анаксимандру было 64 года, и вскоре после этого он умер; (расцвет же его в основном приходится на время тирании Поликрата Самосского) […]

***Анаксимен Милетский, сын Евристрата***, был учеником Анаксимандра; некоторые же пишут, будто он учился и у Парменида. Он говорил, что первоначалом являются воздух и беспредельное и что светила движутся не над землей, а вокруг земли. Языком он пользовался ионийским, простым и безыскусственным… По словам Аполлодора… скончался же в 63-ю олимпиаду […]

***Сократ, сын скульптора Софрониска и повивальной бабки Фенареты*** (по словам Платона в «Теэтете»), афинянин, из дема Алопеки...В самом деле, он был силен и в риторике (так пишет Идоменей), а Тридцать тиранов даже запретили ему обучать словесному искусству (так пишет Ксенофонт); и Аристофан насмехается в комедии, будто он слабую речь делает сильной… Он первым стал рассуждать об образе жизни и первым из философов был казнен по суду...

Освободил его из мастерской и дал ему образование Критон, привлеченный его душевной красотой (так пишет Деметрий Византийский). Поняв, что философия физическая нам безразлична, он стал рассуждать о нравственной философии по рынкам и мастерским, исследуя, по его словам, *что у тебя и худого и доброго в доме случилось.* Так как в спорах он был сильнее, то нередко его колотили и таскали за волосы, а еще того чаще осмеивали и поносили; но он принимал все это, не противясь. Однажды, даже получив пинок, он и это стерпел, а когда кто-то подивился, он ответил: *“Если бы меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?”* Все это сообщает Деметрий Византийский.

В противоположность большинству философов он не стремился в чужие края – разве что если нужно было идти в поход. Все время он жил в Афинах и с увлечением спорил с кем попало не для того, чтобы переубедить их, а для того, чтобы доискаться до истины…

Он занимался телесными упражнениями и отличался добрым здоровьем. Во всяком случае он участвовал в походе под Амфиполь, а в битве при Делии спас жизнь Ксенофонту, подхватив его, когда тот упал с коня… Он отличался твердостью убеждений и приверженностью к демократии. Это видно из того, что он ослушался Крития с товарищами, когда они велели привести к ним на казнь Леонта Саламинского, богатого человека; он один голосовал за оправдание десяти стратегов; а имея возможность бежать из тюрьмы, он этого не сделал и друзей своих, плакавших о нем, упрекал, обращая к ним в темнице лучшие свои речи.

Он отличался также достоинством и независимостью. Однажды Алкивиад (по словам Памфилы в VII книге «Записок») предложил ему большой участок земли, чтобы выстроить дом; Сократ ответил: *“Если бы мне нужны были сандалии, а ты предложил бы мне для них целую бычью кожу, разве не смешон бы я стал с таким подарком?”* Часто он говаривал, глядя на множество рыночных товаров: *“Сколько же есть вещей, без которых можно жить!” …*И он держался настолько здорового образа жизни, что, когда Афины охватила чума, он один остался невредим…

Он умел не обращать внимания на насмешников. Своим простым житьем он гордился, платы ни с кого не спрашивал. Он говорил, что лучше всего ешь тогда, когда не думаешь о закуске, и лучше всего пьешь, когда не ждешь другого питья: чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам. Это можно заключить и по стихам комедиографов, которые сами не замечают, как их насмешки оборачиваются ему в похвалу […]

Он говорил, что это удивительно: *всякий человек без труда скажет, сколько у него овец, но не всякий сможет назвать, скольких он имеет друзей*, – настолько они не в цене…

Он говорил, что есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество. Богатство и знатность не приносят никакого достоинства – напротив, приносят лишь дурное… Уже стариком он учился играть на лире: разве неприлично, говорил он, узнавать то, чего не знал? Плясал он тоже с охотою, полагая, что такое упражнение полезно для крепости тела…

…Человеку, который спросил, жениться ему или не жениться, он ответил: *“Делай, что хочешь, – все равно раскаешься”…* А молодым людям советовал он почаще смотреть в зеркало: красивым – чтобы не срамить своей красоты, безобразным – чтобы воспитанием скрасить безобразие.

Однажды он позвал к обеду богатых гостей, и Ксантиппе было стыдно за свой обед. *“Не бойся, – сказал он, – если они люди порядочные, то останутся довольны, а если пустые, то нам до них дела нет”*. Он говаривал, что сам он ест, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть…

Когда ему сказали: “*Афиняне тебя осудили на смерть*”, он ответил: *“А природа осудила их самих”*. (Впрочем, другие приписывают эти слова Анаксагору) *“Ты умираешь безвинно”*, – говорила ему жена; он возразил: *“А ты бы хотела, чтобы заслуженно?”…* Он уже собирался пить цикуту, когда Аполлодор предложил ему прекрасный плащ, чтобы в нем умереть. «Неужели мой собственный плащ годился, чтобы в нем жить, и не годится, чтобы в нем умереть?» – сказал Сократ…

Однажды Ксантиппа сперва разругала его, а потом окатила водой. *“Так я и говорил,* – промолвил он, – *у Ксантиппы сперва гром, а потом дождь”*. Алкивиад твердил ему, что ругань Ксантиппы непереносима; он ответил: *“А я к ней привык, как к вечному скрипу колеса. Переносишь ведь ты гнусный гогот?”* – *“Но от гусей я получаю яйца и птенцов к столу”*, – сказал Алкивиад. *“А Ксантиппа рожает мне детей”*, – отвечал Сократ. Однажды среди рынка она стала рвать на нем плащ; друзья советовали ему защищаться кулаками, но он ответил: *“Зачем? чтобы мы лупили друг друга, а вы покрикивали: “Так ее, Сократ! так его, Ксантиппа!”?”* Он говорил, что сварливая жена для него – то же, что норовистые кони для наездников: *“Как они, одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и я на Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми”*[…]

Родился он (как сообщает Аполлодор в «Хронологии») при архонте Апсефионе, в четвертый год 77-й олимпиады, шестого Фаргелиона, когда афиняне совершают очищение города, а делосцы отмечают рождение Артемиды. Скончался он в первый год 95-й олимпиады в возрасте 70 лет. Так пишет Деметрий Фалерский; но некоторые считают, что при кончине ему было шестьдесят лет […]

Теперь, когда мы обошли всю ионийскую философию, что вела начало от Фалеев, и упомянули в ней всех, кто достоин упоминания, перейдем к философии италийской, которой положил начало

***Пифагор, сын Мнесарха*** *—* камнереза, родом самосец(как говорит Гермипп) или тирренец (как говорит Аристоксен) с одного из тех островов, которыми завладели афиняне, выгнав оттуда тирренцев…

...Юный, но жаждущий знания, он покинул отечество для посвящения во все таинства, как эллинские, так и варварские: он появился в Египте, и Поликрат верительным письмом свел его с Амасисом, он выучил египетский язык (как сообщает Антифонт в книге «О первых в добродетели»), он явился и к халдеям и к магам. Потом на Крите он вместе с Эпименидом спустился в пещеру Иды, как и в Египте в тамошние святилища, и узнал о богах самое сокровенное. А вернувшись на Самос и застав отечество под тиранией Поликрата, он удалился в италийский Кротон; там он написал законы для италийцев и достиг у них великого почета вместе со своими учениками, числом до трехсот, которые вели государственные дела так отменно, что поистине это была аристократия, что значит «владычество лучших».

О себе он говорил (по словам Гераклида Понтийского), что некогда он был Эфалидом и почитался сыном Гермеса; и Гермес предложил ему на выбор любой дар, кроме бессмертия, а он попросил оставить ему и живому и мертвому память о том, что с ним было. Поэтому и при жизни он помнил обо всем, и в смерти сохранил ту же память…

Некоторые говорят вздор, будто Пифагор не оставил ни одного писаного сочинения. Но сам физик Гераклит чуть не в голос кричит: «Пифагор, сын Мнесарха, превыше всех людей занимался изысканиями и, отобрав эти сочинения, создал свою мудрость, свое многознание, свое дурнописание». Так он судит потому, что сам Пифагор в начале сочинения «О природе» пишет: «Нет, клянусь воздухом, которым дышу, клянусь водой, которую пью, не приму я хулы за эти слова...» В действительности же Пифагором написаны три сочинения — «О воспитании», «О государстве» и «О природе». А сочинение, приписываемое Пифагору, принадлежит Лисиду, тарентскому пифагорейцу, который бежал в Фивы и был учителем Эпаминонда. Далее, Гераклид, сын Сарапиона, в «Обзоре Сотиона» утверждает, что Пифагор написал, во-первых, книгу в стихах «О целокупном», во-вторых, «Священное слово», которое начинается так: Юноши, молча почтите вниманием это вещанье... в-третьих, «О душе», в-четвертых, «О благочестии», в-пятых, «Элофал, отец Эпихарма Косского», в-шестых, «Кротон» и другие произведения; но «Слово о таин­ствах» написано Гиппасом, чтобы опорочить Пифагора, и многие сочинения Астона Кротонского тоже приписываются Пифагору…

Сосикрат в «Преемствах» говорит, что на вопрос Леонта, флиунтского тирана, кто он такой, Пифагор ответил: «Философ», что значит «любомудр». *Жизнь*, говорил он, *подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные — торговать, а самые счастливые — смотреть; так и в жизни иные, подобные рабам, рожда­ются жадными до славы и наживы, между тем как философы — до единой только истины*…

Жизнь человеческую он разделял так: «Двадцать лет — мальчик, двадцать — юнец, двадцать — юноша, двадцать — старец. Возрасты соразмерны временам года: мальчик — весна, юнец — лето, юноша — осень, ста­рец — зима». (Юнец у него — молодой человек, юно­ша — зрелый муж.) Он первый, по словам Тимея, сказал: «*У друзей все общее*» и «*Дружба есть равенство*». И впрямь, его ученики сносили все свое добро воедино.

Пять лет они проводили в молчании, только внимая речам Пифагора, но не видя его, пока не проходили испытания; и лишь затем они допускались в его жили­ще и к его лицезрению… Видом, говорят, был он величествен, и ученикам казалось, будто это сам Аполлон, пришедший от гипербореев…

Это он довел до совершенства геометрию после того, как Мерид открыл ее начатки (так пишет Антиклид во II книге «Об Александре»). Больше всего внимания он уделял числовой стороне этой науки. Он же открыл и разметку монохорда; не пренебрегал он и наукой врачевания. А когда он нашел, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен квадрату катетов, то принес богам гекатомбу (как о том говорит Аполлодор Исчислитель); и об этом есть такая эпиграмма:

*В день, когда Пифагор открыл свой чертеж знаменитый,*

*Славную он за него жертву быками воздвиг.*

Говорят, он первый стал держать борцов на мясной пище, и первого среди них — Евримена (так утверждает Фаворин в III книге «Записок»), между тем как раньше они укрепляли тело сухими смоквами, мягким сыром и пшеничным хлебом (как сообщает тот же Фаворин в VIII книге «Разнообразного повествования»). Впрочем, некоторые утверждают, что такое питание установил не философ Пифагор, а какой-то Пифагор-умаститель, ибо философ запрещал даже убивать животных, а тем более ими кормиться, ибо животные имеют душу, как и мы (такой он называл предлог, на самом же деле, запрещая животную пищу, он приучал и приноравливал людей к простой жизни, чтобы они пользовались тем, что нетрудно добыть, ели невареную снедь и пили простую воду, так как только в этом — здоровье тела и ясность ума)… Говорят, он первый заявил, что душа совершает круг неизбежности, чередою облекаясь то в одну, то в другую жизнь; первый ввел у эллинов меры и веса (так говорит Аристоксен-музыковед); первый сказал, что Геспер и Фосфор — одна и та же звезда (так говорит Парменид).

…Учение Пифагорово невозможно было узнать до Филолая: только Филолай обнародовал три прославленные книги, на покупку которых Платон послал сто мин. И вот на ночные его рассуждения сходилось не менее шестисот слушателей, а кто удостаивался лицезреть его, те писали об этом домашним как о вели­кой удаче.

...Сам же он, как повествуют некоторые, довольствовался только медом или сотами или хлебом, вина в дневное время не касался, на закуску обычно ел овощи вареные и сырые, а изредка — рыбу. Одежда его была белая и чистая, постельная ткань — белая шерстяная, ибо лен в тех местах еще не стал известен. В излишествах он никогда не был замечен — ни в еде, ни в любви, ни в питье; воздерживался от смеха и всяких потех, вроде издевок и пошлых рассказов; не наказывал ни раба, ни свободного, пока был в гневе. Наставление он называл «напрямлением»…

Ученикам своим, говорят, он предписывал всякий раз, входя в свой дом, повторять: Что я свершил? и в чем согрешил? и чего не исполнил?..

Александр в «Преемствах философов» говорит, что в пифагорейских записках содержится также вот что. Начало всего — единица; единице как причине подлежит как вещество неопределенная двоица; из единицы и неопределенной двоицы исходят числа; из чисел — точки; из точек — линии; из них — плоские фигуры; из плоских — объемные фигуры; из них — чувственно воспринимаемые тела, в которых четыре основы — огонь, вода, земля и воздух; перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир — одушевленный, разумный, шаровидный, в середине которого — земля; и земля тоже шаровидна и населена со всех сторон. Существуют даже антиподы, и наш низ — для них верх. В мире равнодольны свет и тьма, холод и жар, сухость и влажность; если из них возобладает жар, то наступит лето, если холод — зима, если сухость — весна, если влажность — осень, если же они равнодольны — то лучшие времена года. В году цветущая весна есть здоровье, а вянущая осень — болезнь; точно так же и в сутках утро есть расцвет, а вечер — увядание, и поэтому вечер — болезненней. Воздух около земли — застойный и нездоровый, и все, что в этом воздухе, — смертно; а высший воздух — вечнодвижущийся, чистый, здоровый, и все, что в нем есть, — бессмертно и потому божественно. Солнце, луна и прочие светила суть боги, ибо в них преобладает тепло, а оно — причина жизни. Луна берет свой свет от солнца. Боги родственны людям, ибо человек причастен к теплу, — поэтому над нами есть божий промысел. Рок есть причина расположения целого по порядку его частей. Из солнца исходит луч сквозь эфир, даже сквозь холодный и плотный (холодным эфиром называют воздух, а плотным эфиром — море и влажность), тот луч проникает до самых глубин и этим все оживотворяет.

Живет все, что причастно теплу, поэтому живыми являются и растения; душа, однако, есть не во всем. Душа есть отрывок эфира, как теплого, так и холодного,— по ее причастности холодному эфиру. Душа — не то же, что жизнь: она бессмертна, ибо то, от чего она оторвалась, бессмертно... Чувство вообще и зрение в частности есть некий пар особенной теплоты; оттого, говорят, и возможно видеть сквозь воздух и сквозь воду, что теплота встречает сопротивление холода, а если бы пар в наших глазах был холодным, он растворился бы в таком же холодном воздухе. Недаром Пифагор называет очи вратами солнца. Точно так же учит он и о слухе и об остальных чувствах.

Душа человека разделяется на три части: ум (nous), рассудок (phren) и страсть (thymos). Ум и страсть есть и в других живых существах, но рассудок — только в человеке. Власть души распространяется от сердца и до мозга: та часть ее, которая в сердце, — это страсть, а которая в мозге — рассудок и ум; струи же от них — наши чувства. Разумное бессмертно, а остальное смертно. Питается душа от крови… Душами полон весь воздух, называются они демонами и героями, и от них посылаются людям сны и знаменья недугов или здравия, и не только людям, но и овцам и прочим скотам; к ним же обращены и наши очищения, умилостивления, гадания, вещания и все подобное.

Главное для людей, говорил Пифагор, в том, чтобы наставить душу к добру или злу. Счастлив человек, когда душа у него становится доброю; но в покое она не бывает и ровным потоком не течет. Справедливость сильна, как клятва, потому и Зевс именуется Клятвенным. Добродетель есть лад (harmonia), здоровье, всякое благо и бог. Дружба есть равенство ладов*…*

Из фигур он считал прекраснейшими среди объ­емных — шар, а среди плоских — круг. Старость по­добна всему, что умаляется, молодость — всему, что нарастает. Здоровье есть сохранение образа, болезнь — его разрушение…

У Пифагора была жена по имени Феано, дочь Бронтина Кротонского (а другие говорят, что Бронтину она была женой, а Пифагору ученицею), и была дочь по имени Дамо, как о том говорил Лисид в письме к Гиппасу: «Многие мне говорят, будто ты рассуждаешь о философии перед народом, что всегда осуждал Пифагор, ведь и дочери своей Дамо он доверил свои записки лишь с наказом никому не давать их из дому. И хоть она могла продать его сочинения за большие деньги, она того не пожелала, предпочтя золоту бедность и отцовский завет, а ведь она была женщина!» Был у них также сын Телавг, который стал преемником отца и (по некоторым известиям) учителем Эмпедокла; недаром Эмпедокл, по словам Гиппобота, говорит: *Славный Телавг, дитя Феано, дитя Пифагора!*

Телавг, говорят, не оставил сочинений, а мать его Феано оставила. Она же, говорят, на вопрос: *«На который день очищается женщина после мужчины?»* сказала: *«После своего мужа — тотчас, а после чужого — никогда»*. Женщине, которая идет к своему мужу, она советовала вместе с одеждою совлекать и стыд, а, вставая, вместе с одеждою облекаться и в стыд. Ее переспросили: *«Во что?»* — она ответила: *«В то, что дает мне право зваться женщиною»*.

Пифагор же, по словам Гераклида, сына Сарапиона, скончался в восемьдесят лет, в согласии с собственной росписью возрастов, хоть по большей части и утверждается, будто ему было девяносто…

Расцвет его приходится на 60-ю олимпиаду, а установления его держались еще девять или десять поколений — ибо последними из пифагорейцев были те, которых еще застал Аристоксен: Ксенофил из фракийской Халкидики, Фантон Флиунтский, Эхекрат, Диокл и Полимнаст — тоже из Флиунта; они были слушателями Филолая и Еврита Тарентских...

Пифагоров было четверо, и жили они одновременно и неподалеку: первый — кротонец, человек тиранического склада; второй — флиунтянин, занимавшийся телесными упражнениями (умаститель, как говорят иные); третий — закинфянин; четвертый — тот, о ком шла речь, кто открыл таинства философии и учил им, от кого пошло выражение «сам сказал». Говорят, что был и еще один Пифагор, ваятель из Регия, первый поставивший своею заботою соразмерность и ритм; и другой, скверный ритор; и третий, врач, писавший о грыже и составивший что-то о Гомере; и четвертый, сочинитель «Истории дорян» (как рассказывает Дионисий). Этот последний, по словам Эратосфена (которые приводит Фаворин в VIII книге «Разнообразного повествования»), впервые стал заниматься кулачным боем по-ученому, в 48-ю олимпиаду: длинноволосый, в пурпурной одежде, он был с насмешками исключен из состязания мальчиков, но тут же вступил в состязание мужчин и вышел победителем…

Фаворин говорит, что наш Пифагор стал употреблять определения для математических предметов; еще шире это стали делать Сократ и близкие к нему, потом Аристотель и стоики. Далее, он первый назвал небо мирозданием, а землю — шаром […]

***Ксенофан Колофонский, сын Дексия*** (или, по словам Аполлодора, сын Орфомена)... изгнанный из отечества... он был современником Анаксимандра (так говорит Сотион). Писал он эпические стихи, элегии и ямбы против Гесиода и Гомера, нападая на их рассказы о богах, и сам был певцом своих сочинений. Говорят, выступал он также против мнений Фалеев и Пифагора, бранил и Эпименида… Он утверждает, что есть четыре основы сущего, что миры бесчисленны, но неизменны. Облака образуются оттого, что солнце вздымает испарения и возносит их в окрестный воздух. Сущность бога шаровидна и нисколько не схожа с человеком; он весь — зрение и весь — слух, но дыхания в нем нет; и он весь — ум, разумение и вечность. Он же первый сказал, что все возникающее подвержено гибели и что душа есть дыхание.

Это он сказал, что большинство слабее, чем ум, и что с тиранами нужно говорить или как можно меньше, или как можно слаще. Эмпедокл однажды сказал ему, что невозможное дело — найти мудреца. «Конечно, — ответил Ксенофан, — ведь нужно самому быть мудрецом, чтобы признать мудреца» […]

Слушателем Ксенофана был ***Парменид Элейский, сын Пирета*** (а сам Ксенофан — слушателем Анаксимандра, как сказано в «Обзоре» Феофраста). Однако хотя он и учился у Ксенофана, но последователем его не стал, а примкнул к пифагорейцу Аминию, сыну Диохета (так говорит Сотион), человеку бедному, но прекрасному и благородному; и ему он следовал гораздо ближе, а по смерти его воздвиг ему святилище, так как сам был родом знатен и богат: Аминий, а не Ксенофан обратил его к душевному миру.

Он первый заявил, что земля шаровидна и что место ее в середине. Существуют две основы, огонь и земля, и первый служит творцом, вторая веществом. Год человеческий первое начало свое имеет от солнца, но жар и холод, из которых все состоит, сильнее и солнца. Душа и ум — одно и то же (об этом упоминает и Феофраст в «Физике», где у него изложены мнения едва ли не всех философов). Философию он разделил надвое — на философию истины и философию мнения…

Философию он излагал в стихах, подобно Гесиоду, Ксенофану и Эмпедоклу. Критерием истины выказывал он разум, в чувствах же, — говорил он, — точности нет… Это о нем написал Платон диалог, озаглавленный «Парменид, или Об идеях» […]

***Зенон Элейский***. Аполлодор в «Хронологии» говорит, что по рождению он был сын Телевтагора, по усыновлению же сын Парменида, [а Парменид — сын Пирета]... росту он был высокого, как о том говорит в «Пармениде» Платон, который упоминает о нем также в «Софокле» и в «Федре», называя его элейским Паламедом; между тем как Аристотель говорит, что он изобрел диалектику, как Эмпедокл — риторику.

Человек он был благороднейший как в философии, так и в государственных делах; книги его, говорят, полны большого ума. Мало того, он задумывал низвергнуть тирана Неарха (а иные говорят, Диомедонта) и был схвачен, как о том рассказывает Гераклид в «Сокращении» по Сатиру; но когда его допрашивали о сообщниках и об оружии, которое он вез в Липару, он в ответ оговорил всех друзей тирана, чтобы тот остался одинок, а потом, попросившись сказать ему на ухо кое о ком, вцепился в ухо зубами и не отпускал, пока его не закололи; так подвергся он той же участи, что и тираноубийца Аристогитон. Деметрий в «Соименниках» говорит, будто он откусил тирану нос, а Антисфен в «Преемствах» — будто после того, как он оговорил друзей тирана, тот его спросил, не было ли кого-нибудь еще, а он ответил: «Только ты, пагуба нашего города!», потом обратился к окружающим: «Дивлюсь я вашей трусости: чтобы не пострадать, как я, вы ползаете перед тираном!» — и наконец отгрыз себе язык и выплюнул его тирану в лицо; и граждан это так взволновало, что они тут же насмерть побили тирана каменьями…

Был он достойным человеком и во многом другом, а к вышестоящим относился с такой же надменностью, как и Гераклит. Так, родной свой город, фокейское поселение, прежде называвшееся Гиелой, а потом Элеей, неприметную общину, умевшую только вскармливать достойных мужей, любил он больше, чем тщеславные Афины, и прожил там всю свою жизнь, ни разу не выбравшись к афинянам.

Он первый стал предлагать рассуждение об Ахиллесе, (хотя Фаворин приписывает это Пармениду), равно как и многие другие. Мнения его таковы: миры существуют, пустоты же не существует; природа всего сущего произошла из теплого, холодного, сухого и влажного, превращающихся друг в друга; люди же произошли из земли, а души их есть смесь вышеназванных начал, в которой ни одно из них не пользуется преобладанием.

…Расцвет нашего философа приходится на 79-ю олимпиаду.

***Левкипп из Элеи*** (а по другим сведениям — из Абдеры, по третьим — из Милета). Он был слушателем Зенона. Мнение его было, что Вселенная беспредельна, что все в ней переменяется одно в другое, что она есть пустота и полнота. Миры возникают тогда, когда тела впадают в пустоту и прилегают друг к другу; и от движения их по мере их возрастания возникает природа светил. Солнце движется по большему кругу, чем луна; земля держится в самой середине вихря, а видом она, как бубен. Это он первый принял *атомы* за начала. Таковы основные черты его учения; частности же его следующие.

Вселенную, как сказано, называет он беспредельной. В ней есть полнота и есть пустота; то и другое он называет основами. Из них возникают и в них разрешаются бесконечные миры. Возникновение миров происходит так. Из беспредельности отделяется и несется в великую пустоту множество разновидных тел; скапливаясь, они образуют единый вихрь, а в нем, сталкиваясь друг с другом и всячески кружась, разделяются по взаимному сходству. И так как по многочисленности своей они уже не могут кружиться в равновесии, то легкие тела отлетают во внешнюю пустоту, словно распыляясь в ней, а остальные остаются вместе, сцепляются, сбиваются в общем беге и образуют таким образом некоторое первоначальное соединение в виде шара. Оно в свою очередь отделяет от себя как бы оболочку, в которую входят разнообразные тела. По мере того как она вращается в вихре, отталкиваемая от середины, эта внешняя оболочка становится тонкою, потому что все плотное, что захватывалось вихрем, постоянно стекалось в одно место. Из того, что уносилось к середине и там держалось вместе, образовалась земля. А сама окружающая оболочка тем временем росла в свою очередь за счет притока тел извне: вращаясь вихрем, она принимала в себя все, чего ни касалась. Некоторые из этих тел, сцепляясь, образовали соединение, которое сперва было влажным и грязным, потом высохло и закружилось в общем вихре и наконец воспламенилось и стало приро­дою светил.

Круг солнца — самый дальний от земли, круг луны — самый ближний, остальные лежат между ними. Все светила воспламеняются от быстроты движения, а солнце воспламеняется еще и от звезд; в луне огня лишь немного. Затмения солнца и луны... [Наклон зодиака возник оттого,] что земля накренена к югу. Северные области всегда под снегом, в холоде и во льдах. Затмения солнца происходят редко, а затмения луны часто, потому что круги их неравны. И как возникновение миров, так и возрастания их, и ущербы, и разрушения совершаются по некой неизбежности, но, какова она, Левкипп не разъясняет.

***Демокрит, сын Гегесистрата*** (а другие говорят — Афинокрита, а третьи — Дамасиппа), из Абдеры (а иные говорят — из Милета). Он был учеником каких-то магов и халдеев, которых царь Ксеркс оставил наставниками у его отца, когда у него гостил, как о том сообщает и Геродот; у них-то он еще в детстве перенял науку о богах и о звездах. Потом он перешел к Левкиппу, а по некоторым сообщениям — и к Анаксагору, моложе которого он был на сорок лет…

Деметрий в «Соименниках» и Антисфен в «Преемствах» сообщают, что он совершил путешествие и в Египет к жрецам, чтобы научиться геометрии, и в Персию к халдеям, и на Красное море; а некоторые добавляют, что он и в Индии встречался с гимнософистами, и в Эфиопии побывал. Из трех братьев он был младшим при разделе наследства и взял себе меньшую долю имущества, состоявшую в деньгах, так как они были ему нужны для путешествия...

…Демокрит побывал и в Афинах, но не заботился, чтобы его узнали, потому что презирал славу; и он знал Сократа, а Сократ его не знал. В самом деле, вот его слова: *«Я пришел в Афины, и ни один человек меня не знал*». Если диалог «Соперники» принадлежит Платону, говорит Фрасилл, то именно Демокрит есть тот безымянный собеседник, который наряду с Энопидом и Анаксагором участвует в беседе с Сократом о философии и которому Сократ говорит, что философ подобен пятиборцу: он ведь и в самом деле был пятиборцем в философии, так как занимался и физикой, и этикой, и математикой, и всем кругом знаний, и даже в искусствах был всесторонне опытен. Это ему принадлежат слова: *«Слово — тень дела».* Впрочем, Деметрий Фалерский (в «Апологии Сократа») говорит, будто он вовсе и не приезжал в Афины; тогда это еще замечательнее, ибо он пренебрег таким великим городом и предпочел не себя прославить его славой, а своей славой прославить собственный город […]

…Аристоксен в «Исторических записках» сообщает, что Платон хотел сжечь все сочинения Демокрита, какие только мог собрать, но пифагорейцы Амикл и Клиний помешали ему, указав, что это бесполезно: книги его уже у многих на руках. И неудивительно: ведь Платон, упоминая почти всех древних философов, Демокрита не упоминает нигде, даже там, где надо было бы возражать ему; ясно, что он понимал: спорить ему предстояло с лучшим из философов […]

…Мнения его следующие. Начала Вселенной суть атомы и пустота, все остальное лишь считается существующим. Миры бесконечны и подвержены возникновению и разрушению. Ничто не возникает из несуществующего, и ничто не разрушается в несуществующее. Атомы тоже бесконечны по величине и количеству, они вихрем несутся во Вселенной и этим порождают все сложное — огонь, воду, воздух, землю, ибо все они суть соединения каких-то атомов, которые не подвержены воздействиям и неизменны в силу своей твердости. Солнце и луна состоят из таких же телец, гладких и круглых, точно так же, как и душа; а душа и ум — одно и то же… Все возникает по неизбежности: причина всякого возникновения — вихрь, и этот вихрь он называет неизбежностью. Конечная цель есть душевное благосостояние; и оно не тождественно с наслаждением, как ошибочно понимали некоторые, — это состояние, при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не смущаемая ни страхом, ни суеверием, ни иною какою-нибудь страстью […]

*(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. –М.,1986)*

ПЛАТОН, настоящее имя – Аристокл (ок. 427–347 до н.э.), греческий философ и педагог. Родился в Афинах в аристократической семье, члены которой традиционно готовились к государственной карьере. С ранней молодости увлекался политикой, занимался поэтическим творчеством. Знакомство с Сократом обусловило выбор философии как основной сферы деятельности. В своих ранних, т.н. сократических диалогах Платон попытался восстановить беседы своего учителя (Сократа) в том виде, в каком они сохранились в его памяти.

Платон писал диалоги с целью помочь людям понять сущность благой жизни и побудить их жить в соответствии с таким пониманием. Он полагал (вслед за Сократом), что все люди по природе стремятся к благу. Когда душа реализует эту естественную склонность, результат ее правильной деятельности называется добродетелью. То же происходит, когда хорошо и в согласии с природой работает тело; такое состояние мы называем здоровьем. Эта концепция, позже получившая название естественного закона, лежит в основании всей этики Платона.

*Добродетель есть знание. Как и искусством, добродетелью невозможно овладеть без усилий или по счастливой случайности. Человек не может поступать хорошо, если не знает, что именно он делает, а также почему и как это следует делать. Самые дурные поступки совершаются невольно, или вопреки воле, в том смысле, что противоречат ее естественной и основной направленности на благое. Человек, совершающий такие поступки, находится в худшем положении, чем тот, кто знает благо и его желает, но отдался страстям или воле случая. Первый не может избежать зла, ибо извращены сами движущие им силы: он полагает, что знает то, чего на самом деле не знает, и думает, что желает того, чего на самом деле не желает, т.е. блага.*

*По природе душа важнее тела, поскольку душа пользуется телом как орудием, а все использующее выше используемого. Поэтому здоровье души (добродетель) важнее здоровья тела, и высшим делом человека является «забота о душе». Порок хуже смерти, и хуже совершить несправедливость, чем ее претерпеть, поскольку совершающий несправедливость калечит свою душу. Четыре основные добродетели души – это мудрость, справедливость, мужество и умеренность. Мудрость направляет действие к цели; справедливость воздает всем вещам то, что им причитается в соответствии с подлинными нуждами и возможностями каждой, как понимает их разум; мужество, невзирая на препятствия, доводит до конца мудрые и справедливые дела; умеренность представляет собой гармонию различных частей души в согласии с разумом.*

*Не существует конфликта между действительным долгом и подлинным интересом человека. Долг и польза в конечном счете совпадают. Главная наша обязанность – быть самими собой и во всем хранить себе верность. И в конечном счете это окажется гораздо более приятным и полезным, чем дурными и неразумными поступками уродовать свою природу.*

**АПОЛОГИЯ СОКРАТА**

Как подействовали мои обвинители на вас, о мужи афиняне, я не знаю; что же меня касается, то от их речей я чуть было и сам себя не забыл: так убедительно они говорили. Тем не менее, говоря без обиняков, верного они ничего не сказали. Но сколько они ни лгали, всего больше удивился я одному — тому, что они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас не провел своим ораторским искусством; не смутиться перед тем, что они тотчас же будут опровергнуты мною на деле, как только окажется, что я вовсе не силен в красноречии, это с их стороны показалось мне всего бесстыднее, конечно, если только они не считают сильным в красноречии того, кто говорит правду; а если это они разумеют, то я готов согласиться, что я — оратор, только не на их образец. Они, повторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее всю. Только уж, клянусь Зевсом, афиняне, вы не услышите речи с разнаряженной, украшенной, как у этих людей, изысканными выражениями, а услышите речь простую, состоящую из первых попавшихся слов. Ибо я верю, что то, что я буду говорить,— правда, и пусть никто из вас не ждет ничего другого; да и неприлично было бы мне в моем возрасте выступать перед вами, о мужи, наподобие юноши с придуманною речью […]

…Ведь у меня много было обвинителей перед вами и раньше, много уже лет, и все-таки ничего истинного они не сказали; их-то опасаюсь я больше, чем Анита с товарищами. И эти тоже страшны, но те еще страшнее, о мужи! Большинство из вас они восстановляли против меня, когда вы были детьми, и внушали вам против меня обвинение, в котором не было ни слова правды, говоря, что существует некий Сократ, мудрый муж, который испытует и исследует все, что над землею, и все, что под землею и выдает ложь за правду. Вот эти-то люди, о мужи афиняне, пустившие эту молву, и суть страшные мои обвинители, потому что слушающие их думают, что тот, кто исследует подобные вещи, тот и богов не признает. Кроме того, обвинителей этих много и обвиняют они уже давно, да и говорили они с вами в том возрасте, когда вы больше всего верили на слово, будучи детьми, некоторые же юношами, словом — обвиняли заочно, в отсутствие обвиняемого. Но всего нелепее то, что и по имени-то их никак не узнаешь и не назовешь, разве вот только сочинителей комедий […]

Может быть, кто-нибудь из вас возразит: «Однако, Сократ, чем же ты занимаешься? Откуда на тебя эти клеветы? В самом деле, если бы сам ты не занимался чем-нибудь особенным, то и не говорили бы о тебе так много. Скажи нам, что это такое, чтобы нам зря не выдумывать». Вот это, мне кажется, правильно, и я сам постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло на меня клевету. Слушайте же. И хотя бы кому-нибудь из вас показалось, что я шучу, будьте уверены, что я говорю сущую правду. Эту известность, о мужи афиняне, получил я не иным путем, как благодаря некоторой мудрости. Какая же это такая мудрость? Да уж, должно быть, человеческая мудрость. Этой мудростью я, пожалуй, в самом деле мудр; а те, о которых я сейчас говорил, мудры или сверхчеловеческой мудростью, или уж не знаю, как и сказать; что же меня касается, то я, конечно, этой мудрости не понимаю, а кто утверждает обратное, тот лжет и говорит это для того, чтобы оклеветать меня. И вы не шумите, о мужи афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно; не свои слова буду я говорить, а сошлюсь на слова, для вас достоверные. Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость, и того, в чем она состоит, я приведу вам бога, который в Дельфах […]

…Итак, чтобы понять, что означает изречение бога, мне казалось необходимым дойти ко всем, которые слывут знающими что-либо. И, клянусь собакой, о мужи афиняне, уж вам-то я должен говорить правду, что я поистине испытал нечто в таком роде: те, что пользуются самою большою славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию бога, чуть ли не самыми бедными разумом, а другие, те, что считаются похуже,— более им одаренными. Но нужно мне рассказать вам о том, как я странствовал, точно я труд какой-то нес, и все это для того только, чтобы прорицание оказалось неопровергнутым. После государственных людей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к дифирамбическим, и ко всем прочим, чтобы на месте уличить себя в том, что я невежественнее, чем они. Брал я те из их произведений, которые, как мне казалось, всего тщательнее ими отработаны, и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них кое-чему. Стыдно мне, о мужи, сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Ну да, одним словом, чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Таким образом, и относительно поэтов вот что я узнал в короткое время: не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят […]

Под конец уж пошел я к ремесленникам. Про себя я знал, что я попросту ничего не знаю, ну а уж про этих мне было известно, что я найду их знающими много хорошего. И в этом я не ошибся: в самом деле, они знали то, чего я не знал, и этим были мудрее меня. Но, о мужи афиняне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты: оттого, что они хорошо владели искусством, каждый считал себя самым мудрым также и относительно прочего, самого важного, и эта ошибка заслоняла собою ту мудрость, какая у них была […]

Вот от этого самого исследования, о мужи афиняне, 23 с одной стороны, многие меня возненавидели, притом как нельзя сильнее и глубже, отчего произошло и множество клевет, а с другой стороны, начали мне давать это название мудреца, потому что присутствующие каждый раз думают, что сам я мудр в том, относительно чего я отрицаю мудрость другого […]

Кроме того, следующие за мною по собственному почину молодые люди, у которых всего больше досуга, сыновья самых богатых граждан, рады бывают послушать, как я испытываю людей, и часто подражают мне сами, принимаясь пытать других; ну и я полагаю, что они находят многое множество таких, которые думают, что они что-то знают, а на деле ничего не знают или знают одни пустяки. От этого те, кого они испытывают, сердятся не на самих себя, а на меня и говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший человек, который развращает молодых людей. А когда спросят их, что он делает и чему он учит, то они не знают, что сказать, но, чтобы скрыть свое затруднение, говорят то, что вообще принято говорить обо всех любителях мудрости: он-де занимается тем, что в небесах и под землею, богов не признает, ложь выдает за истину. А сказать правду, думаю, им не очень-то хочется, потому что тогда оказалось бы, что они только делают вид, будто что-то знают, а на деле ничего не знают. Ну а так как они, думается мне, честолюбивы, могущественны и многочисленны и говорят обо мне согласно и убедительно, то и переполнили ваши уши, клевеща на меня издавна и громко. От этого обрушились на меня и Мелет, и Анит, и Ликон: Мелет, негодуя за поэтов, Анит — за ремесленников, а Ликон — за риторов […]

Мелет говорит, что я преступаю закон, развращая молодых людей, а я, о мужи афиняне, утверждаю, что преступает закон Мелет, потому что он шутит важными вещами и легкомысленно призывает людей на суд, делая вид, что он заботится и печалится о вещах, до которых ему никогда не было никакого дела; а что оно так, я постараюсь показать это и вам […]

Но пожалуй, кто-нибудь скажет: не стыдно ли тебе, Сократ, заниматься о самом себе таким делом, от которого, может быть, тебе придется теперь умереть? А на это я по справедливости могу возразить: нехорошо ты это говоришь, мой милый, будто человеку, который приносит хотя бы малую пользу, следует принимать в расчет смерть, а не думать всегда лишь о том, делает ли он дела с справедливые или несправедливые, дела доброго человека или злого. […]

…Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшее из благ, а все боятся ее, как будто знают наверное, что она есть величайшее из зол. Но не самое ли это позорное невежество — думать, что знаешь то, чего не знаешь? Что же меня касается, о мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от большинства людей только одним: если я кому-нибудь и кажусь мудрее других, то разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде, так и думаю, что не знаю. А что нарушать закон и не слушаться того, кто лучше меня, будь это бог или человек, нехорошо и постыдно — это вот я знаю. Никогда поэтому не буду я бояться и избегать того, что может оказаться и благом, более, чем того, что наверное есть зло […]

Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу — не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать; слушать вам будет полезно, как я думаю. Я намерен сказать вам и еще кое-что, от чего вы, наверное, пожелаете кричать, только вы никоим образом этого не делайте. Будьте уверены, что если вы меня такого, как я есть, убьете, то вы больше повредите себе, нежели мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Мелета, а ни от Анита, да они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. Разумеется, он может убить, изгнать из отечества, отнять все права. Но ведь это он или еще кто-нибудь считает все подобное за великое зло, а я не считаю; гораздо же скорее считаю я злом именно то, что он теперь делает, замышляя несправедливо осудить человека на смерть. Таким образом, о мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудивши меня на смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а меня вы можете сохранить, если вы мне поверите. Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще кого-нибудь. А что я такой как будто бы дан городу богом, это вы можете усмотреть вот из чего: похоже ли на что-нибудь человеческое, что я забросил все свои собственные дела и сколько уже лет терпеливо переношу упадок домашнего' хозяйства, а вашим делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом, как отец или старший брат, и убеждая заботиться о добродетели. И если бы я от этого пользовался чем-нибудь и получал бы плату за эти наставления, тогда бы еще был у меня какой-нибудь расчет, а то сами вы теперь видите, что мои обвинители, которые так бесстыдно обвиняли меня во всем прочем, тут по крайней мере оказались неспособными к бесстыдству и не представили свидетеля, который показал бы, что я когда-либо получал какую-нибудь плату или требовал ее; потому, думаю, что я могу представить верного свидетеля того, что я говорю правду,— мою бедность.

Может в таком случае показаться странным, что я подаю эти советы частным образом, обходя всех и во все вмешиваясь, а выступать всенародно в вашем собрании и давать советы городу не решаюсь. Причина этому та самая, о которой вы часто и повсюду от меня слышали, а именно что мне бывает какое-то чудесное божественное знамение; ведь над этим и Мелет посмеялся в своей жалобе. Началось у меня это с детства: вдруг — какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то голос и не допускает меня заниматься государственными делами. И кажется, прекрасно делает, что не допускает […]

…Да я и не был никогда ничьим учителем, а если кто, Молодой или старый, желал меня слушать и видеть, как я делаю свое дело, то я никому никогда не препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, вел беседы, а не получая, не вел, но одинаково как богатому, так и бедному позволяю я меня спрашивать, а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать то, что я говорю. И за то, хороши ли эти люди или дурны, я по справедливости не могу отвечать, потому что никого из них никогда никакой науке я не учил и не обещал научить. Если же кто-нибудь утверждает, что он частным образом научился от меня чему-нибудь или слышал от меня что-нибудь, чего бы не слыхали и все прочие, тот, будьте уверены, говорит неправду.

Но отчего же некоторые любят подолгу бывать со о мною? Слышали вы это, о мужи афиняне; сам я вам сказал всю правду: потому что они любят слушать, как я пытаю тех, которые считают себя мудрыми, не будучи таковыми. Это ведь не лишено удовольствия. А делать это, говорю я, поручено мне богом и через прорицания, и в сновидениях, вообще всякими способами, какими когда-либо еще обнаруживалось божественное определение и поручалось человеку делать что-нибудь. Это не только верно, афиняне, но и легко доказуемо. В самом а деле, если одних юношей я развращаю, а других уже развратил, то ведь те из них, которые уже состарились и узнали, что когда-то, во время их молодости, я советовал им что-то дурное, должны были бы теперь прийти мстить мне и обвинять меня. А если сами они не захотели, то кто-нибудь из их домашних, отцы, братья, другие родственники, если бы только их близкие потерпели от меня что-нибудь дурное, вспомнили бы теперь об этом […]

…Но вы увидите совсем противоположное, о мужи, увидите, что все готовы броситься : на помощь ко мне, к тому развратителю, который делает зло их домашним, как утверждают Мелет и Анит. У самих развращенных, пожалуй, еще может быть основание ; защищать меня, но у их родных, которые не развращены, у людей уже старых, какое может быть другое основание защищать меня, кроме прямой и справедливой уверенности, что Мелет лжет, а я говорю правду […]

### ПОСЛЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА

Многое, о мужи афиняне, не позволяет мне возмущаться тем, что сейчас случилось, тем, что вы меня осудили, между прочим и то, что это не было для меня неожиданностью. Гораздо более удивляет меня число голосов на той и на другой стороне. Что меня касается, то ведь я и не думал, что буду осужден столь малым числом голосов, я думал, что буду осужден большим числом голосов. Теперь же, как мне кажется, перепади тридцать один камешек с одной стороны на другую, и я был бы оправдан. Ну а от Мелета, по-моему, я и теперь ушел; да не только ушел, а еще вот что очевидно для всякого: если бы Анит и Ликон не пришли сюда, чтобы обвинять меня, то он был бы принужден уплатить тысячу драхм как не получивший пятой части голосов.

Ну а наказанием для меня этот муж полагает смерть. Хорошо. Какое же наказание, о мужи афиняне, должен я положить себе сам? Не ясно ли, что заслуженное? Так какое же? Чему по справедливости подвергнуться или сколько должен я уплатить за то, что ни с того ни с сего всю свою жизнь не давал себе покоя, за то, что не старался ни о чем таком, о чем старается большинство: ни о наживе денег, ни о домашнем устроении, ни о том, чтобы попасть в стратеги, ни о том, чтобы руководить народом; вообще не участвовал ни в управлении, ни в заговорах, ни в восстаниях, какие бывают в нашем городе, считая себя, право же, слишком порядочным человеком, чтобы оставаться целым, участвуя во всем этом; за то, что я не шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где мог частным образом всякому оказать величайшее, повторяю, благодеяние, стараясь убеждать каждого из вас не заботиться ни о чем своем раньше, чем о себе самом,— как бы ему быть что ни на есть лучше и умнее, не заботиться также и о том, что принадлежит городу, раньше, чем о самом городе, и обо всем прочем таким же образом. Итак, чего же я заслуживаю, будучи таковым? Чего-нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уже в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого хорошего, что бы для меня подходило. Что же подходит для человека заслуженного и в то же время бедного, который нуждается в досуге вашего же ради назидания? Для подобного человека, о мужи афиняне, нет ничего более подходящего, как получать даровой обед в Пританее, по крайней мере для него это подходит гораздо больше, нежели для того из вас, кто одержал победу в Олимпии верхом, или на паре, или на тройке, потому что такой человек старается о том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы были счастливыми, и он не нуждается в даровом пропитании, а я нуждаюсь. Итак, если я должен назначить себе что-нибудь мною заслуженное, то вот я что себе назначаю — даровой обед в Пританее.

Может быть, вам кажется, что я и это говорю по высокомерию, как говорил о просьбах со слезами и с коленопреклонениями; но это не так, афиняне, а скорее дело вот в чем: сам-то я убежден в том, что ни одного человека не обижаю сознательно, но убедить в этом вас я не могу, потому что мало времени беседовали мы друг с другом; в самом деле, мне думается, что вы бы убедились, если бы у вас, как у других людей, существовал закон решать дело о смертной казни в течение не одного дня, а нескольких; а теперь не так-то это легко — в малое время снимать с себя великие клеветы. Ну так вот, убежденный в том, что я не обижаю ни одного человека, ни в каком случае не стану я обижать самого себя, говорить о себе самом, что я достоин чего-нибудь нехорошего, и назначать себе наказание. С какой стати? Из страха подвергнуться тому, чего требует для меня Мелет и о чем, повторяю еще раз, я не знаю, хорошо это или дурно? Так вот вместо этого я выберу и назначу себе наказанием что-нибудь такое, о чем я знаю наверное, что это — зло? Вечное заточение? Но ради чего стал бы я жить в тюрьме рабом Одиннадцати, постоянно меняющейся власти? Денежную пеню и быть в заключении, пока не уплачу? Но для меня это то же, что вечное заточение, потому что мне не из чего уплатить. В таком случае не должен ли я назначить для себя изгнание? К этому вы меня, пожалуй, охотно присудите. Сильно бы, однако, должен был я трусить, если бы растерялся настолько, что не мог бы сообразить вот чего: вы, собственные мои сограждане, не были в состоянии вынести мое присутствие и слова мои оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что вы ищете теперь, как бы от них отделаться; ну а другие легко их вынесут? Никоим образом, афиняне. Хороша же в таком случае была бы моя жизнь — уйти на старости лет из отечества и жить, переходя из города в город, будучи отовсюду изгоняемым. Я ведь отлично знаю, что, куда бы я ни пришел, молодые люди везде будут меня слушать так же, как и здесь; и если я буду их отгонять, то они сами меня выгонят, подговорив старших, а если я не буду их отгонять, то их отцы и домашние выгонят меня из-за них же […]

ПОСЛЕ СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА

…От смерти уйти нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее – уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть. И вот я, человек тихий и старый, настигнут тем, что идет тише, а мои обвинители, люди сильные и проворные,— тем, что идет проворнее,— нравственною порчей. И вот я, осужденный вами, ухожу на смерть, а они, осужденные истиною, уходят на зло и неправду; и я остаюсь при своем наказании, и они — при своем. Так оно, пожалуй, и должно было случиться, и мне думается, что это правильно.

А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны пророчествовать,—когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, о мужи, меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное: больше будет у вас обличителей — тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Ну вот, предсказавши это вам, которые меня осудили, я ухожу от вас […]

А рассудим-ка еще вот как — велика ли надежда, что смерть есть благо? Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или перестать быть чем бы то ни было, так что умерший не испытывает никакого ощущения от чего бы то ни было, или же это есть для души какой-то переход, переселение ее отсюда в другое место, если верить тому, что об этом говорят. И если бы это было отсутствием всякого ощущения, все равно что сон, когда спят так, что даже ничего не видят во сне, то смерть была бы удивительным приобретением. Мне думается, в самом деле, что если бы кто-нибудь должен был взять ту ночь, в которую он спал так, что даже не видел сна, сравнить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни и, подумавши, сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту ночь, то, я думаю, не только всякий простой человек, но и сам Великий царь нашел бы, что сосчитать такие дни и ночи сравнительно с остальными ничего не стоит. Так если смерть такова, я со своей стороны назову ее приобретением, потому что таким-то образом выходит, что вся жизнь ничем не лучше одной ночи. С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место и если правду говорят, будто бы там все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого, о мужи судьи? В самом деле, если прибудешь в Аид, освободившись вот от этих так называемых судей, и найдешь там судей настоящих, тех, что, говорят, судят в Аиде, — Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема, и всех тех полубогов, которые в своей жизни отличались справедливостью,— разве это будет плохое переселение? А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером! Что меня касается, то я желаю умирать много раз, если все это правда; для кого другого, а для меня было бы удивительно вести там беседы, если бы я встретился, например, с Паламедом и Теламоновым сыном Аяксом или еще с кем-нибудь из древних, кто умёр жертвою неправедного суда, и мне думается, что сравнивать мою судьбу с их было бы не неприятно. И наконец, самое главное — это проводить время в том, чтобы распознавать и разбирать тамошних людей точно так же, как здешних, а именно кто из них мудр и кто из них только думает, что мудр, а на самом деле не мудр; чего не дал бы всякий, о мужи судьи, чтобы узнать доподлинно человека, который привел великую рать под Трою, или узнать Одиссея, Сизифа и множество других мужей и жен, которых распознавать, с которыми беседовать и жить вместе было бы несказанным блаженством. Не может быть никакого сомнения, что уж там-то за это не убивают, потому что помимо всего прочего тамошние люди блаженнее здешних еще и тем, что остаются все время бессмертными, если верно то, что об этом говорят.

Но и вам, о мужи судьи, не следует ожидать ничего дурного от смерти, и уж если что принимать за верное, так это то, что с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти и что богине перестают заботиться о его делах; тоже вот и моя судьба устроилась не сама собою, напротив, для меня очевидно, что мне лучше уж умереть и освободиться от хлопот. Вот почему и знамение ни разу меня не удержало, и я сам не очень-то пеняю на тех, кто приговорил меня к наказанию, и на моих обвинителей. Положим, что они выносили приговор и обвиняли меня не по такому соображению, а думая мне повредить; это в них заслуживает порицания. А все-таки я обращаюсь к ним с такою маленькою просьбой: если, о мужи, вам будет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь, чем о доблести, отомстите им за это, преследуя их тем же самым, чем и я вас преследовал; и если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном и воображают о себе невесть что, между тем как на самом деле ничтожны. И, делая это, вы накажете по справедливости не только моих сыновей, но и меня самого. Но вот уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога.

*(Платон. Апология Сократа //Платон. Собрание сочинений в 4 т.: Т.1. –М.,1990. С.70-96)*

тема 3. Философия средних веков. "Исповедь" Блаженного Августина

*АВГУСТИН Блаженный (Augustinus Sanctus) Аврелий (354-430) – христианский теолог, философ, влиятельнейший проповедник и политик католической церкви. Представитель западной патристики. Через манихейство, скептицизм и неоплатонизм пришел к христианству, учение которого о грехопадении и помиловании произвело на него сильное впечатление. В частности, он защищает (против Пелагия) учение о предопределении.*

*Августин учит о самодостоверности человеческого сознания (основа достоверности есть Бог) и познавательной силе любви. Новым в учении Августина, по сравнению с неоплатониками было внимание к двум проблемам: динамике человеческой личности и динамике общечеловеческой истории. Первой из них посвящена «Исповедь» - автобиографическое произведение Бл.Августина, описывающее его внутреннее развитие от младенчества до окончательного утверждения в ортодоксальном христианстве.*

*Проблема осмысления истории человечества поставлена Августином в трактате «О граде Божьем», в котором рассматриваются два противоположных вида человеческой общности: «град земной» - государственность, основанная «на любви к себе, доведенной до презрения к Богу», и «Град Божий» - духовная общность, основанная «на любви к Богу, доведенной до презрения к себе».*

*Бл.Августин был непререкаемым авторитетом в вопросах религии и философии вплоть до Фомы Аквинского (XIII в.); от него исходит платоническая ориентация ранней схоластики. В современном католицизме к Августину апеллируют мыслители, не удовлетворяющиеся рассудочностью томизма.*

Исповедь Блаженного Августина, епископа Иппонского

КНИГА ПЕРВАЯ

«Велик Ты Господи, и Всемерной достоин хвалы; велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя». И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих; человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что Ты «противостоишь гордым»… Я буду искать Тебя, господи, взывая к Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо о Тебе проповедано нам […]

…Где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь, Господь, Который создал небо и землю? Господи, Боже мой! ужели есть во мне нечто, что может вместить Тебя? Разве небо и земля, которые Ты создал и на которой создал и меня, вмещают Тебя? Но без Тебя не было бы ничего, что существует – значит, все, что существует, вмещает Тебя? Но ведь и я существую; зачем прошу я Тебя прийти ко мне: меня бы не было, если бы Ты не был во мне […]

Итак, вмещают ли Тебя небо и земля, если Ты наполняешь их? Или Ты наполняешь их и еще что-то в Тебе остается, ибо они не вмещают Тебя? И куда изливается этот остаток Твой, когда небо и земля наполнены? Или Тебе не нужно вместилища, Тебе, Который вмещаешь все, ибо то, что Ты наполняешь, Ты наполняешь, вмещая? Не сосуды, полные Тобой, сообщают Тебе устойчивость: пусть они разбиваются. Ты не выльешься. А когда Ты изливаешься в нас, то не Ты падаешь, но мы воздвигнуты Тобой; не Ты расточаешься, но мы собраны Тобой. И все, что Ты наполняешь, целиком Собой Ты все наполняешь. Но ведь все не в состоянии вместить Тебя, оно вмещает только часть Тебя, – и все сразу вмещают ту же самую часть? Или отдельные создания – отдельные части: большие большую, меньшие меньшую? Итак, одна часть в Тебе больше, а другая меньше? Или же повсюду Ты целый и ничто не может вместить Тебя целого?

Что же Ты, Боже мой? Что, как не Господь Бог? "Кто Господь, кроме Господа? и кто Бог, кроме Бога нашего? Высочайший, Благостнейший, Могущественнейший, Всемогущий, Милосерднейший и Справедливейший; самый Далекий и самый Близкий, Прекраснейший и Сильнейший, Недвижный и Непостижимый; Неизменный, Изменяющий все, вечно Юный и вечно Старый, Ты обновляешь все и старишь гордых, а они того и не ведают; вечно в действии, вечно в покое, собираешь и не нуждаешься, несешь, наполняешь и покрываешь; творишь, питаешь и совершенствуешь; ищешь, хотя у Тебя есть все. Ты любишь и не волнуешься; ревнуешь и не тревожишься; раскаиваешься и не грустишь; гневаешься и остаешься спокоен; меняешь Свои Труды, и не меняешь совета; подбираешь то, что находишь, и никогда не теряешь; никогда не нуждаешься и радуешься прибыли; никогда не бываешь скуп и требуешь лихвы. Тебе дается с избытком, чтобы Ты был в долгу, но есть ли у кого что-нибудь, что не Твое? Ты платишь долги, но Ты никому не должен; отдаешь долги, ничего не теряя. Что сказать еще, Господь мой, Жизнь моя, моя Святая Радость? И что вообще можно сказать, говоря о Тебе? Но горе тем, которые молчат о Тебе, ибо и речистые онемели […]

Тесен дом души моей, чтобы Тебе войти туда: расширь его. Он обваливается, обнови его. Есть в нем, чем оскорбиться взору Твоему: сознаюсь, знаю, но кто приберет его? и кому другому, кроме Тебя, воскликну я: "От тайных грехов моих очисти меня, Господи, и от искушающих избавь раба Твоего". Верю и потому говорю: "Господи, Ты знаешь". Разве не свидетельствовал я пред Тобой против себя о преступлениях моих, Боже мой? и ты отпустил беззакония сердца моего". Я не сужусь с Тобой, Который есть Истина, и не хочу лгать себе самому, да не солжет себе неправда моя. Нет, я не сужусь с Тобой, ибо "если воззришь Ты на беззакония, Господи, Господи, кто устоит?"

И все-таки позволь мне говорить перед Тобой, Милосердный, мне, "праху и пеплу". Позволь все-таки говорить: к милосердию Твоему, не к человеку, который осмеет меня, обращаюсь я. Может быть, и Ты посмеёшься надо мной, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня. Что хочу я сказать, Господи Боже мой? – только, что я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту – сказать ли – мертвую жизнь или живую смерть? Не знаю. Меня встретило утешениями милосердие Твое, как об этом слышал я от родителей моих по плоти, через которых Ты создал меня во времени; сам я об этом не помню […]

Исповедую Тебя, воздавая Тебе хвалу за начало жизни своей и за свое младенчество, о которых я не помню. Ты позволил человеку догадываться о себе по другим, многому о себе верить, полагаясь даже на свидетельство простых женщин. ... Откуда такое существо, как не от Тебя, Господи? Разве есть мастер, который создает себя сам? в другом ли месте течет источник, откуда струится к нам бытие и жизнь? Нет, Ты создаешь нас Господи, Ты, для Которого нет разницы между бытием и жизнью, ибо Ты есть совершенное Бытие и совершенная Жизнь. Ты совершен и Ты не изменяешься: у Тебя не проходит сегодняшний день, и, однако, он у Тебя проходит, потому что у Тебя всё; ничто не могло бы пройти, если бы Ты не содержал всего. И так как "годы Твои не иссякают", то годы Твои – сегодняшний день. Сколько наших дней и дней отцов наших прошло через Твое сегодня; от него получили они облик свой и как-то возникли, и пройдут еще и другие, получат свой облик и как-то возникнут. "Ты же всегда один и тот же": всё завтрашнее и то, что идет за ним, всё вчерашнее и то, что позади него, Ты превратишь в сегодня, Ты превратил в сегодня. Что мне, если кто-то не понимает этого? Пусть и он радуется, говоря: "Что же это?" Пусть радуется и предпочитает найти Тебя, не находя, чем находя, не найти Тебя […]

Я слышал еще мальчиком о вечной жизни, обещанной нам через унижение Господа нашего, нисшедшего к гордости нашей. Я был ознаменован его крестным знамением и осолен Его солью по выходе из чрева матери моей, много на Тебя уповавшей… Итак, я уже верил, верила мать моя и весь дом, кроме отца, который не одолел, однако, во мне уроков материнского благочестия и не удержал от веры в Христа, в Которого еще сам не верил. Мать постаралась, чтобы отцом моим был скорее Ты, Господи, чем он, и Ты помог ей взять в этом верх над мужем, которому она, превосходя его, подчинялась, ибо и в этом подчинялась, конечно, Тебе и Твоему повелению […]

Книга вторая

Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испорченность души моей не потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить Тебя, Боже мой. Из любви к любви Твоей делаю я это, в горькой печали воспоминания перебираю преступные пути свои […] Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее; я любил погибель; я любил падение свое; не то, что побуждало меня к падению; самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости Твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок […]

Книга третья

Я прибыл в Карфаген; кругом меня кипела позорная любовь… Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. Боже милостивый, какой желчью поливал Ты мне, в благости Твоей, эту сладость. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры… Тянули меня к себе и те занятия, которые считались почтенными: я мечтал о форуме с его тяжбами, где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами тем больше, чем искуснее я лгал… Я был первым в риторской школе: полон горделивой радости и надут спесью… Живя в такой среде, я в тогдашнем моем неустойчивом возрасте изучал книги по красноречию, желая в целях предосудительных и легкомысленных, на радость человеческому тщеславию стать выдающимся оратором. Следуя установленному порядку обучения, я дошел до книги какого-то Цицерона… Эта вот книга изменила состояние мое. Изменила молитвы мои и обратили их к Тебе, господи, сделала другими прошения и желания мои… Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темное; оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я был не в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше… Моя кичливость не мирилась с его простотой; мое остроумие не проникало в его сердцевину […]

Я не знал другого – того, что есть воистину, и меня словно толкало считать остроумием поддакиванье глупым обманщикам, когда они спрашивали меня, откуда зло, ограничен ли Бог телесной формой и есть ли у Него волосы и ногти, можно ли считать праведными тех, которые имели одновременно по нескольку жен, убивали людей и приносили в жертву животных… Я не знал еще тогда, что зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения […]

Книга четвертая

В течение этих девяти лет, от девятнадцатого до двадцать восьмого года жизни моей, я жил в заблуждении и вводил в заблуждение других, обманывался и обманывал разными увлечениями своими: открыто – обучением, которое зовется «свободным», втайне – тем, что носило имя религии. Там была гордость, здесь суеверие, и всюду – пустота […]

И какая польза была для меня в том, что лет двадцати от роду, когда мне в руки попало одно произведение Аристотеля под заглавием “Десять категорий” (карфагенский ритор, мой учитель. И другие люди, считавшиеся учеными, так трещали о нем, и, слыша это название, я только мечтал об этой книге, как о чем-то великом и божественном), я оказался единственным, прочитавшим и понявшим ее?.. По-моему, книга эта совершенно ясно трактовала о субстанциях и их признаках: например, человек – это качество; сколько в нем футов роста – это количество; его отношение к другим: например, чей он брат; место, где он находится; время, когда он родился; его положение; стоит или сидит; что имеет: обувь или вооружение; что делает или терпит…

Какая была мне от этого польза? А вред был. Считая, что вообще все существующее охвачено этими десятью категориями, я пытался и Тебя, Господи, дивно простого и не подверженного перемене, рассматривать как субъект Твоего величия или красоты, как будто они сопряжены с Тобой, как с субъектом, т.е. как с телом, тогда как Твое величие и Твоя красота это Ты сам…

Ложью были мои мысли о Тебе, а не истиной: жалкий вымысел мой, не блаженная крепость Твоя […]

Книга пятая

[…] Рука Твоя была в том, что меня убедили переехать в Рим и лучше преподавать там то, что я преподавал в Карфагене…

Я продолжал… быть ближе к манихеям и дружнее с ними, чем с людьми, стоявшими вне этой ереси. Я не защищал ее уже с прежним пылом, и, однако, близость с манихеями (а их много укрывалось в Риме) делала меня ленивее на поиски другого, тем более, что я отчаялся, Господи неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, найти в Церкви Твоей истину, от которой они меня отвратили: мне казалось великим позором верить, что Ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой. А так, желая представить себе Бога моего, я не умел представить себе ничего иного, кроме телесной величины – мне и казалось, что ничего бестелесного вообще и не существует, - то это и было главной и пожалуй, единственной причиной моего безысходного заблуждения […]

Я приехал в Медиолан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру, благочестивому служителю Твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу Твоему “тук пшеницы Твоей, радовали маслом, опьяняли трезвым вином”. Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к Тебе с моего ведома […]

Тогда же я приложил все силы к тому, чтобы попытаться с помощью верных доказательств изобличить манихейскую ложь. Если бы я мог представить себе духовную субстанцию, то, конечно, все их построения развалились бы, и я отбросил бы их прочь, но я не мог. Я стал, однако, по тщательном рассмотрении и сравнении, приходить к заключению, что большинство философов гораздо вернее думали о самом мире и обо всей природе, доступной нашим телесным чувствам… Этим философам, однако, я отказался доверить лечение своей расслабленной души, потому что они не знали спасительного имени Христова […]

Книга шестая

[…] Я радовался также, что мне предлагалось, читать книги Ветхого Завета другими глазами, чем раньше: книги эти ведь казались мне нелепыми, и я изобличал мнимые мысли святых Твоих, мысливших на самом деле вовсе не так. Я с удовольствием слушал, как Амвросий часто повторял в своих проповедях к народу, усердно рекомендуя, как правило: “буква убивает, а дух животворит”. Когда, снимая таинственный покров, он объяснял в духовном смысле те места, которые, будучи поняты буквально, казались мне проповедью извращенности, то в его словах ничто не оскорбляло меня, хотя мне было еще не известно, справедливы ли эти слова […]

Писание начало казаться мне тем более достойным уважения и благоговейной веры, что оно всем было открыто, и в то же время хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого; по своему общедоступному словарю и совсем простому языку оно было Книгой для всех и заставляло напряженно думать тех, кто не легкомыслен сердцем […]

Книга седьмая

Уже умерла моя молодость, злая и преступная: я вступил в зрелый возраст, и чем больше был в годах, тем мерзостнее становился в своих пустых мечтах. Я не мог представить себе иной сущности, кроме той, которую привыкли видеть вот эти мои глаза. Я не представлял Тебя, Господи, в человеческом образе: с тех пор, как я стал прислушиваться к голосу мудрости, я всегда бежал таких представлений и радовался, что нашел ту же веру в в православной Церкви Твоей, духовной Матери нашей […]

Хотя я и утверждал, что Ты непорочен, постоянен и совершенно неизменяем, и твердо верил в это, Бог наш, истинный Бог, Который создал не только души наши, но и тела, не одни души наши и тела, но всё и всех, для меня, однако, не была еще ясна и распутана причина зла. Я видел только, что, какова бы она ни была, ее надо разыскивать так, чтобы не быть вынужденным признать Бога, не знающего измены, изменяющимся; не стать самому тем, что искал…

Я старался понять слышанное мною, а именно, что воля, свободная в своем решении, является причиной того, что мы творим зло и терпим справедливый суд Твой, – и не в силах был со всей ясностью понять эту причину. Стараясь извлечь из бездны свой разум, я погружался в нее опять; часто старался – и погружался опять и опять. Меня поднимало к свету Твоему то, что я также знал, что у меня есть воля, как знал, что я живу. Когда я чего-нибудь хотел или не хотел, то твердо знал, что не кто-то другой, а именно я хочу или не хочу, и я уже вот-вот постигал, где причина моего греха. Я видел, однако, в поступках, совершаемых мною против воли, проявление скорее страдательного, чем действенного начала, и считал их не виной, а наказанием, по справедливости меня поражающим: представляя Тебя справедливым, я быстро это признал. И, однако, я начинал опять говорить: "Кто создал меня? Разве не Бог мой. Который не только добр, но есть само Добро? Откуда же у меня это желание плохого и нежелание хорошего? Чтобы была причина меня по справедливости наказывать? Кто вложил в меня, кто привил ко мне этот горький побег, когда я целиком исшел от сладчайшего Господа моего? Если виновник этому дьявол, то откуда сам дьявол? Если же и сам он, по извращенной воле своей, из доброго ангела превратился в дьявола, то откуда в нем эта злая воля, сделавшая его дьяволом, когда он, ангел совершенный, создан был благим Создателем?" И я опять задыхался под тяжестью этих размышлений, не спускаясь, однако, до адской бездны того заблуждения, когда никто не исповедуется Тебе, считая, что скорее Ты можешь стать хуже, чем человек совершить худое.

Так старался я дойти и до остального, подобно тому, как уже дошел до того, что неухудшающееся лучше, чем ухудшающееся; поэтому я и исповедовал, что Ты, Кем бы Ты ни был, не можешь стать хуже. Никогда ни одна душа не могла и не сможет представить себе нечто, что было бы лучше Тебя, Который есть высшее и совершённое Добро. И так как по всей справедливости и с полной уверенностью надо предпочесть, как я уже предпочитал, неухудшающееся ухудшающемуся, и обратить внимание, откуда зло, т. е. источник ухудшения, которому никоим образом не может подвергнуться сущность Твоя; да, никоим образом не может стать хуже Господь наш: ни по какой воле, ни по какой необходимости, ни по какому непредвиденному случаю, ибо Он есть Бог, и то, чего Он для Себя хочет, есть добро, и Сам Он есть Добро; стать же хуже – в этом пет добра. Тебя нельзя принудить к чему-нибудь против воли, ибо воля Твоя не больше Твоего могущества. Она была бы больше, если бы Ты Сам был больше Самого Себя, но воля и могущество Бога – это Сам Бог. И что непредвиденного может быть для Тебя, Который знает всё? Каждое создание существует только потому, что Ты знаешь его. И зачем много говорить о том, что Божественная сущность не может стать хуже? если бы могла, то Бог не был бы Богом […]

Так, думал я, и Твое конечное творение полно Тобой, Бесконечным, и говорил: "Вот Бог и вот то, что сотворил Бог; добр Бог и далеко-далеко превосходит создание Свое; Добрый, Он сотворил доброе и вот каким-то образом окружает и наполняет его. Где же зло и откуда и как вползло оно сюда? В чем его корень и его семя? Или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, самый страх есть зло, ибо он напрасно гонит нас и терзает наше сердце, – зло тем большее, что бояться нечего, а мы всё-таки боимся. А следовательно, или есть зло, которого мы боимся, или же самый страх есть зло.

Откуда это, если всё это создал Бог, Добрый – доброе. Большее и высочайшее Добро создало добро меньшее, но и Творец и тварь – добры. Откуда же зло? Не злой ли была та материя, из которой Он творил? Он придал ей форму и упорядочил ее, но оставил в ней что-то, что. не превратил в доброе? Почему это? Или Он был бессилен превратить и изменить ее всю целиком так, чтобы не осталось ничего злого. Он, Всесильный? И, наконец, зачем захотел Он творить из нее, а не просто уничтожил ее силой этого же самого всемогущества? Или она могла существовать в против Его воли? А если она была вечна, зачем позволил Он ей пребывать в таком состоянии бесконечное число времен я только потом угодно Ему стало что-то из нее создать? А если вдруг захотел Он действовать, не лучше ли было Ему, Всемогущему, действовать так, чтобы она исчезла, и остался бы Он один, цельная Истина, высшее и бесконечное Добро? А если нехорошо Ему, доброму, изготовить и утвердить нечто недоброе, то почему бы, уничтожив и сведя в ничто материю злую, не создал Он Сам доброй, из которой и сотворил бы всё? Он не может быть всемогущ, если не может утвердить ничего доброго без помощи материи, не Им утвержденной" […]

Мне стало ясно, что только доброе может стать хуже. Если бы это было абсолютное добро, или вовсе бы не было добром, то оно не могло бы стать хуже. Абсолютное добро не может стать хуже, а в том, в чем вовсе нет добра, нечему стать хуже. Ухудшение наносит вред; если бы оно не уменьшало доброго, оно бы вреда не наносило. Итак: или ухудшение не наносит вреда – чего быть не может – или – и это совершенно ясно – всё ухудшающееся лишается доброго. Если оно совсем лишится доброго, оно вообще перестанет быть. Если же останется и не сможет более ухудшиться, то станет лучше, ибо пребудет не ухудшающимся. Не чудовищно ли, однако, утверждать, что при полной потере доброго оно станет лучше? Если, следовательно, оно вовсе лишится доброго, то его вообще и не будет; значит, пока оно существует, оно доброе, и, следовательно, всё что есть – есть доброе, а то зло, о происхождении которого я спрашивал, не есть субстанция; будь оно субстанцией, оно было бы добром, или субстанцией, не подверженной ухудшению вовсе, то есть великой и доброй; или же субстанцией, подверженной ухудшению, что было бы невозможно, не будь в ней доброго.

Итак, я увидел и стало мне ясно, что Ты сотворил всё добрым и что, конечно, нет субстанций, не сотворенных Тобой. А так как Ты не всё сделал равным, то всё существующее – каждое в отдельности – хорошо, а всё вместе очень хорошо, ибо всё Бог наш "создал весьма хорошо".

И для Тебя вовсе нет зла, не только для Тебя, но и для всего творения Твоего, ибо нет ничего, что извне вломилось бы и сломало порядок. Тобой установленный. Злом считается то, что взятое в отдельности с чем-то не согласуется, но это же самое согласуется с другим, оказывается тут хорошим и хорошо и само по себе. И всё то, что взаимно не согласуется, согласуется с низшим миром, который мы называем землей, с ее облачным и ветреным климатом, для нее подходящим. Да не скажу таких слов: "лучше бы этого мира не было!" Если бы я знал только его, то я пожелал бы лучшего, но и за него одного должен был бы восхвалять Тебя, ибо что Ты достоин хвалы, об этом возвещают "от земли великие змеи и все бездны, огонь, град, снег, лед, бурный ветер, исполняющие слово Его, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки да хвалят имя Господне". Да хвалят Тебя и с небес, да хвалят Тебя, Боже наш, "в вышних все ангелы Твои, все воинства Твои, солнце и луна, все звезды и свет, небо небес и воды, которые превыше небес, да хвалят Имя Твое"; охватив мыслью всё, я уже не желал лучшего; высшее, конечно, лучше низшего, но, взвесив всё по здравому суждению, я нашел, что весь мир в целом лучше высшего, взятого в отдельности.

Нет здоровья в тех, кому не нравится что-либо в творении Твоем, как не было его у меня, когда не нравилось мне многое из созданного Тобой. И так как не осмеливалась душа моя объявить, что Господь мой не нравится ей, то и не хотела она считать Твоим то, что ей не нравилось. И отсюда дошла она до мысли о двух субстанциях, но не находила покоя и говорила чужим языком. Отсюда же исходя, создала она себе бога, разлитого повсюду в бесконечном пространстве, решила, что это Ты, поместила его в сердце своем и стала храмом идолу своему, Тебе отвратительным. Когда же без ведома моего исцелил Ты голову мою и закрыл "глаза мои, да не видят суеты", я передохнул от себя, уснуло безумие мое; я проснулся в Тебе и увидел, что Ты бесконечен по-другому, но увидел это не плотским зрением […]

…Я спрашивал, что же такое греховность, и нашел не субстанцию: это извращенная воля, от высшей субстанции, от Тебя, Бога, обратившаяся к низшему, отбросившая прочь "внутреннее свое" и крепнущая, во внешнем мире.

Я удивлялся, что я уже люблю Тебя, а не призрак вместе Тебя, но не мог устоять в Боге моем и радоваться: меня влекла к Тебе красота Твоя, и увлекал прочь груз мой, и со стоном скатывался я вниз; груз этот – привычки плоти. Но со мной была память о Тебе, и я уже нисколько не сомневался, что есть Тот, к Кому мне надо прильнуть, только я еще не в силах к Нему прильнуть, потому что это тленное тело отягощает душу и земное жилище подавляет многозаботливый ум; я был совершенно уверен, что "невидимое от создания мира постигается умом через сотворенное; вечны же сила и Божественность Твоя. И раздумывая, откуда у меня способность оценивать красоту тел небесных и земных, быстро и здраво судить о предметах изменяющихся и говорить: "это должно быть так, а то не так", – раздумывая, откуда у меня эта способность судить, когда я так сужу, я нашел, что над моей изменчивой мыслью есть неизменная, настоящая и вечная Истина […]

Я искал путь, на котором приобрел бы силу, необходимую, чтобы насладиться Тобой, и не находил его, пока не ухватился "за Посредника между Богом и людьми, за Человека Христа Иисуса", Который есть "сущий над всем Бог, благословенный вовеки". Он зовет и говорит: "Я есмь Путь и Истина, и Жизнь" и Пища, вкусить от которой у меня не хватало сил. Он смешал ее с плотью, ибо "Слово стало плотью", дабы мудрость Твоя, которой Ты создал всё, для нас, младенцев, могла превратиться в молоко.

Я, сам не смиренный, не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, и не понимал, чему учит нас Его уничиженность. Он, Слово Твое, Вечная Истина, высшее всех высших Твоих созданий, поднимает до Себя покорных; на низшей ступени творения построил Он Себе смиренное жилище из нашей грязи, чтобы тех, кого должно покорить, оторвать от них самих и переправить к Себе, излечить их надменность, вскормить в них любовь; пусть не отходят дальше в своей самоуверенности, а почувствуют лучше свою немощь, видя у ног своих Божество, немощное от принятия кожной одежды нашей; пусть, устав, падут ниц перед Ним, Он же, восстав, поднимет их.

Я же думал по-другому и в Христе, Господе моем, видел только Мужа исключительной мудрости, с Которым никто не мог сравняться, тем более, что Он чудесно родился от Девы, дабы был пример презрения к временным благам ради достижения бессмертия. Мне представлялось, что, по Божественному о нас попечению, учение Его и заслужило такую значимость. О том, какая тайна заключена в словах "Слово стало плотью", я и подозревать не мог. Я знал только из Книг, написанных о Нем, что Он ел и пил, спал, ходил, радовался, печалился, беседовал; знал, что со Словом Твоим это тело не могло соединиться без человеческой души и разума. Это знал каждый, кто знал неизменяемость Слова Твоего, которую знал и я в меру своих сил – тут у меня не было никаких сомнений. В самом деле: то двигать по своей воле телесными членами, то не двигать ими, то испытывать какое-то чувство, то не испытывать, то излагать в словах умные мысли, то пребывать в молчании – всё это признаки ума и души, подверженных изменениям. Если это о нем написано ложно, то все эти Книги можно заподозрить в обмане, и в, этих Книгах не остается ничего, что спасло бы верой человеческий род. А так как написанное – правда, то я и считал Христа полностью человеком, имевшим не только человеческое тело или же с телом вместе и душу, но без разума, но настоящим человеком, а не воплотившейся Истиной; по-моему, Его следовало предпочесть остальным по великому превосходству Его человеческой природы и более совершенному причастию к мудрости […]

Книга восьмая

Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне; размышления мои о Тебе походили на попытки тех, кто хочет проснуться, но, одолеваемые глубоким сном, вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного человека, который пожелал бы всегда спать, – бодрствование, по здравому и всеобщему мнению, лучше, – но человек обычно медлит стряхнуть сон: члены его отяжелели, сон уже неприятен, и, однако, он спит и спит, хотя пришла уже пора вставать. Так и я уже твердо знал, что лучше мне себя любви Твоей отдать, чем злому желанию уступать; она влекла и побеждала, но оно было мило и держало. Мне нечего было ответить на Твои слова: "Проснись, спящий; восстань из мертвых, и озарит тебя Христос". Мне, убежденному истиной, вообще нечего было ответить Тебе, везде являющему истину Своих слов, разве только вяло и устало: "сейчас", "вот сейчас", "подожди немного", но это "сейчас и сейчас" не определяло часа, а "подожди немного" растягивалось надолго. Напрасно сочувствовал я "закону Твоему, согласному с внутренним человеком", когда "другой закон в членах моих противился закону ума моего и делал меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих". Греховный же закон – это власть и сила привычки, которая влечет и удерживает душу даже против ее воли, но заслуженно, ибо в эту привычку соскользнула она добровольно. Кто же может освободить меня, несчастного, от "этого тела смерти", как не благодать Твоя, дарованная через Господа нашего Иисуса Христа? […]

Когда я раздумывал над тем, чтобы служить Господу Богу моему (как я давно уже положил себе), хотел этого я и не хотел этого я – и был тем же я. Не вполне хотел и не вполне не хотел. Поэтому я и боролся с собой и разделился в самом себе, но это разделение, происходившее против воли моей, свидетельствовало не о природе другой души, а только о том, что моя собственная наказана. И наказание создал не я, а "грех, обитающий во мне", как кара за грех, совершённый по вольной воле: я ведь был сыном Адама […]

Книга десятая

…Что же, любя Тебя, люблю я? Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям, – не это люблю я, любя Бога моего. И, однако, я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу и некие объятия – когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека – там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего.

А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала: "это не я"; и всё, живущее на ней, исповедало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они ответили: мы не бог твой; ищи над нами". Я спросил у веющих ветров, и всё воздушное пространство с обитателями своими заговорило: "ошибается Анаксимен: я не бог". Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды: "мы не бог, которого ты ищешь", – говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: "скажите мне о Боге моём – вы ведь не бог, – скажите мне что-нибудь о Нем". И они вскричали громким голосом: "Творец наш, вот Кто Он". Мое созерцание было моим вопросом; их ответом – их красота.

Тогда я обратился к себе и сказал: "ты кто?" И ответил: "человек". Вот у меня тело и душа, готовые служить мне; одно находятся во внешнем мире, другая внутри меня. У кого из них спрашивать мне о Боге моем, о Котором я уже спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и до самого неба, куда только мог послать за вестями лучи глаз своих? Лучше, конечно, то, что внутри меня. Все телесные вестники возвестили душе моей, судье и председательнице, об ответах неба, земли и всего, что на них; они гласили: "мы не боги; Творец наш, вот Он". Внутреннему человеку сообщил об этом состоящий у него в услужении внешний; я, внутренний, узнал об этом, – я, я душа, через свои телесные чувства. Я спросил всю вселенную о Боге моем, и она ответила мне: "я не бог; Творец наш, вот кто Он" […]

Где же пребываешь Ты, Господи, в памяти моей, где Ты там пребываешь? Какое убежище соорудил Ты себе? Какое святилище выстроил Себе? Ты удостоил мою память Своего пребывания, но в какой части ее Ты пребываешь? Я прошел в поисках через те ее части, которые есть у животных, и не нашел Тебя там, среди образов телесных предметов; пришел к тем частям, которым доверил душевные свои состояния, но и там не нашел Тебя. Я вошел в обитель самой души моей, которая. имеется для нее в моей памяти, ибо и себя самое помнит душа, но и там Тебя не было. Ты ведь не телесный образ, не душевное состояние, испытываемое нами, когда мы радуемся, огорчаемся, желаем, боимся, вспоминаем, забываем и прочее; и Ты не сама душа, ибо Ты Господь Бог души моей. Все это меняется, Ты же пребываешь неизменным над всем, и Ты удостоил мою память стать Твоим жилищем с того дня, как я узнал Тебя. И зачем я спрашиваю, в каком месте ее Ты живешь, как будто там есть места? Несомненно одно: Ты живешь в ней, потому что я помню Тебя с того дня, как узнал Тебя, и в ней нахожу Тебя, Тебя вспоминая.

Где же нашел я Тебя, чтобы Тебя узнать? Тебя не было в моей памяти до того, как я узнал Тебя. Где же нашел я Тебя, чтобы Тебя узнать, как не в Тебе, надо мной? Не в пространстве: мы отходим от Тебя и приходим к Тебе не в пространстве. Истина, Ты восседаешь всюду и всем спрашивающим Тебя отвечаешь одновременно, хотя все спрашивают о разном. Ясно отвечаешь Ты, но не все слышат ясно […]

Ты повелишь мне, конечно, воздерживаться “от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской”…

Кроме плотского вожделения, требующего наслаждений и удовольствий для всех внешних чувств и губящего своих услуг, удаляя их от Тебя, эти же самые внешние чувства внушают душе желание не наслаждаться в плоти, а исследовать с помощью плоти: это пустое и жадное любопытство рядится в одежду знания и науки. Оно состоит в стремлении знать, а так из внешних чувств зрение доставляет нам больше всего материала для познания, то это вожделение и называется в Писании “похотью очей”… Мы ведь говорим не только: “посмотри, что светится – это почувствовать могут только глаза, - но и “посмотри, что звенит”, “посмотри, что пахнет”, “посмотри, какой в этом вкус”, “посмотри, как это твердо”. Поэтому всякое знание, доставляемое внешними чувствами, называется, как сказано, “похотью очей” […]

Книга одиннадцатая

…Как же создал Ты небо и землю, каким орудием пользовался в такой великой работе?..

Этим началом Ты и создал, Боже, небо и землю – словом Твоим, Сыном Твоим, силой Твоей, мудростью Твоей, истиной Твоей: дивным было слово Твое и дивным дело Твое. Кто это поймет? Кто объяснит? Что это брезжит и ударяет в сердце мое, не нанося ему раны? Трепещу и пламенею, трепещу в страхе: я так непохож на Тебя; горю, пламенею любовью: я так подобен Тебе. Мудрость, сама мудрость забрезжила мне, разорвав туман, который вновь окутывает меня, бессильного от этого мрака под грудой мучений моих. "Так ослабела сила моя в нищете", что не могу нести я и хорошее свое, пока Ты, Господи, "милостивый среди всех согрешений моих", не "исцелишь все недуги мои". Тогда выкупишь Ты "из гибели жизнь мою", "увенчаешь меня милостью и милосердием" и насытишь "благами желание мое", ибо "обновится юность моя, как у орла". "Надеждой спасены мы" и "терпеливо ожидаем", когда исполнятся обещания Твои…

Разве не обветшали разумом те, кто спрашивает нас: "что делал Бог до того, как создал небо и землю? Если Он ничем не был занят", говорят они, "и ни над чем не трудился, почему на всё время и впредь не остался Он в состоянии покоя, в каком всё время пребывал и раньше? Если же у Бога возникает новое деятельное желание создать существо, которое никогда раньше Им создано не было, то что же это за вечность, в которой рождается желание, раньше не бывшее? Воля ведь присуща Богу до начала творения: ничто не могло быть сотворено, если бы воля Творца не существовала раньше сотворенного. Воля Бога принадлежит к самой субстанции Его. И если в Божественной субстанции родилось то, чего в ней не было раньше, то субстанция эта по справедливости не может быть названа вечной; если вечной была воля Бога творить, почему не вечно Его творение?"

Те, кто говорит так, еще не понимают Тебя, Премудрость Божья, просвещающая умы, еще не понимают, каким образом возникло то, что возникло через Тебя и в Тебе. Они пытаются понять сущность вечного, но до сих пор в потоке времени носится их сердце и до сих пор оно суетно. Кто удержал бы и остановил его на месте: пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает отблеск всегда недвижной сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы: пусть увидит, что длительное время делает длительным множество преходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое; в вечности ничто не преходит, но пребывает как настоящее во всей полноте; время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может. Пусть увидит, что всё прошлое вытеснено будущим, всё будущее следует за прошлым, и всё прошлое и будущее создано Тем, Кто всегда пребывает, и от Него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце: пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим. Есть ли в руке моей сила описать; может ли язык мой поведать словом о столь великом? […]

Не было времени, когда бы Ты не создавал чего-нибудь; ведь создатель самого времени Ты. Нет времени вечного, как Ты, ибо Ты пребываешь, а если бы время пребывало, оно не было бы временем… Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю: если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени; если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени; если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? и если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность; настоящее оказывается временем только потому, "что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет! Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? […]

Книга двенадцатая

Истинно, Господи, что Ты создал небо и землю. Истинно, что Начало есть Мудрость Твоя, которой "Ты сотворил всё". Истинно также, что в этом видимом мире есть две больших части: небо и земля; этим кратким обозначением охватываются все созданные существа. Истинно, что всё изменяющееся подсказывает нам мысль о чем-то бесформенном, что может принять форму, изменяться и становиться разным. Истинно, что не подвластно времени настолько слившееся с неизменяемой формой, что и будучи изменчиво, оно не изменяется. Истинно, что для бесформенного, которое почти "ничто", не может быть смены времен. Истинно, что вещество, из которого какой-то предмет делается, может в переносном смысле получить название по предмету, из него сделанному; поэтому и можно было назвать "небом и землей" любую бесформенную материю, из которой созданы небо и земля. Истинно, что из всего принявшего форму ближе всего к бесформенному земля и бездна. Истинно, что не только сотворенное и приобретшее форму, но всё, что могло быть сотворено и могло принять форму, создал Ты, "от Которого всё". Истинно, что всё, получившее форму из бесформенного, было сначала бесформенным, а затем приобрело форму […]

То же самое относится и к пониманию следующих слов: "земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной". Из всех верных толкований один выбирает себе такое: "то телесное, что создал Бог, было еще бесформенной материей для существ телесных, беспорядочной и не освещенной". Другой: "земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной" – это значит: всё, что называется небом и землей, было еще бесформенной и темной материей, из которой и созданы наше небо и наша земля со всем, что на них познается телесными чувствами". Третий: "земля была невидима и неустроена, и тьма была над бездной", это значит: всё, что было названо небом и землей, было еще бесформенной и темной материей, из которой возникли умопостигаемое небо – в другом месте оно называется "небом небес" – и земля, т.е. всё телесное, включая сюда и это наше земное небо; иначе говоря, имеется в виду материя, из которой возник весь видимый в невидимый мир. Еще толкование: "земля была невидима и неустроена, и тьма была над ней". Писание назвало именем неба и земли вовсе не эту бесформенную материю; "землей невидимой и неустроенной и темной бездной" именует оно то бесформенное, уже существовавшее, из чего, как сказано в Писании раньше, бог создал небо и землю, т.е. миры духовный и телесный. Есть и другое толкование: "земля была невидима и неустроена, и тьма была над бездной", т.е. нечто бесформенное было уже материей, из которой Бог; как сказано раньше в Писании, создал небо и землю, т.е. всю телесную мировую массу, разделенную на две огромные части, верхнюю и нижнюю, со всем, что на них создано, известно и привычно.

На два последних мнения кто-нибудь попытался бы, пожалуй, возразить так: "если вы не желаете называть эту бесформенную материю "небом и землей", то, значит, было нечто, чего Бог не создал, чтобы из этого создать небо и землю. Писание ведь не рассказывает о создании Богом этой материи, но мы можем думать, что когда сказано было: "в начале Бог, создал небо и землю", то словами "небо и земля" или одним словом "земля" именно она и была обозначена, и хотя в словах следующих "земля была невидима и неустроена" Писанию и было угодно назвать так бесформенную материю, но под ней можно понимать только ту, которую создал Бог; о ней и написано выше: "создал небо и землю". Защитники тех двух мнений, которые я привел последними, или либо одного, либо другого, услышав это, ответят так: "мы не отрицаем, что эта бесформенная материя создана Богом, Богом, от Которого "всё очень хорошо", но скажем, что значительно лучше созданное в определенной форме, и признаем менее хорошим, хотя и хорошим, то, в чем только заложена способность принять определенную форму. Писание не упомянуло, что Бог создал эту бесформенную материю, как не упомянуло и многого другого, например, херувимов, серафимов и всех тех, кого раздельно называет апостол: "престолы, господства, начальства, власти": они все, несомненно, созданы Богом. Если слова "создал небо и землю" охватывают всё созданное, то что сказать о водах, "над которыми носился Дух Божий"? Если же под словом "земля" разумеются и воды, то как принять название "земля" для бесформенной материи, когда мы видим, как прекрасны воды? А если это принять, то почему написано, что из этой самой бесформенной материи создана твердь и названа небом, но ничего не написано о создании вод? Они ведь не бесформенны и не скрыты от взора; мы видим, как прекрасны они в своем течении. Если же получила они эту красоту, когда Бог сказал: "да соберется вода, которая под твердью", и в этом собирании они и обрели форму, то что ответить о водах, находящихся над твердью? бесформенные, они не заслужили бы столь почетного места, но какое слово дало им форму, об этом не написано.

Поэтому, если Бытие и молчит о некоторых творениях Божиих (а то, что они сотворены Богом, не станет оспаривать ни правая вера, ни твердый разум), то ни одно здравое учение не осмелится сказать, что эти воды извечны, как Бог, на том основании, что они упомянуты в книге Бытия, но мы не найдем указания, когда они сотворены. Почему же эту бесформенную материю, которую Писание называет "землей невидимой и неустроенной и мрачной бездной", не считать нам, как тому учит истина, созданной Богом из "ничего", и поэтому не извечной, как Он, хотя в этом рассказе и пропущено сообщение о времени ее сотворения?"

Выслушав эти возражения и вдумавшись в них, насколько хватает моих слабых сил (в этой слабости я исповедуюсь Тебе, Господи, хотя Ты ее и знаешь), я вижу следующее: так как некоторые вести сообщаются правдивыми вестниками с помощью символов, то тут могут возникнуть разногласия двоякого характера: во-первых, относительно истины рассказа; во-вторых, бывает разногласие о том, что хотел сообщить сам вестник. Одно – доискиваться, что истинно в рассказе о сотворении мира, и другое – какого понимания этих слов у слушателей и читателей хотел Моисей, этот замечательный слуга веры Твоей.

Что касается сомнений первого рода, то прочь от меня все, кто принимает ложь за истинное знание. Что касается сомнений второго рода, то прочь от меня все, кто думает, что Моисей говорил ложь. Я хочу быть в Тебе, Господи, вместе с теми, кто питается истиной Твоей в полноте любви, и вместе с ними радоваться в Тебе. Да приступим вместе к словам книги Твоей и будем искать в них намерение Твое через намерение слуги Твоего, перу которого поручил Ты сообщить эти слова […]

Книга тринадцатая

Всё создано из "ничто" Тобой, но не из Твоей субстанции, а из материи, не какой-то, Тебе не принадлежащей, существовавшей и раньше, но из созданной Тобою тогда же, ибо ей, бесформенной, дал Ты форму без всякого промежутка во времени.

Материя неба и земли разная, различен вид неба и земли; материю же Ты создал из "ничто"; мир из бесформенной материи; то и другое создал Ты разом: материя приняла форму без всякого замедления и перерыва […]

Итак, мы видим, что Ты сделал, ибо мир существует, но существует он потому, что Ты его видишь. Глядя на внешний мир, мы видим, что он существует; думая о нем, понимаем, что он хорош; Ты тогда видел его уже созданным, когда увидел, что нужно его создать.

И мы теперь испытываем побуждение делать добро, после того, как сердце наше зачало от Духа Твоего мысль об этом; раньше нас, покинувших Тебя, подвигало на злое; Ты же, Господи, Единый, Благой, не прекращая творить добро. И у нас есть, по милости Твоей, некие добрые дела, но они не вечны. Мы надеемся, однако, что, закончив их, мы отдохнем в Твоей святости и величии. Ты же, Благой не нуждаешься ни в каком благе и всегда отдыхаешь, ибо Твой отдых Ты сам.

Кто из людей поможет человеку понять это? Какой ангел ангелу? Какой ангел человеку? У тебя надо просить, в Тебе искать, к Тебе стучаться: так, только так ты получишь, найдешь, и тебе откроют.

(Августин Аврелий. Исповедь //Августин Аврелий. Исповедь: Абеляр П. История моих бедствий.: Пер. с латин. -М.,1992. С.8-222)

*тема 4. Философская мысль периода Возрождения*

*НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ, Николай Кребс (1401—1464) — мыслитель ран­него Возрождения, выдающийся немецкий философ, теолог, крупный ученый в области математики, астрономии, геогра­фии и других паук.*

*Учился в Гейдельбергском, Падуанском, Кёльнском уни­верситетах. В 1430 году стал священнослужителем, вел актив­ную политическую деятельность в качестве кардинала католической церкви и приближенного Папы. Написал большое количество теологических и философских сочинений. Биографы указывают на его веротерпимость, проповедь свободы мышления, попытки противодействовать крайностям папистского абсолютизма.*

*Как философ Николай Кузанский попытался выработать универсальное осмысление начал мира и устройства Вселенной, основанных не на ортодоксальном христианстве, а на диалектико-пантеистической его интерпретации. Пантеистическое ре­шение теологических проблем было навеяно в значительной ме­ре идеями Прокла и других неоплатоников. Диалектическая тенденция выразилась у Николая Кузанского в его стремлении охватить все вещи и события мировой жизни в единстве и цельности – бесконечном «максимуме», который не сводим ни к чему конкретному и отдельному и превосходит его, но в то же время отражается отдельными вещами. Этот «максимум» есть одновременно и бесконечный «минимум», поскольку целостность максимума не допускает никакого деления.*

*Николай Кузанский провозглашал величайшим филосо­фом Пифагора, идя навстречу математическому естество­знанию. Будучи предшественником Коперника и Галилея в теории строения Солнечной системы, автором диалекти­ческих рассуждений о движении Вселенной, доказывал бесконечность и вечность мира. Николай Кузанский писал и о природе гармонии, об ис­кусстве, о художественной деятельности человека, его твор­ческих возможностях.*

*Николай Кузанский как мыслитель соединяет античные и средневековые философские традиции и предвосхищает главные черты философии нового времени.*

# ОБ УЧЕНОМ НЕЗНАНИИ

***Книга первая***

*глава 1. каким образом «знать» значит «не знать»?*

Мы видим, что по Божьей милости все в природе содер­жит в себе самопроизвольное стремление существовать лучше, поскольку это допускают естественные условия. [...] Здоровый и свободный разум, стремящийся ненасытно, в силу врожденного ему искания, постигнуть истину, позна­ет ее, крепко охватывая любовными объятиями. [...] Всякое исследование основано на сравнении и пользуется средст­вом сопоставлений. [...] Всякое искание состоит в легком или трудном сравнительном сопоставлении, и вот почему бес­конечное, которое ускользает как бесконечное от всякой пропорции, — неизвестно. Пропорция, выражающая согла­сованность в чем-нибудь, с одной стороны, и разобщен­ность — с другой, не может быть понята без помощи числа. [...] Так и Пифагор настойчиво утверждал, что все установле­но и понято на основе чисел.

Уточнение сочетаний в материальных предметах и точное применение известного и неизвестного настоль­ко выше человеческого разумения, что Сократ полагал, что ничего не знает, кроме своего незнания. Равным образом мудрейший Соломон утверждал, что все вещи труднопос­тижимы и что язык не может их объяснить. [...] Человек, объятый самым пламенным рвением, может достичь более высокого совершенства в мудрости в том лишь случае, ес­ли будет оставаться весьма ученым даже в самом незнании, составляющем его свойство, и тем станет ученее, чем луч­ше будет знать, что он ничего не знает. С этой целью я предпринял труд — кратко изложить мысли об ученом не­знании.

*Глава II. Пояснение предыдущим последующего*

Прежде чем излагать самую важную из доктрин — учение о незнании, считаю необходимым приступить к выяснению природы максимальности.

Я называю максимумом нечто такое, больше чего ничего не может быть. Изобилие связано в действительности лишь с единым. Вот почему единство совпадает с максимальнос­тью и также является бытием. [...]

Абсолютный максимум единственен, потому что он — все, в нем все есть, потому что он — высший предел. Так как ничто ему не противостоит, то с ним в то же время совпадает минимум, и максимум тем самым находится во всем. А так как он абсолютен, то воздействует в действительности на все возможное, не испытывает сам никакого ограничения, но ограничивает все. Этот максимум, который непоколеби­мая вера всех народов почитает так же, как Бога, явится в первой книге о человеческом разуме предметом моих по­сильных исследований. [...]

От него, называемого абсолютным максимумом, исхо­дит универсальное единство, и вследствие этого он пребывает в ограниченном состоянии, как Вселенная, чье един­ство замкнулось в множественности, без которой она не может быть. Однако, несмотря на то что в своем универ­сальном единстве этот максимум охватывает всякую вещь таким образом, что все, что исходит от абсолюта, находит­ся в нем и он — во всем, он не мог бы, однако, существовать вне множественности, в которой пребывает, потому что не существует без ограничения и не может от него освобо­диться. [...]

Так как Вселенная существует лишь ограниченным обра­зом во множестве, мы исследуем в самом множестве единый максимум, в котором Вселенная существует в степени макси­мальной и наиболее совершенной в своем проявлении и до­стижении своей цели. [...] Эта Вселенная соединяется с Абсо­лютом, являющимся всеобщей целью [...].

*глава III. почему точная истина непостижима*

[...] Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу; ибо, чем больше число углов вписанного многоугольника, тем более он приблизится к кругу, но никогда не станет равным кругу даже в том случае, когда углы будут ум­ножены до бесконечности, если только он не станет тожде­ственным кругу.

Итак, ясно одно, что все, что мы знаем об истине, — это то, что истину невозможно постигнуть таковой, какова она есть доподлинно, ибо истина, являющаяся абсолютной не­обходимостью, не может быть ни большей, ни меньшей, чем она есть и чем представляется нашему разуму как некая воз­можность. Итак, сущность вещей, которая есть истина бытия, недостижима в своей чистоте. Все философы искали эту ис­тину, но никто ее не нашел, какой она есть, и чем глубже бу­дет наша ученость в этом незнании, тем ближе мы подойдем к самой истине.

*глава IV. абсолютный максимум познается непостигаемо; с ним совпадает минимум*

Простой и абсолютный минимум, являющийся тем, боль­ше чего не может быть, ибо он есть бесконечная истина, — нами постигается непостигаемо. [...] Все вещи, воспринятые чувствами, рассудком или разумом, настолько различаются между собой и одна от другой, что между ними нет точного равенства. [...]

Очищая максимум и минимум от количества, мысленно отбрасывая большое и малое, тебе станет очевидным, что максимум и минимум совпадают. Таким образом, в дейст­вительности максимум, как и минимум, есть превосходная степень. [...]

Противоположности существуют лишь для вещей, допус­кающих нечто превосходящее и превзойденное, с которым они различно сходны. Нет никакого противопоставления абсолютному максимуму, ибо он выше всякой противопо­ложности.

[...] Мы бродим среди вещей, которые сама природа обна­руживает перед нами. Рассудок наш спотыкается оттого, что далек от этой бесконечной силы и не может связать проти­воречия, разделенные бесконечностью. Итак, над всяким ходом суждения мы видим непостижимым образом, что абсо­лютная максимальность бесконечна, что ничто ей не противостоит и с ней совпадает минимум.

*глава V. максимум — един*

Из вышесказанного [...] с ясностью вытекает, что абсолют­ный максимум может быть познан непостигаемо и может быть назван неизреченно [...]. Ничто не может быть наимено­вано или названо, что не было бы дано в большей или мень­шей степени, потому что названия присваиваются усилием рассудка вещам. [...]

Множественность бытия не может встречаться без числа. Отнимите число, и не будет тогда возможности различать вещи, и не будет порядка, пропорции, гармонии и даже са­мой множественности бытия. [...] Единица есть начало всяко­го числа, так как она — минимум; она — конец всякого числа, так как она — максимум. Она, следовательно, абсолютное единство; ничто ей не противостоит; она есть сама абсолют­ная максимальность: всеблагой Бог. [...]

Взглянем, к чему нас привело число: для нас понятно, что именно к Богу, которого мы не сумеем наименовать, весьма точно подходит понятие абсолютного единства и что Бог един таким образом, что действительно является всем, что может быть. [...|

*глава VI. максимум есть абсолютная необходимость*

[..] Абсолютным бытием не может быть ничто иное, кро­ме абсолютного максимума. Так, нельзя понять ничего, что существовало бы без максимума. [...]

*глава VII. О троичности и единой вечности*

Никогда не существовало ни одной нации, которая не чтила бы Бога и не признавала бы Его за абсолютный макси­мум.

Итак, единство, равенство и связь есть одно и тоже. Это есть то тройственное единство, которому Пифагор, первый из всех философов, гордость Италии и Греции, учил покло­няться. [...]

*глава VIII. О вечном рождении*

Покажем теперь, [...] что посредством единства неравен­ство порождено из единства и, больше того, что связь возни­кает из единства и равенство из единства. Единство есть си­ноним от греческого слова on, которое по-латыни перево­дится ens (лат.: «сущий»), единство и сущность. Бог есть действительно сама сущность вещей, ибо Он — принцип бы­тия и потому является сущностью.

*глава XI. О могущественной помощи математики в усвоении*

*РАЗЛИЧНЫХ БОЖЕСТВЕННЫХ ИСТИН*

Все наши мудрейшие и святейшие ученые согласны меж­ду собой в утверждении, что видимые вещи суть доподлин­но образы невидимых вещей и что Создатель наш может быть видим и познаваем через создания, как в зеркале и в за­гадке (чувственном символе). [...] Все вещи находятся между собой в связи, скрытой, без сомнения, от нас и непостижи­мой, но такой, что из всех вещей проистекает одна-единственная Вселенная и что все вещи суть самое единство в единственном максимуме. [...] Если производить исследо­вание при помощи образа, необходимо, чтобы не было ни­чего, что возбуждало бы то или иное сомнение в образе [...]. Так, все чувственные вещи беспрерывно неустойчивы вследствие материальной возможности колебаний, изоби­лующих в них. Напротив, если взять более абстрактные образы, чем первые, в которых вещи рассматриваются таким образом, что, не будучи лишены совершенно материальных средств, без коих их нельзя было бы представить себе, они не полностью подвержены колебаниям возможного, мы ви­дим, что эти образы очень стойки и хорошо нам известны. Так обстоит дело в математике. И вот почему мудрецы с большим рвением искали и математике примеров, чтобы разумом проследить эти пещи, и ни один из великих умов древности не научал трудных не щей при помощи иного ка­кого-либо сходства, кроме как математического. [...] Разве Пифагор, первый из философов по достоинству и на деле, не направил искание истины на числа? Так, платоники и да­же первые из наших мыслителей следовали математике на­столько строго, что св.Августин и вслед за ним Боэций ут­верждали, что число неоспоримо было в мысли Творца Его основным образцом для создания вещей.

[...] Мы можем ныне избрать себе путеводителем матема­тические знаки вследствие их не подлежащей спору убеди­тельности.

*глава XVI. каким образом перенесенный максимум встречается*

*ВО ВСЕХ ВЕЩАХ, КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ЛИНИЯ В ЛИНИЯХ*

[...] Бесконечность заставляет нас полностью преодоле­вать всякую противоположность. Из этого принципа можно было бы почерпнуть столько отрицательных истин, что по­лучилась бы целая книга. Больше того, вся теология, какую мы можем постигнуть, вытекает из этого великого принци­па. И вот почему величайший исследователь божественных вещей, знаменитый Дионисий Ареопагит, в своей «Мистиче­ской теологии» говорит, что присноблаженный Варфоло­мей чудесным образом постиг теологию, высказывая мысль, что она является одинаково и максимой и минимой.

В действительности, кто понимает это, понимает все и превосходит всякий разум. Действительно, Бог, который сам максимум, как тот же Дионисий говорит об этом в своем труде «О божественных именах», не является предпочтительно таким-то предметом перед другим, в таком-то месте боль­ше, чем в другом.

В действительности, так как Бог есть все, Он — также и ничто.

*глава XXI. переключение бесконечного круга в единство*

[...] Окружая все вещи, так как является бесконечной ок­ружностью, и проникая все, так как является бесконечным диаметром, совершенный максимум представляет основу всех вещей, ибо является центром, концом всех вещей, окружностью, серединой всего, диаметром. Совершенный мак­симум также и причина, производящая действие, ибо он — центр; формальная причина, так как это — диаметр; финаль­ная, конечная причина, так как это — окружность. Он осуществляет бытие, так как это — центр; руководство, так как это — диаметр; осуществляет сохранение, так как это — ок­ружность, и так далее для множества вещей.

Вот почему ты можешь охватить умом, каким образом максимум является не чем иным, как ничем, не отличным от ничего, и почему все в нем, от него и через него, почему он — окружность, диаметр и центр. [...]

*Глава XXII. каким oбразом божие ПРОвидениЕ соединяет противоречия*

|...| И так как очевидно, согласно предшествующему поло­жению, что Бог обнимает все, даже противоречия, ничто не может ускользнуть от Его взора. Что бы мы ни совершили или ничего не сделали — все это в провидении. Ничто не может произойти без провидения. [...]

Так как провидение неизбежно и неизменно и ничто не может его превзойти, все, что касается самого провидения, явно имеет характер необходимости, и это по всей истине, ибо все в Боге есть Бог, который является *абсолютной необ­ходимостью.*

*глава XXIV. наименование бога и утвердительная теология*

[...] Единство не есть прозвище Бога того же рода, каким мы называем и под каким понимаем «единство», потому что Бог превосходит всякий разум, тем более превосходит вся­кое наименование. Имена — результат движения рассудка, который гораздо ниже разума в деле различения вещей; и потому, что рассудок не может преодолеть противоречий, нет и имени, которому не было бы противопоставлено дру­гое, согласно движению нашего рассудка. [...]

Раз никакое отдельное название, вследствие того, что оно имеет непременно нечто отличное от себя, нечто противо­положное, не может подойти Богу, разве только в бесконеч­ном приближении, то следует, что одни утверждения недо­статочно вески и понятны, как указывает Дионисий. На са­мом деле, если говорят, что Бог — истина, то навстречу выступает ложь, если говорят — добродетель, то приходит порок, субстанции противостоит акциденция и т. д. [...] Действительно, всякое имя оставляет нечто от его значения, од­нако ни одно из имен не может подойти Богу, который явля­ется также не чем иным, как всем. Вот почему положитель­ные имена если и подходили бы Богу, то лишь в отношении Его творений. [...]

То, что мы говорим об утвердительных именах, до такой степени верно, что даже наименование Триединства и Его трех лиц — Отца, Сына и Святого Духа — дано по свойству созданий.

## ГлаВА ХХVi. отрицательная теология

[...] Отрицательная теология так необходима для теологии утвердительной, что без нее Бог не является предметом по­клонения как бесконечный Бог, но скорее как творение. Этот культ — идолопоклонство, приписывающее изображению то, что подходит только истине.

[...] Священное незнание учило о невыразимом Боге тому, что Он бесконечен, что Он больше всего того, что может быть вычислено, и тому, что Бог пребывает на высшей ступе­ни истины. О Нем говорят с наибольшей правдивостью. [...] Согласно этой отрицательной теологии, нет ни Отца, ни Сы­на, ни Святого Духа, но есть только бесконечное. Бесконеч­ность как бесконечность не порождает, не порождена, ни от чего не происходит.

[...] Потому-то Бог не познаваем ни в веках, ни в будущем, что всякое творение есть относительно Него — мрак, ибо оно не может понять бесконечный свет, но познает само са­мого себя. […]

ОБ УМЕ

*глава I*

[...] **Философ**: Итак, скажи, Простец (таково твое имя, по твоим же словам), имеешь ли ты какое-нибудь coniecturam (лат.: «предположение») об *уме*?

**Простец**: Я полагаю, что нет и не было ни одного совер­шенного человека, который бы не составил себе того или иного понятия об уме. Имею, конечно, и я в том смысле, что ум — это то, откуда возникает граница и мера всех вещей. Я думаю, стало быть, что слово mens (лат.: «ум») производится от mensurare (лат.: «измерять»).

**Философ**: А не находить ли ты, что ум — одно, а душа — другое?

**Простец**: Положительно считаю: ведь одно – ум, существующий *в себе*, а другое — в теле. Ум, существующий в себе, или бесконечен, или он — только ymago (лат.: «образ») беско­нечного. Из тех же умов, которые суть образ бесконечного, поскольку они не являются существующими в себе в макси­мальном, абсолютном или бесконечном смысле, некоторые, допускаю, могут оживлять человеческое тело. И тогда-то я называю их душами, по их установлению.

*глава II*

[...] Следовательно, наложение названия происходит благодаря движению рассудка, потому что последнее суще­ствует вокруг вещей, подпадающих под ощущения. Рассу­док создает их распознание, соединение и различие, так что в рассудке нет ничего, что раньше не существовало бы в ощущении. Следовательно, рассудок накладывает слова и движется для того, чтобы дать одно имя одной вещи и другое — другой. Однако поскольку форма в своей истине не находится в том, что касается функций рассудка, то по­этому рассудок впадает в предположения и мнения. Роды и виды, поскольку они выражаются в словах, суть encia racionis (лат.: «утверждения рассудка»), которые *он создал себе на основании согласия и разногласия чувственных ве­щей.* А отсюда, хотя они по своей природе и хуже чувствен­ных вещей, подобием которых являются, — они все же не могут сохраняться при разрушении чувственных вещей. Следовательно, кто считает, что в intellectum (лат.: «разум») ничего не попадает, чего не попадает в рассудок, тот также полагает, что *ничего не может быть и в разуме, чего рань­ше не было в ощущении.*

*глава V*

Каким образом ум есть живая субстанция, созданная в те­ле. О том, как это понимать. Существует ли разум у живот­ных? Ум — живое описание вечной мудрости.

**Философ:** Почти все перипатетики говорят, что интел­лект, который ты, по-видимому, называешь умом, является некоторой потенцией души, и что мышление есть акциден­ция. А ты полагаешь иначе?

**Простец**: Ум есть живая субстанция, которая, как мы знаем по опыту, внутренне говорит в нас и судит и которая благодаря всем познаваемым нами в нас самих духовным способностям на всякой другой способности больше упо­добляется бесконечной субстанции и абсолютной форме; ее обязанность в нашем теле — животворение тела, и пото­му-то она и называется душой. Отсюда ум есть *субстанци­альная форма*, или сила, всеобъемлющая в себе на свой ма­нер, охватывая силу одушевляющую, при помощи которой она одушевляет своим животворением тело, жизнь расти­тельную и чувствительную, способность рассуждения, ин­теллектуальную способность и способность быть интеллек­том, как таковым [...].

**Простец**: Божественные пути в точности недостижимы. Однако мы создаем о них coniecturas (лат.: «предположе­ния»), одни — более смутные, другие — более ясные. [...]

**Простец**: В животных, действительно, мы находим раз­личающую discretivum discursum (лат.: «способность рассуд­ка»), без которого их природа не могла бы существовать в удовлетворительном виде. Отсюда их рассудок, поскольку он лишен формы, т.е. интеллекта или ума, спутан, не имеет способности суждения и знания. […] Ум является различи­тельной forma discretiva racionum (лат.: «формой актов рас­судка»), рассудок же есть различительная форма ощущений и ymaginacionum (лат.: «представлений»).

**Философ**: Но откуда ум имеет эту силу суждения, если он, как кажется, создает суждения обо всем?

**Простец**: Он черпает ее из того, что он — образ первооб­раза всех вещей. А именно: Бог есть первообраз всего. Отсюда, поскольку первообраз всего отражается в уме, как истина в об­разе, постольку ум имеет в себе то, на что он взирает и в соот­ветствии с чем создает суждения о внешнем [...]. Ум есть живое описание вечной и бесконечной мудрости, но в наших умах с самого начала этот образ жизни подобен спящей, пока она не будет возбуждена к движению путем восприятия, которое происходит от чувственных вещей. Тогда вследствие движе­ния своей способной к познанию жизни ум находит искомое в себе самом в качестве описанного.

*глава X*

[...] **Простец**: [...] Не познается часть без познания целого, поскольку часть измеряется целым. [...] Поэтому если игнори­руется Бог, который является первообразом всеобщности, то не получается никакого знания о всеобщности. И если иг­норируется всеобщность, то ничего нельзя знать ясного об ее частях. Так, знание о Боге и обо всем предшествует зна­нию о любой вещи.

*глава XI*

[...] **Простец**: Виртуально ум состоит из способности мы­шления, рассуждения, воображения и ощущения, так что сам он в качестве целого называется способностью мышления, способностью рассуждения, способностью воображения и способностью ощущения.

*глава XIII*

[...] **Простец**: [...] Думаю, что душой мира Платон назвал то, что Аристотель — природой. Я же понимаю так, что эта душа и эта природа есть не что иное, как Бог, все во всем создаю­щий, кого мы называем spiritum universorum (лат. «духом все­общего»).

*глава XIV. Каким образом ум нисходит от млечного пути через планеты в тело и обратно? О неразрушимости понятий у отделенных от материи духов и о разрушимости наших*

[...] **Простец**: [...] Я полагаю [...], что понятия у блаженных духов, существующих вне тела в покое, являются понятиями неизменными и неразрушимыми через забвение, по причи­не присутствия истины, без перерыва предметно являющейся. И это — награда для духов, заслуживших услаждение пер­вообразом вещей.

Наши же умы ввиду своей бесформенности часто забыва­ют то, что они знали, хотя в них и остается сотворенная вме­сте с ними приспособленность познать все заново. Именно хотя они без тела не могут возбуждаться к интеллектуально­му движению вперед, тем не менее, вследствие нерадения, ук­лонения от предмета и обращения к пестрому разнообра­зию и к телесным болезням, они теряют свои понятия. Ибо понятия, получаемые нами здесь, в этом изменчивом и непо­стоянном мире, в соответствии с условиями изменчивого мира, не являются устойчивыми. Они — как понятия школь­ников и учеников, начавших делать первые успехи, но еще не закончивших учения.

*глава XV*

[...] **Простец**: [...] Кто исчисляет, тот развертывает и свер­тывает. Ум есть образ вечности, время же — ее развертыва­ние, а развертывание всегда меньше образа свертывания вечности. Кто стремится к силе сотворенного вместе с ним суждения ума, при помощи чего он судит о всех рассудочных актах и понимает, что последние возникают из ума, тот ви­дит, что никакой рассудочный акт не доходит до измерения ума. Наш ум, следовательно, остается неизмеримым, неограничиваемым, неопределимым никаким актом рассудка. Его измеряет, определяет и ограничивает только несозданный ум, как истина измеряет свой живой образ, созданный из нее, в ней и через нее.

*(Отрывки из сочинений Кузанского «Об ученом незна­нии» в переводе С. А. Лопашева и «Об уме» в переводе А. Ф. Лосева приводятся по изданию: Антология мировой философии. В 4-х томах. Т. 2: Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения — М., 1970)*

ДЖОВАННИ ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА (1463—1494) — итальянский мыслитель-гуманист эпохи Возрождения. Чрезвычайно одаренный, наследник богатого рода графов Мирандола получил образование в универ­ситетах Болоньи, Феррары, Падуи и Павии, завершив его в парижской Сорбонне. Овладел греческим, арабским, еврейским и арамейским языками, проявлял большой интерес к различным ближневосточным религиозным и философским учениям. Изучал в оригинале Ветхий завет и Коран, увлекался Каббалой и «натуральной магией».

Пико делла Мирандола не завершил большинства замыслов и не привел в систему крайне разнородные философские мотивы, его вдохновлявшие. Он стремился к всеобщему «примирению философов», исходя из того, что все религии и философские школы являются частным выявлением единой истины и могут быть примирены в универсально понятом христианстве. Другая его центральная идея – особое положение («достоинство») человека в мироздании основывается на идеях платонизма и неоплатонизма о «срединном» положении человека между миром земным, материальным, и божественным. В сочетании со свободой выбора это дает человеку творческую способность самоопределения, уподобляющую его Богу.

Пантеистические тенденции, которые позже получат свое развитие у Б.Спинозы, сближают его с Николаем Кузанским. Пико делла Мирандола принадлежит ряд значи­тельных философских сочинений («Речь о достоинстве че­ловека», «О сущем и едином», и др.), известны также его многочис­ленные письма.

«Речь о достоинстве человека» — одно из самых знамени­тых свидетельств ренессансного мировоззрения, закон­ченное выражение философского учения о достоинстве и высоком назначении человека, об уникальном положении его в космической иерархии.

# РЕЧЬ О ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

*[человек* — *свободный творец самого себя]*

Я прочитал, уважаемые отцы, в писаниях арабов, что ког­да спросили Абдаллу Сарацина, что кажется ему самым уди­вительным в мире, то он ответил, что ничего нет более заме­чательного, чем человек. Этой мысли соответствуют и слова Меркурия: «О Асклепий, великое чудо есть человек!». Когда я размышлял о значении этих изречений, меня не удовлетво­ряли те многочисленные аргументы в пользу превосходства человеческой природы, которые приводят многие: человек есть посредник между всеми созданиями, близкий к высшим, и господин над низшими, истолкователь природы в силу проницательности ума, ясности мышлении и пытливости интеллекта, промежуток между неизменной вечностью и текущим временем, узы мира, как говорят персы, Гименей, сто­ящий немного ниже ангелов, по свидетельству Давида.

Все это значительно, но не главное, что заслуживает наи­большего восхищения. Почему же мы не восхищаемся в большей степени ангелами и прекрасными небесными хо­рами? В конце концов мне показалось, что я понял, почему человек является самым счастливым из всех живых существ и достойным всеобщего восхищения и какой жребий был уготован ему среди всех прочих судеб, завидный не только для животных, но для звезд и потусторонних душ. Невероят­но и удивительно! А как же иначе? Ведь именно поэтому че­ловека по праву называют и считают великим чудом, живым существом, действительно достойным восхищения. Но что бы там ни было, выслушайте, отцы, и снисходительно про­стите мне эту речь.

Уже Всевышний Отец, Бог-Творец, создал по законам муд­рости мировое обиталище, которое нам кажется августей­шим храмом божества. Наднебесную сферу украсил разумом, небесные тела оживил вечными душами. Грязные и засорен­ные части нижнего мира наполнил разнородной массой животных. Но, закончив творение, пожелал Мастер, чтобы был кто-то, кто оценил бы смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом. Поэтому, завершив все дела, как свидетельствуют Моисей и Тимей, задумал нако­нец сотворить человека. Но не было ничего ни в прообразах, откуда Творец произвел бы новое потомство, ни в хранили­щах, что подарил бы в наследство новому сыну, ни на скамьях небосвода, где восседал сам Созерцатель Вселенной. Уже все было завершено; все было распределено по высшим, средним и низшим сферам. Но не подобало отцовской мощи отсутст­вовать в последнем потомстве, как бы истощенной, не следо­вало колебаться Его мудрости в необходимом деле из-за от­сутствия совета не приличествовало Его благодетельной любви, чтобы тот, кто в других должен был восхвалять божес­кую щедрость, вынужден был осуждать ее в самом себе. И ус­тановил наконец лучший Творец, чтобы для того, кому не смог дать ничего собственного, стало общим все то, что было присуще отдельным творениям. Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в цент­ре мира, сказал: «Не даем Мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, что­бы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ про­чих творений определен в пределах установленных нами за­конов. Ты же, не стесненный никакими пределами, опреде­лишь свой образ по своему решению, во власть которого Я те­бя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмерт­ным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформиро­вал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь пере­родиться в низшие, неразумные существа, но можешь пере­родиться по велению своей души и в высшие божественные». О, высшая щедрость Бога-Отца! О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет! Звери, как только рождаются, от мате­ринской утробы получают все то, чем будут владеть потом, как говорит Луцилий. Высшие духи либо сначала, либо не­много спустя становятся тем, чем будут в вечном бессмертии. Рождающемуся человеку Отец дал семена и зародыши разно­родной жизни и соответственно тому, как каждый их возде­лает, они вырастут и дадут в нем свои плоды. И если зароды­ши растительные, то человек будет растением, если чувствен­ные, то станет животным, если рациональные, то сделается небесным существом, а если интеллектуальные, то станет ан­гелом и сыном Бога. А если его не удовлетворит судьба ни од­ного из творений, то пусть возвратится к центру своего еди­нообразия и, став единым с Богом-Духом, пусть превосходит всех в уединенной мгле Отца, который стоит над всем. И как не удивляться нашему хамелеонству! Или, вернее, — чему удивляться более? И справедливо говорил афинянин Аскле­пий, что за изменчивость облика и непостоянство характера он сам был символически изображен в мистериях как Про­тей. Отсюда и известные метаморфозы евреев и пифагорей­цев. Ведь в еврейской теологии то святого Эноха тайно превращают в божественного ангела, то других превращают в иные божества. Пифагорейцы нечестивых людей превра­щают в животных, а если верить Эмпедоклу, то и в растения. Выражая эту мысль, Магомет часто повторял: «Тот, кто отсту­пит от божественного закона, станет животным и вполне за­служенно». И действительно, не кора составляет существо растения, но неразумная и ничего не чувствующая природа, не кожа есть сущность упряжной лошади, но тупая и чувст­венная душа, не кругообразное вещество составляет суть не­ба, а правильный разум; и ангела создает не отделение его от тела, но духовный разум.

Если ты увидишь кого-либо, ползущего по земле на живо­те, то ты видишь не человека, а кустарник, и если увидишь по­добно Калипсо кого-либо, ослепленного пустыми миражами фантазии, охваченного соблазнами раба чувств, то это ты ви­дишь не человека, а животное. И если ты видишь философа, все распознающего правильным разумом, то уважай его, ибо небесное он существо, не земное. Если же видишь чистого со­зерцатели, не ведающего плоти и погруженного в недра ума, то это не земное и не небесное существо. Это — самое возвы­шенное божество, облаченное в человеческую плоть. И кто не будет восхищаться человеком, который в священных еврей­ских и христианских писаниях справедливо называется име­нем то всякой плоти, то всякого творения, так как сам форми­рует и превращает себя в любую плоть и приобретает свойст­ва любого создания! Поэтому перс Эвант, излагая философию халдеев, пишет, что у человека нет собственного природного образа, но есть много чужих внешних обликов. Отсюда и вы­ражение у халдеев: человек — животное многообразной и из­менчивой природы. Но к чему все это? А для того, чтобы мы понимали с тех пор, как родились (при условии, что будем тем, чем мы хотим быть), что важнейший наш долг заботиться о том, чтобы, по крайней мере, о нас не говорили, что когда мы были в чести, то нас нельзя было узнать, так как мы уподо­бились животным и глупым ослам. Но лучше, чтобы о нас го­ворили словами пророка Асафа: «Вы — боги и все — знатные сыновья». Мы не должны вредить себе, злоупотребляя милос­тивейшей добротой Отца, вместо того чтобы приветствовать свободный выбор, который Он нам дал.

В душу вторгается святое стремление, чтобы мы, не до­вольствуясь заурядным, страстно желали высшего и, по воз­можности, добивались, если захотим, того, что положено всем людям. Нам следует отвергнуть земное, пренебречь не­бесным и, наконец, оставив позади все, что есть в мире, по­спешить в находящуюся над миром курию, самую близкую к высочайшей божественности.

...Но ведь если необходимо строить нашу жизнь по образ­цу херувимов, то нужно видеть, как они живут и что делают. Но так как нам, плотским и имеющим вкус с мирскими веща­ми, невозможно этого достичь, то обратимся к древним от­цам, которые могут дать нам многочисленные верные свиде­тельства о подобных делах, так как они им близки и родст­венны. Посоветуемся с апостолом Павлом, ибо когда он был вознесен на третье небо, то увидел, что делало войско херу­вимов. Он ответит нам, что они очищаются, затем наполня­ются светом и, наконец, достигают совершенства, как пере­дает Дионисий. 'Гак и мы, подражая на земле жизни херуви­мов, подавляя наукой о морали порыв страстей и рассеивая спорами тьму разума, очищаем душу, смывая грязь невежест­ва и пороков, чтобы страсти не бушевали необдуманно и не безумствовал иногда бесстыдный разум. Тогда мы наполним очищенную и хорошо приведенную в порядок душу светом естественной философии, чтобы затем совершенствовать ее познанием божественных вещей.

Не довольствуясь нашими святыми отцами, посоветуемся с патриархом Яковом, чье изваяние сияет на месте славы. И мудрейший отец, который спит в подземном царстве и бодрствует в небесном мире, дает нам совет, но символиче­ски — как это ему свойственно. Есть лестница, — скажет он, — которая тянется из глубины земли до вершины неба и разделена на множество ступенек. На вершине этой лест­ницы восседает Господь; ангелы-созерцатели то поднимают­ся, то спускаются по ней. И если мы, страстно стремясь к жизни ангелов, должны добиться этого, то, спрашиваю, кто посмеет дотронуться до лестницы Господа грязной ногой или плохо очищенными руками? Как говорится в мистериях, нечистому нельзя касаться чистого.

Но каковы эти ноги и эти руки? Ноги души — это, несо­мненно, та презреннейшая часть, которая опирается как на всю материю, так и на почву земли, питающая и кормящая си­ла, горючий материал страстей, наставница дающей наслаж­дение чувствительности. А рука души, защитница страсти — почему мы не говорим о ней с гневом? — сражается за нее и под солнцем и пылью, эта хищница отнимает то, чем сон­ная душа наслаждается в тени. Эти руки и ноги, то есть всю чувственную часть, в которой заключен соблазн тела, как го­ворят, силой пленяющий душу, мы, словно в реке, омываем в философии морали, чтобы нас не сбросили с лестницы как нечестивых и греховных. Однако этого недостаточно, если мы захотим стать спутниками ангелов, носящихся по лестни­це Якова, но не будем заранее хорошо подготовлены и обуче­ны двигаться от ступеньки к ступеньке, как положено, — никогда не сворачивая с пути и не мешая друг другу. А когда мы достигнем этого красноречием или способностями разума, то, оживленные духом херувимов, философствуя в соответст­вии со ступенями лестницы, то есть природы, все проходя от центра к центру, будем то спускаться, расщепляя с титаничес­кой силой единое на многие части, как Осириса, то подни­маться, соединяя с силой Феба множество частей в единое це­лое, как тело Осириса, до тех пор, пока не успокоимся бла­женством теологии, прильнув к груди Отца, который восседает на вершине лестницы. Спросим у справедливого Иова, который заключил с Богом договор о жизни, прежде чем сам вступил в жизнь: «Кого больше всего желает высший Бог из миллионов ангелов, которые ему помогают?». — «Ко­нечно, мира», — ответит Бог согласно тому, как читается: «То­го, который творит мир на небесах». И так как средний ряд передает предписания высшего ряда низшему, то для нас сло­ва теолога Иона объясняет философия Эмпедокла, который указывает на двойную природу нашей души —одна поднима­ет нас вверх, к небесам, другая сбрасывает вниз, в преиспод­нюю, — и сравнивает это с враждой и дружбой или с войной и миром, как свидетельствуют его песни. Сам Иов жалуется, что он, как безумный, жил во вражде и раздоре, был изгнан богами и сброшен в пропасть.

Ведь действительно, множество разногласий есть среди нас, отцы! Дома у нас идет тяжелая междоусобная распря и гражданская война. Если бы мы захотели, если бы страстно пожелали такого мира, который поднял бы нас так высоко, что мы оказались бы среди возвышенных Господа, то един­ственное, что успокоило бы и обуздало нас вполне, — это философия морали. И если бы человек добился у врагов только перемирия, то обуздал бы дикие порывы и гневный пыл льва. И если, заботясь о себе, мы пожелали бы тогда веч­ного мира, то он наступил бы, обильно утолив наши жела­ния, заключил бы между телом и духом договор о священном мире, принеся в жертву пару животных.

Диалектика успокоит разум, который мучается из-за сло­весных противоречий и коварных силлогизмов. Естествен­ная философия уймет споры и борьбу мнений, которые уг­нетают, раскалывают и терзают беспокойную душу, но при этом заставит нас помнить, что природа, согласно Геракли­ту, рождена войной и поэтому названа Гомером борьбой. Поэтому невозможно найти в природе настоящего покоя и прочного мира, который является привилегией и милос­тью ее госпожи — святейшей теологии. Теология укажет нам путь к миру и поведет как провожатый. Издали увидев нас, спешащих, она воскликнет: «Подойдите ко мне, вы, которые находитесь в затруднении. Подойдите ко мне, и я дам вам мир, который не могут вам дать ни Вселенная, ни природа»! И мы, ласково позванные и так радушно приглашенные, с ок­рыленными, как у Меркурия, ногами устремимся в объятия благословенной матери, насладимся желаемым миром — святейшим миром, неразрывными узами и согласной друж­бой, благодаря которой все души не только согласованно живут в едином разуме, который выше всех разумов, но неко­торым образом сливаются единое целое.

Такая дружба, как говорят пифагорейцы, является целью всей философии; такой мир Бог устанавливает в своих высо­тах, а ангелы, сходящие на землю, сообщают о нем людям до­брой воли, чтобы благодаря ему люди, восходящие на небо, сами стали ангелами. Такой мир мы пожелали бы друзьям, нашему времени, каждому дому, в который бы мы вошли, и нашей душе, чтобы она стала благодаря ему местом пребы­вания Бога и после того, как уничтожит на себе грязь с помо­щью морали и диалектики, украсилась [бы] многообразной философией, как дворцовой пышностью.

Вершину входа душа увенчает гирляндами теологии, и тогда вместе с Отцом сойдет король славы и сделает в ней свое пристанище. Душа окажется достойной столь снисходи­тельного гостя. Отделанная золотом, как свадебная тога, ок­руженная многообразием мыслей, она примет выдающегося гостя даже не как гостя, а как нареченного, с которым никогда не разлучаются, и пожелает отделиться от своего народа и, за­быв дом своего отца и даже себя, пожелает умереть в себе са­мой, чтобы жить в нареченном, в присутствии которого смерть его святых поистине блаженна. Я говорю — смерть, если следует назвать смертью полноту жизни, размышление над которой является занятием философии, как говорили му­дрецы. Давайте позовем самого Моисея, который лишь не­много меньше обильного источника священной и невырази­мой мысли, откуда ангелы пьют свой нектар. Выслушаем же судью, который должен прийти к нам и объявить тем, кто жи­вет в пустынном одиночестве плоти, следующие законы: те, кто еще греховен, нуждаются в морали, поэтому пусть живут с людьми не в святилище, а под открытым небом, как жрецы фессалийские, пока не очистятся от грехов. Те же, кто уже упорядочил образ жизни и принят в храм, пусть не приобща­ются к священнодействию, но прежде усердно послужат та­инствам философии диалектическим послушничеством; и допущенные, наконец, к таинствам в звании жреца филосо­фии пусть созерцают то пышный многоцветный звездный наряд Всевышнего Бога-царя, то голубой семисвечник, чтобы потом, принятые в лоно храма за заслуги возвышенной теологии, наслаждались славой Господней, когда уже никакое покрывало не скрывает образа Бога.

Да, Моисей приказывает нам это, но, приказывая, убежда­ет нас и побуждает к тому, чтобы мы с помощью философии готовились к будущей небесной славе. Но в действительнос­ти же не только христианские и моисеевские таинства, но и теология древних, о которой я намереваюсь спорить, раскрывает нам успехи и достоинство свободных искусств. Разве иного желают для себя посвященные в греческие таин­ства? Ведь первый из них, кто очистится с помощью морали и диалектики — очистительных занятий, как мы их называ­ем, — будет принят в мистерии! Но чем иным может быть это [участие в мистериях], если не разъяснением тайн природы посредством философии? Только после того, как они были таким образом подготовлены, наступило видение божест­венных дел через свет теологии.

*[БЕСКОРЫСТНЫЙ ХАРАКТЕР ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ]*

И кто не стал бы добиваться посвящения в эти таинства? Кто, пренебрегая всем земным, презирая дары судьбы, не за­ботясь о теле, не пожелал бы стать сотрапезником богов, еще живя на земле и получив дар бессмертия, напоив нектаром себя, — смертное существо! Кто не захотел бы так быть заво­роженным платоновским «Федром» и так воодушевиться экстазом Сократа, чтобы бежать из этого мира, вместилища дьявола, взмахами крыльев и ног и достигнуть быстро небес­ного Иерусалима! Мы будем возбуждаться, отцы, восторгами Сократа, которые настолько выводят нас за пределы рассуд­ка, что возносят нас и наш разум к Богу. Они тем более будут возбуждать нас, если мы сами приведем сначала в движение то, что есть в нас самих. И действительно, если с помощью морали силы страсти будут напряжены до соответствующих разумных пределов, так, чтобы они согласовывались между собой в нерушимой гармонии, если с помощью диалектики будет развиваться разум, то, возбужденные пылом Муз, мы будем упиваться небесной гармонией. Тогда вождь Муз Вакх в своих таинствах — зримых проявлениях природы, — рас­крывая нам, ставшим философами, тайны Бога, напитает нас из богатств Божьего дома, в котором мы вдохновимся двойным пылом, сближаясь со священной теологией, если будем верными, как Моисей. И когда поднимемся на самую высо­кую вершину, то, сопоставляя в вечности все, что было, есть и будет, и созерцая первородную красоту, мы станем прори­цателями Феба, его крылатыми поклонниками, и тогда, как порывом возбужденные невыразимой любовью, подобно окружающим нас пылким серафимам, мы, полные божеством, станем теперь тем, кто нас создал.

Если кто-либо будет исследовать значение и тайный смысл священных имен Аполлона, то увидит, что они свиде­тельствуют о том, что Бог является философом не менее чем прорицателем.

И то, что Аммоний достаточно полно рассказал об этом, не вынуждает меня по иному это трактовать. О, отцы, пусть овладеют душой три дельфийских правила, необходимые особенно тем, кто намеревается войти в святейший и авгус­тейший храм не ложного, но истинного Аполлона, который озаряет всякую душу, входящую в этот мир! Вы увидите, что нас вдохновляло только то, что мы все силы посвятили изу­чению тройственной философии, о которой сейчас идет спор. Знаменитое «ничего слишком» справедливо предписы­вает норму и правило всякой добродетели, согласно крите­рию меры, о чем говорит этика. Знаменитое «познай самого себя» побуждает и вдохновляет нас на познание всей приро­ды, с которой человек связан почти брачными узами. Тот же, кто познает самого себя, все познает в себе, как писали сна­чала Зороастр, а затем Платон в «Алкивиаде»...

...Вот причины, почтеннейшие отцы, которые не только вдохновляют, но увлекают меня на изучение философии. Конечно, я не говорил бы об этом, сели бы не желал ответить как тем, кто имеет обыкновение осуждать изучение философии, в особенности выдающимися людьми, так и тем, кто вообще живет заурядной жизнью. Ведь в действительности изучение филосо­фии является несчастьем нашего времени, так как находится скорее в презрении и поругании, чем в почете и славе.

Губительное и чудовищное убеждение, что заниматься философией надлежит немногим либо вообще не следует заниматься ею, поразило все умы. Никто не исследует причи­ны вещей, движение природы, устройство Вселенной, за­мыслы Бога, небесные и земные мистерии, если не может до­биться какой-либо благодарности или получить какую-либо выгоду для себя. К сожалению, стало даже так, что учеными считают только тех, кто изучает науку за вознаграждение. Скромная Паллада, посланная к людям с дарами богов, осви­стывается, порицается, изгоняется; нет никого, кто любил бы ее, кто бы ей покровительствовал, разве что сама, продаваясь и извлекая жалкое вознаграждение из оскверненной девст­венности, принесет добытые позором деньги в шкаф люби­мого. С огромной печалью я отмечаю, что в наше время не правители, а философы думают и заявляют, что не следует заниматься философией, так как философам не установле­ны ни вознаграждения, ни премии, как будто они не показали тем самым, что не являются философами. И действитель­но, так как их жизнь проходит в поисках денег или славы, то они даже для самих себя не размышляют над истиной. Я не постыжусь похвалить себя за то, что никогда не занимался философией иначе, как из любви к философии, и ни в исследованиях, ни в размышлениях своих никогда не рассчитывал ни на какое вознаграждение или оплату, кроме как на фор­мирование моей души и на понимание истины, к которой я страстно стремился. Это стремление было всегда столь страстным, что, отбросив заботу обо всех частных и общественных делах, я предавался покою размышления, и ни зависть недоброжелателей, ни хула врагов науки не смогли и не смогут отвлечь меня от этого. Именно философия научила меня зависеть скорее от собственного мнения, чем от чужих суждений, и всегда думать не о том, чтобы не услышать зла, но о том, чтобы не сказать или не сделать его самому.

*(Отрывки из «Речи о достоинстве человека» в переводе Л. Н. Брагиной приводятся по изданию: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти томах. Т. 1: Античность. Средние века. Возрождение. — М., 1962)*

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ, Дезидерий, псевдоним Герхарда Герхардса (1469—1536) — один из наиболее выдающихся представителей европейского гуманизма, ученый, писатель, богослов; «Вольтер 16 века»; друг Томаса Мора. Свои юные годы провел в монастыре августин­цев, который ему удалось покинуть в 1493 году. Он с боль­шим увлечением изучал произведения итальянских гуманис­тов и научную литературу, стал крупнейшим знатоком гре­ческого и латинского языков. Он изучал почти всех античных авторов (был связан с флорентийской академией платоников), а также сочинения отцов церкви; его издание Но­вого Завета, восходящее к древнейшему греческому первоис­точнику, послужило основой для перевода Библии Мартином Лютером и стало важнейшим шагом на пути к Реформации. Отстаивал веротерпимость, не принимал жесткого догматизма М.Лютера и полемизировал с ним по вопросу о свободе воли.

*Наиболее известное произведение Эразма Роттердамского — созданная им по образцу Лукиана сатира «Похвала Глупости» (1509), которая всего за одну неделю была написана в доме Томаса Мора. Это своего рода свод взглядов автора на различные аспекты человеческого существования, покоящийся на двух важнейших тезисах: парадоксальная двойственность всех явлений бытия и опасность любого рода абсолютизаций, эксцессов, интеллектуальной ослепленности. Он верил в естественную доброту человека, разум; среди духовных ценностей выделял свободу духа, воздержанность, образо­ванность, простоту.*

*В целом Эразм Роттердамский – сторонник сильной, но просвещенной и гуманной монархической власти, хотя сильно симпатизировал самоуправляющимся городским общинам. Пытаясь синтезировать куль­турные традиции античности и раннего христианства, положил начало тому идейному течению в гуманизме, которое обычно называют «христианский гуманизм». Проповедовал свободу и ясность духа, миролюбие, воздержанность, здравый смысл, образованность и простоту.*

ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

[…] Глупость говорит:

*Глава I*

Пусть грубые смертные толкуют обо мне, как им угод­но, — мне ведомо, на каком худом счету Глупость даже у глу­пейших, — все же я дерзаю утверждать, что мое божествен­ное присутствие, и только оно одно, веселит богов и людей. Наилучшее тому доказательство — перед вами: едва взошла я на кафедру в этом многолюдном собрании, как все лица про­сияли небывалым, необычайным весельем, все подались впе­ред и повсеместно раздался радостный, ликующий смех […]

*Глава III*

Воистину, не забочусь я нисколько о тех любомудрах, ко­торые провозглашают дерзновеннейшим глупцом всякого, кто произносит хвалы самому себе. Ладно, пусть это будет глупо, если уж им так хочется, — лишь бы зазорно не было. Кому, однако, как не Глупости, больше подобает явиться тру­бачом собственной славы и *самой себе подыгрывать на флейте*! Кто может лучше изобразить меня, нежели я сама? Разве что тот, кому я известна ближе, нежели себе самой! Сверх того, действуя таким образом, я почитаю себя скром­нее большинства великих и мудрых мира сего. Удерживае­мые ложным стыдом, они не решаются выступить сами, но вместо того нанимают какого-нибудь продажного ритора или поэта-пустозвона, из чьих уст выслушивают похвалу, иначе говоря, — ложь несусветную. Наш смиренник распус­кает хвост, словно павлин, задирает хохол, а тем временем бесстыжий льстец приравнивает этого ничтожного челове­ка к богам, выставляет его образцом всех доблестей, до кото­рых тому, *как до звезды небесной*, далеко, наряжает ворону в павлиньи перья, *старается выбелить эфиопа и из мухи де­лает слона*. Наконец, я применяю на деле народную посло­вицу, гласящую: «Сам выхваляйся, коли люди не хвалят». Не знаю, чему дивиться — лености или неблагодарности смертных: хотя все они меня усердно чтут и охотно пользу­ются моими благодеяниями, никто, однако, в продолжение стольких веков не удосужился воздать в благодарственной речи похвалу Глупости, тогда как не было недостатка в охот­никах сочинять, не жалея лампового масла и жертвуя сном, напыщенные славословия Бусиридам, Фаларидам, переме­жающимся лихорадкам, мухам, лысинам и тому подобным напастям. От меня же вы услышите речь, не подготовленную заранее и не обработанную, но зато тем более правдивую.

*Глава VII*

Не хотелось бы мне, чтобы вы заподозрили меня в жела­нии блеснуть остроумием по примеру большинства орато­ров. Ведь те — дело известное, — когда читают речь, над ко­торой бились лет тридцать, а иногда так и вовсе чужую, дают понять, будто сочинили ее между делом, шутки ради, в три дня, или просто продиктовали невзначай. Мне же всегда особенно приятно было говорить то, что в голову взбредет […]

*глава XII*

Но мало того что во мне вы обрели рассадник и источник всяческой жизни: все, что есть в жизни приятного, — тоже мой дар, и я берусь вам это доказать. Чем была бы земная на­ша жизнь и вообще стоило ли бы называть ее жизнью, если б лишена была наслаждений? Вы рукоплещете? Я так и знала, что никто из вас не настолько мудр или, лучше сказать, не на­столько глуп, нет - именно не настолько мудр, чтобы не согласиться с моим мнением. Сами стоики отнюдь не отворачи­ваются от наслаждений. Лицемеря и клеймя наслаждение пе­ред грубой толпой, они просто хотят отпугнуть других, чтобы самим вольготнее было наслаждаться. Но пусть ответят они мне ради Зевса: что останется в жизни, кроме печали, скуки, томления, несносных докук и тягот, если не примешать к ней малую толику наслаждения, иначе говоря, если не сдобрить ее глупостью? Ссылаюсь на свидетельство прославленного Софокла, который воздал мне следующую красноречивую хвалу: «Блаженна жизнь, пока живешь без дум».

Попытаемся, однако, рассмотреть этот предмет более об­стоятельно.

# *Глава ХШ*

Прежде всего, кому не известно, что первые годы — са­мый приятный и веселый возраст в жизни человека? Детей любят, целуют, ласкают, даже враг-чужеземец готов прийти к ним на помощь. Чем объяснить это, если не тем, что мудрая природа окутала младенцев привлекательным покровом глу­пости, который, чаруя родителей и воспитателей, вознаг­раждает их за труды, а малюткам доставляет любовь и опеку, для них необходимые.

За детством следует юность. Кому она не мила, кто к ней не благоволит, кто не стремится помочь ей, кто не протягивает ей дружелюбную руку? Но в чем, спрошу я, источник очарования юности, если не во мне? Чем меньше умничает мальчик по моей милости, тем приятнее он всем и каждому.

Разве я лгу, утверждая, что люди, по мере того как они стано­вятся старше и начинают умнеть благодаря собственному опыту и воспитанию, понемногу теряют свою привлека­тельность, проворство, красоту и силу? Чем более удаляется от меня человек, тем меньше остается ему жить, пока не на­ступит наконец *тягостная старость*, ненавистная не толь­ко другим, но и самой себе. Никто из смертных не вынес бы старости, если б я не сжалилась над несчастными и не по­спешила бы на помощь. Подобно тому как у поэтов боги, ви­дя, что человек готов расстаться с жизнью, стараются облег­чить его участь посредством какой-нибудь метаморфозы, так и я, по мере возможности, возвращаю к детству тех, кто стоит уже на краю могилы. Недаром про дряхлеющих стар­цев говорят в народе, будто они *впали во второе детство*

[…] *Сходные вещи сближать привыкли великие боги.*

Да и в самом деле, какая разница между стариком и ре­бенком, если не считать того, что первый изборожден мор­щинами и насчитывает больше дней от рождения? Те же бе­лые волосы, беззубый рот, малый рост, пристрастие к моло­ку, косноязычие, болтливость, бестолковость, забывчивость, опрометчивость. Коротко говоря, они во всем подобны друг другу. Чем более стареют люди, тем ближе они к детям, и, на­конец, словно настоящие младенцы, не испытывая отвраще­ния к жизни, не сознавая смерти, уходят они из мира […]

*глава XXI*

Одним словом, без меня никакое сообщество, никакая житейская связь не были бы приятными и прочными: народ не мог бы долго сносить своего государя, господин — раба, служанка — госпожу, учитель — ученика, друг — друга, же­на — мужа, квартирант — домохозяина, сожитель — сожите­ля, товарищ — товарища, ежели бы они взаимно не заблужда­лись, не прибегали к лести, не щадили чужих слабостей, не потчевали друг друга медом глупости. Сказанного, по-мо­ему, вполне достаточно, но погодите, сейчас вы услышите кое-что поважнее […]

*глава XXXIII*

Впрочем, и между самими науками превыше всего ценят­ся те, которые ближе стоят к здравому смыслу, иначе говоря, к глупости. Голодают богословы, мерзнут физики, терпят по­смеяние астрологи, живут в пренебрежении диалектики. Только *муж-врачевателъ многим другим предпочтен*. Но и среди врачей — кто невежественнее, нахальнее, безрассуд­нее остальных, тому и цена выше даже у венчанных госуда­рей. Да и сама медицина, в том виде, в каком многие ею те­перь занимаются, не что иное, как искусство морочить лю­дей, — нисколько не хуже риторики.

К врачам ближе всего законники-крючкотворы; быть мо­жет даже, их следует поставить на первое место — сама су­дить не решусь; во всяком случае, все философы единодушно называют их ремесло ослиным. И, однако, от решений этих ослов зависят все дела – как самые важные, так и самые незначительные. Имения законников умножаются, между тем как богослов, постигнувший глубочайшие тайны божества, жует волчцы и ведет жестокую войну с клопами и блохами. Итак, если среди ученых счастливее других те, которые со­стоят в наиболее близком родстве с Глупостью, то, без со­мнения, величайшие счастливцы — те, кто воздерживается от всякого соприкосновения с пауками и исполняет веления одной природы; ведь природа никогда не заблуждается, раз­ве только мы сами попытаемся перешагнуть за положенные человеческой доле границы.

Ненавистна природе всякая подделка, и всего лучше бы­вает то, что не искажено ни наукой, ни искусством […]

*Глава XXXVII*

Но возвращаюсь снова к благополучию дураков. Прожив с великой приятностью жизнь, не отравленную страхом и предчувствием смерти, они переселяются прямо в Поля Елисейские, дабы забавлять там своими шутками скучающие души праведных.

А теперь сравним жребий какого угодно мудреца с участью глупого шута. Представьте себе человека, который все детство и юность свои провел в усвоении наук, который убил лучшую часть жизни на непрестанные бдения, заботы, труды, а в про­чие годы не вкушал никаких наслаждений; неизменно бережливый, бедный, печальный, хмурый, к самому себе взыскатель­ный и суровый, для других тягостный и ненавистный, бледно­лицый, тощий, хилый, подслеповатый, преждевременно состарившийся и поседевший, он до срока расстается с жиз­нью. Впрочем, не все ли равно, когда он умрет, — ведь он и не жил вовсе! Вот вам образ совершенного мудреца! […]

*(Эразм Роттердамский. Похвала Глупости. Пер.с латин.П.К.Губера. –М.,1983)*

*ТОМАС МОР (1478–1535) – английский мыслитель и политический деятель. Происходил из семьи, принадлежащей к высшим слоям лондонской буржуазии, учился в оксфордском университете. Мор был весьма дружен с рядом английских и континентальных гуманистов (в особенности с Эразмом Роттердамским). Был членом парламента, помощником шерифа Лондона, председателем палаты общим, лордом-канцлером английского королевства (при Генрихе VIII).*

*Будучи религиозным человеком, Мор во время Реформации активно защищал католицизм против лютеранства, а затем и против Генриха VIII, когда он стал на путь освобождения английской церкви от подчинения римско-католической курии и власти римского папы. За отказ признать короля в качестве главы английской церкви Мор был заключен в Тауэр и казнен.*

Литературное наследие Мора обширно и разнообразно. Однако самым знаменитым и влиятельным его произведением стала «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и новом острове Утопии», впервые опубликованная (на латинском языке) при прямом содействии Эразма Роттердамского. Рассказ об идеальном устройстве общественной жизни утопийцев ведется от имени путешественника Рафаила Гитлодея, сам же Мор, якобы только излагающий его рассказ, иногда выступает оппонентом рассказчика.

*Произведение состоит из двух книг. В первой из них содержится острая критика социальных порядков Англии и Европы, а во второй Гитлодей рассказывает о порядках, существующих на острове Утопия.*

**УТОПИЯ**

[…] Поэтому я, с одной стороны, обсуждаю сам с собою мудрейшие учреждения утопийцев, у которых государство управляется при помощи столь немногих законов, но так успешно, что и добродетель встречает надлежащую оценку, и, несмотря на равенство имущества, во всем замечается всеобщее благоденствие. С другой стороны, наоборот, я сравниваю с их нравами нравы стольких других наций, которые постоянно создают у себя порядок, но никогда ни одна из них не достигает его; всякий называет там своей собственностью то, что ему попало; каждый день издаются там многочисленные законы, но они бессильны обеспечить достижения, или охрану, или отграничение от других того, что каждый, в свою очередь, именует своей собственностью, а это легко доказывают бесконечные и постоянно возникающие, а другой стороны, никогда не оканчивающиеся процессы. Так вот, повторяю, когда я сам с собою размышляю об этом, я делаюсь более справедливым к Платону […] Этот мудрец легко усмотрел, что один-единственный путь к благополучию общества заключается в объявлении имущественного равенства, а вряд ли это когда-либо можно выполнить там, где у каждого есть своя собственность. Именно если каждый на определенных законных основаниях старается присвоить себе сколько может, то, каково бы ни было имущественное изобилие, все оно попадает немногим; а они, разделив его между собою, оставляют прочим одну нужду, и обычно бывает так, что одни вполне заслуживают жребия других: именно первые хищны, бесчестны и не куда не годны, а вторые, наоборот, люди скромные и простые и повседневным трудом приносят большие пользы обществу, чем себе лично.

Поэтому я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности; но если она останется, то у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей. Я, правда, допускаю, что оно может быть до известной степени облегчено, но категорически утверждаю, что его нельзя совершенно уничтожить […]

«А мне кажется наоборот, - возражаю я, - никогда нельзя жить богато там, где все общее. Каким образом может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его не вынуждает к ней расчет на личную прибыль, а с другой стороны, твердая надежда на чужой труд дает возможность лениться? А когда людей будет подстрекать недостаток в продуктах и никакой закон не сможет охранять как личную собственность приобретенное каждым, то не будут ли тогда люди по необходимости страдать от постоянных кровопролитий и беспорядков? И это осуществится тем более, что исчезнет всякое уважение и почтение к властям; я не могу даже представить, какое место найдется для них у таких людей, между которыми «нет никакого различия»». – «Я не удивляюсь, - ответил Рафаил, - этому твоему мнению, так как ты совершенно не можешь вообразить такого положения или представляешь его ложно. А вот если бы ты побыл со мной в Утопии и сам посмотрел на их нравы и законы, как это сделал я, который прожил там пять лет и никогда не уехал бы оттуда, если бы не руководился желанием поведать об этом новом мире, ты бы вполне признал, что нигде в другом месте ты не видал народа с более правильным устройством, чем там» […]

Утоп, чье победоносное имя носит остров […] довел грубый и дикий народ до такой степени культуры и образованности, что теперь он почти превосходит в этом отношении прочих смертных […]

У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие – земледелие, от которого никто ни избавлен. Ему учатся все с детства, отчасти в школе путем усвоения теории, отчасти на ближайших к городу полях, куда детей выводят как бы для игры, между тем как там они не только смотрят, но под предлогом физического упражнения также и работают.

Кроме земледелия […] каждый изучает какое-либо одно ремесло, как специальное […] По большей части каждый вырастает, учась отцовскому ремеслу: к нему большинство питает склонность от природы. Но если кто имеет влечение к другому занятию, то такого человека путем усыновления переводят в какое-либо семейство, к ремеслу которого он питает любовь […]

Главное почти исключительное занятие сифогрантов состоит в заботе и наблюдении, чтоб никто не сидел праздно, а чтоб каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утомлялся подобно скоту. Такой тяжелый труд превосходит даже долю рабов, но подобную жизнь и ведут рабочие почти повсюду, кроме утопийцев. А они делят день на двадцать четыре равных часа, причисляя сюда и ночь, и отводят для работы только шесть […] Все время, остающиеся между часами работы, сна и принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтоб злоупотреблять им в излишествах или лености, а чтоб на свободе от своего ремесла, по лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам. Они имеют обыкновение устраивать ежедневно в предрассветные часы публичные лекции; участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятия науками.

[…] Если только шесть часов уходит на работу, то отсюда можно, пожалуй, вывести предположение, что следствием этого является известный недостаток в предметах первой необходимости. Но в действительности этого отнюдь нет; мало того, такое количество времени не только вполне достаточно для запаса всем необходимым для жизни и ее удобств, но и дает также известный остаток. Это будет понятно и вам, если только вы поглубже вдумаетесь, какая огромная часть населения у других народов живет без дела […] Возьмем всех тех лиц, которые заняты теперь бесполезными ремеслами, и вдобавок всю эту изнывающую от безделья и праздности массу людей, каждый из которых потребляет столько продуктов, производимых трудами других, сколько нужно их для двух изготовителей этих продуктов; так вот, повторяю, если всю совокупность этих лиц поставить на работу, и притом полезную, то можно легко заметить, как немного времени нужно было бы для приготовления в достаточном количестве и даже с избытком всего того, что требуют принципы пользы или удобства (прибавь также – и удовольствия, но только настоящего и естественного).

Очевидность этого подтверждения в Утопии самой действительностью. Именно там в целом городе с прилегающим к нему округом из всех мужчин и женщин, годных для работы по своему возрасту и силам, освобождение от нее дается едва пятистам лицам. В числе их сифогранты, которые хотя имеют по закону право не работать, однако не избавляют себя от труда, желая своим примером побудить остальных охотнее браться за труд. Той же льготой наслаждаются те, кому народ под влиянием рекомендации духовенства и по тайному голосованию сифогрантов дарует навсегда это освобождение для основательного прохождения наук. Если кто из этих лиц обманет возложенную на него надежду, то его удаляют обратно к ремесленникам. И наоборот, нередко бывает, что какой-нибудь рабочий так усердно занимается науками в упомянутые выше свободные часы и отличается таким большим прилежанием, что освобождается от своего ремесла и продвигается в разряд ученых.

Из этого сословия ученых выбирают послов, духовенство, траниборов и, наконец, самого главу государства […] Так как все они заняты полезным делом и для выполнения его им достаточно лишь небольшое количества труда, то в итоге у них получается изобилие во всем […]

Утопийцы едят и пьют в скудельных сосудах из глины и стекла, правда, всегда изящных, но все же дешевых, а из золота и серебра повсюду, не только в общественных дворцах, но и в частных жилищах, они делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей. Сверх того из тех же металлов они вырабатывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают рабов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступлением в ушах висят золотые кольца, золото обвивает пальцы, шею опоясывает золотая цепь и, наконец, голова окружена золотым обручем. Таким образом, утопийцы всячески стараются о том, чтоб золото и серебро были у них в позоре […] Удивительно для утопийцев также и то, как золото, по своей природе столь бесполезное, теперь повсюду на земле ценится так, что сам человек, через которого и на пользу которого оно получило такую стоимость, ценится гораздо дешевле, чем само золото; и дело доходит до того, что какой-нибудь медный лоб, у которого ума не больше, чем у пня, и который столько же бесстыден, как глуп, имеет у себя в рабстве многих умных и хороших людей исключительно по той причине, что ему досталась большая куча золотых монет […]

До нашего прибытия они даже и не слыхивали о всех тех философах, имена которых знамениты в настоящем известном нам мире. И все же в музыке, диалектике, науке счета и измерения они дошли почти до того же самого, как и наши древние (философы). Впрочем, если они во всем почти равняются с нашими древними, то далеко уступают изобретениям новых диалектиков. Именно, они не изобрели хотя бы одного правила из тех остроумных выдумок, которые здесь повсюду изучают дети в так называемой «Малой логике», об ограничениях, расширениях и подстановлениях […] Зато утопийцы очень сведущи в течении светил и движении небесных тел. Мало того, они остроумно изобрели приборы различных форм, при помощи которых весьма точно уловляют движение и положение солнца, луны, а равно и прочих светил, видимых на их горизонте… По некоторым приметам, полученным путем продолжительно опыта, они предсказывают дожди, ветры и прочие изменения погоды. Что же касается причин всего этого, приливов морей, солености их воды и вообще происхождения природной сущности неба и мира, то они рассуждают об этом точно так же, как наши старые философы; отчасти же, как те расходятся друг с другом, так и утопийцы, приводя новые причины объяснений явлений, спорят друг с другом, не приходя, однако во всем к согласию.

В том отделе философии, где речь идет о нравственности, их мнения совпадают с нашими: они рассуждают о благах духовных, телесных и внешних, затем о том, присуще ли название блага всем или только духовным качествам. Они разбирают вопрос о добродетели и удовольствии, но главным и первенствующим является у них спор о том, в чем именно заключается человеческое счастье, есть ли для него один источник или несколько. Однако в этом вопросе с большей охотой, чем справедливостью, они, по-видимому, склоняются к мнению, защищающему удовольствие: в нем они полагают или исключительный, или преимущественный элемент человеческого счастья. И, что более удивительно, они ищут защиту такого щекотливого положения в религии, которая серьезна, сурова и обычно печальна и строга. Они никогда не разбирают вопроса о счастье, не соединяя некоторых положений, взятых из религии, с философией, прибегающей к доводам разума… Эти положения следующие: душа бессмертна и по благости божьей рождена для счастья; наши добродетели и благодеяния после этой жизни ожидает награда, а позорные поступки – мучения. Хотя это относится к области религии, однако, по их мнению, дойти до верования в это и признания этого можно и путем разума. С устранением же этих положений они без всякого колебания провозглашают, что никто не может быть настолько глуп, чтоб не чувствовать стремление к удовольствию дозволенными и недозволенными средствами; надо остерегается только того, чтобы меньшее удовольствие не помешало большему, и не добиваться такого, оплатой за которое является страдание. Они считают признаком полнейшего безумия гоняться за суровой и недоступной добродетелью и не только отстранять сладость жизни, но даже добровольно терпеть страдание, от которого нельзя ожидать никакой пользы, да и какая может быть польза, если после смерти ты не добьешься нечего, а настоящую жизнь провел всю без приятности, то есть несчастно. Но счастье, по их мнению, заключается не во всяком удовольствии, а только в честном и благородном […] Утопийцы допускают различные виды удовольствий, признаваемые ими за истинные; именно, одни относятся к духу, другие к телу. Духу приписывается понимание и наслаждение, возникающее от созерцания истины. Сюда же присоединяются приятное воспоминание о хорошо прожитой жизни и несомненная надежда на будущее блаженство […]

Другой вид телесного удовольствия заключается, по их мнению, в спокойном и находящемся в полном порядке состояния тела… Действительно, если оно не связанно ни с какой болью, то само по себе служит источником наслаждения, хотя бы на него не действовало никакое привлеченное извне удовольствие. Правда, оно не так заметно и дает чувствам меньше, чем ненасытное желание еды и питья; тем не менее, многие считают хорошее здоровье за величайшее из удовольствий. Почти все утопийцы признают здоровье большим удовольствием и, так сказать, основной и базисом всего. Оно одно может создать спокойные и желательные условия жизни, а при отсутствии его не остается совершенно никакого места для удовольствия […]

Они считают признаком крайнего безумия, излишней жестокости к себе и высшей неблагодарности к природе, если кто презирает дарованную ему красоту, ослабляет силу, превращает свое проворство в леность, истощает свое тело постами, наносит вред здоровью и отвергает прочие ласки природы. Это значит презирать свои обязательства к ней и отказываться от всех ее благодеяний. Исключение может быть в том случае, когда кто-нибудь пренебрегает этими своими преимуществами ради пламенной заботы о других и об обществе, ожидая взамен этого страдания большего удовольствия от Бога. Иначе совсем глупо терзать себя без пользы для кого-нибудь из-за пустого призрака добродетели или для того, чтобы иметь силу переносить с меньшей тягостью несчастья, которые никогда, может быть, и не произойдут […]

Хотя, по сравнению с прочими народами, утопийцы менее всего нуждаются в медицине, однако нигде она не пользуется большим почетом хотя бы потому, что познание ее ставят наравне с самыми прекрасными и полезными частями философии. Исследуя с помощью этой философии тайны природы, они рассчитывают получить от этого не только удивительное удовольствие, но и войти в большую милость у ее виновника и создателя. По мнению утопийцев, он, по обычаю прочих мастеров, предоставил рассмотрение устройства этого мира созерцанию человека, которого одного только сделал способным для этого, и отсюда усердного и тщательного наблюдателя и поклонника своего творения любит гораздо более, чем того, кто, наподобие неразумного животного, глупо и бесчувственно пренебрег столь величественным и изумительным зрелищем.

Поэтому способности утопийцев, изощренные науками, удивительно восприимчивы к изобретению искусств, содействующих в каком-либо отношении удобствам и благам жизни […]

Утопийцы не только отвращают людей наказаниями от позора, но и приглашают их к добродетелям, выставляя напоказ их почетные деяния. Поэтому они воздвигают на площади статуи мужам выдающимся и оказавшим важные услуги государству на память об их подвигах. Вместе с тем они хотят, чтобы слава предков служила для потомков, так сказать, шпорами поощрения к добродетели […]

Между собою они живут дружно, так как ни один чиновник не проявляет надменности и не внушает страха. Их называют отцами, и они ведут себя достойно. Должный почет им утопийцы оказывают добровольно, и его не приходится требовать насильно […]

Законов у них очень мало, да для народа с подобными учреждениями и достаточно весьма немногих. Они даже особенно не одобряют другие народы за то, что им представляются недостаточными бесчисленные тома законов и толкователей на них.

Сами утопийцы считают в высшей степени несправедливым связывать каких-нибудь людей такими законами, численность которых превосходит возможность их прочтения, или темнота – доступность понимания для всякого […] У утопийцев законоведом является всякий […] Они признают всякий закон тем более справедливым, чем проще его толкование. По словам утопийцев, все законы издаются только ради того, чтобы напоминать каждому об его обязанности. Поэтому более тонкое толкование закона вразумляет весьма немногих, ибо немногие могут постигнуть это: между тем более простой и доступный смысл законов открыт для всех. Кроме того, что касается простого народа, который составляет преобладающее большинство и наиболее нуждается во вразумлении, то для него безразлично – или вовсе не издавать закона, или облечь после издания его толкование в такой смысл, до которого никто не может добраться иначе, как при помощи большого ума и продолжительных рассуждений. Простой народ с его тугой сообразительностью не в силах добраться до таких выводов, да ему и жизни на это не хватит, так как она занята у него добыванием пропитания […]

По мнению утопийцев, нельзя никого считать врагом, если он не сделал нам никакой обиды; узы природы заменяют договор, и лучше и сильнее взаимно объединять людей расположением, а не договорными соглашениями, сердцем, а не словами […]

Утопийцы сильно гнушаются войной как деянием поистине зверским, хотя ни у одной породы зверей она не употребительна столь часто, как у человека; вопреки обычаю почти у всех народов, они ничего не считают в такой степени бесславным, как славу, добытую войной. Не желая, однако обнаружить, в случае необходимости, свою неспособность к ней, они постоянно упражняются в военных науках. Они никогда не начинают войны зря, а только в тех случаях, когда защищают свои пределы, или прогоняют врагов, вторгшихся в страну их друзей, или сожалеют какой-либо народ, угнетенный тиранией, и своими силами освобождают его от ига тирана и от рабства; это делают они по человеколюбию […]

Религия утопийцев отличается своим разнообразием не только на территории всего острова, но и в каждом городе. Одни почитают как Бога солнце, другие – луну, третьи – одну из планет. Некоторые преклоняются не только как перед Богом, но и как перед величайшим Богом, перед каким-либо человеком, который некогда отличился своей доблестью или славой. Но гораздо большая, и притом наиболее благоразумная, часть не признает ничего подобного, а верит в некое единое божество, неведомое, вечное, неизмеримое, необъяснимое, превышающее понимание человеческого разума, распространенное во всем этом мире не своей громадою, а силою: его называют они отцом. Ему одному они приписывают начала, возрастания, продвижения, изменения и концы всех вещей; ему же одному, а никому другому они воздают и божеские почести.

Мало того, и все прочие, несмотря на различие верований, согласны с только что упомянутыми согражданами в признании единого высшего существа, которому они обязаны и созданием Вселенной, и провидением […]

Но вот утопийцы услышали от нас про имя Христа, про его учение, характер и чудеса, про не менее изумительное упорство стольких мучеников, добровольно пролитая кровь которых привела в их веру на огромном протяжении столько многочисленных народов. Трудно поверить, как легко и охотно они признали такое верование; причиной этого могло быть или тайное внушение божье, или христианство оказалось ближе всего подходящим к той ереси, которая у них является предпочтительной. Правда, по моему мнению, немалую роль играло тут услышанное ими, что Христу нравилась совместная жизнь, подобная существующей у них, и что она сохраняется и до сих пор в наиболее чистых христианских общинах […]

Утоп не рискнул вынести о ней (религии) какое-нибудь необдуманное решение,… предоставил каждому свободу веровать во что ему угодно. Но он с неумолимой строгостью запретил всякому ронять так низко достоинство человеческой природы, чтобы доходить до признания, что души гибнут вместе с телом и что мир несется зря, без всякого участия провидения. Поэтому, по их верованиям, после настоящей жизни за пороки назначены наказания, а за добродетель – награды. Мыслящего иначе они не признают даже человеком, так как подобная личность приравняла возвышенную часть своей души к презренной и низкой плоти зверей. Такого человека они не считают даже гражданином, так как он, если бы его не удерживал страх, не ставил бы ни во что все уставы и обычаи […] Вместе с тем утопийцы не заставляют его угрозами скрывать свое настроение; они не допускают притворства и лжи, к которым, как ближе всего граничащим с обманом, питают удивительную ненависть […]

Священники занимаются образованием мальчиков и юношей. Но они столько же заботятся об обучении, как и о развитии нравственности и добродетели. Именно, они прилагают огромное усердие к тому, чтоб в еще нежные и гибкие умы мальчиков впитать мысли, добрые и полезные для сохранения государства […]

Я описал вам, насколько мог правильно, строй такого общества, какое я во всяком случае признаю не только наилучшим, но также и единственным, которое может присвоить себе с полным правом название общества. Именно, в других странах повсюду говорящие об общественном благополучии заботятся только о своем собственном. Здесь же, где нет никакой частной собственности, они фактически занимаются общественными делами... Действительно, в других странах каждый знает, что, как бы общество ни процветало, он все равно умрет с голоду, если не позаботится о себе лично. Поэтому в силу необходимости он должен предпочитать собственные интересы интересам народа, т.е. других. Здесь же, где все принадлежит всем, наоборот, никто не сомневается в том, что ни один частный человек не будет ни в чем терпеть нужды, стоит только позаботиться о том, чтобы общественные магазины были полны. Тут не существуют неравномерного распределения продуктов, нет ни одного нуждающегося, ни одного нищего и, хотя никто ничего не имеет, тем не менее все богаты […]

*(Т.Мор. Утопия. -М.-Л.,1947)*

*Томмазо Кампанелла (1568-1639) – итальянский философ, поэт, политический деятель. В 15 лет стал монахом-доминиканцем, в школах ордена изучал труды Аристотеля, Фомы Аквинского, астрологию и Каббалу. Защищал идею папско-католической единой монархии, которой должны подчиняться все национальные государства. Прочитав работу Телезио «О природе вещей согласно ее собственным началам», выступил против изучения природы по трудам Аристотеля и потребовал изучения самой природы. В философии Кампанелла отстаивал необходимость опытного познания и развил учение о «двойном» откровении (природы и Священного писания). Допускал существование множества миров, пытался дать научное доказательство христианства, исходя из чувственного восприятия и познания разумом самого себя. Вселенная есть смесь бытия с небытием; изменение порождается противоположными принципами любви и раздора. Все вещи обладают душой и чувствами – каждая на своем уровне; все стремится к самосохранению, однако разумные существа могут достичь этого, только соединившись с Богом.*

*Кампанелла был арестован по обвинению в заговоре против испанского режима в Неаполе и осужден к пожизненному заключению, во время которого и написал главные философские работы. Важнейшее из его социально-философских произведений – знаменитый «Город Солнца». Книга написана в форме диалога, заимствованного у античных авторов. В ней ощущается сильное влияние идей Платона. Кампанелла рисует картину совершенного государства в христианско-коммунистическом духе. Господствуют в нем священники-философы, семья и собственность упразднены, дети воспитываются государством. Огромное внимание уделяется развитию науки, просвещению и трудовому воспитанию.*

*Проведя в тюрьмах в общей сложности почти 27 лет, Кампанелла был освобожден и оправдан. Он стремился достичь духовного единства человечества в рамках реформированного в соответствии с его идеалами католицизма и пытался донести свои идеи до папского двора.*

**ГОРОД СОЛНЦА**

*(Собеседники: Главный Гостинник и Мореход из Генуи)*

*Гостинник*: Поведай мне, пожалуйста, о всех своих приключениях во время последнего плавания.

*Мореход:* Я уже рассказывал тебе о своем кругосветном путешествии, во время которого попал я в конце концов на остров Тапробану, где вынужден был сойти на берег… Я неожиданно столкнулся с большим отрядом вооруженных мужчин и женщин, многие из которых понимали наш язык. Они сейчас же повели меня в Город солнца…

На обширной равнине возвышается высокий холм, на котором и расположена большая часть города… Разделяется город на семь обширных поясов, или кругов, называющихся по семи планетам. Из одного круга в другой попадают по четырем мощеным улицам четверо ворот, обращенных на четыре стороны света. И так, право, он выстроен, что если бы взят был приступом первый круг, то для взятия второго понадобилось бы употребить вдвое больше усилий; а для овладения третьим – еще больше. Итак, чтобы захватить следующий, надо было бы постоянно употреблять вдвое больше усилий и труда. Таким образом, если бы кто задумал взять этот город приступом, ему пришлось бы брать его семь раз…

На вершине горы находится открытая и просторная площадь, посредине которой возвышается храм, воздвигнутый с изумительным искусством…

Верховный правитель у них – священник, именующийся на их языке «Солнце», на нашем же мы его называли бы Метафизиком. Он является главою всех и в советском и в духовном, и по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение. При нем состоят три соправителя: Пон, Син и Мор, или, по-нашему, Мощь, Мудрость и Любовь.

В ведении Мощи находится все касающееся войны и мира: военное искусство, верховное командование на войне; но и в этом он не стоит выше Солнца. Он управляет военными должностями, солдатами, ведает снабжением, укреплениями, осадами, военными машинами, мастерскими и мастерами, их обслуживающими.

В ведении Мудрости подлежат свободные искусства, ремесла и всевозможные науки, а также, соответственные должностные лица и ученые, равно как и учебные заведения. Число подчиненных ему должностных лиц соответствует числу наук: имеется Астроном, также и Космограф, Геометр, Историограф, Поэт, Логик, Ритор, Грамматик, Медик, Физик, Политик, Моралист. И есть у них всего одна книга под названием «Мудрость», где удивительно сжато и доступно изложены все науки. Ее читают народу согласно обряду пифагорейцев.

По велению Мудрости, во всем городе стены, внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшей живописью, в удивительно стройной последовательности отображающей все науки […] Для всех этих изображений имеются наставники, а дети без труда и как бы играючи знакомятся со всеми науками наглядным путем до достижения десятилетнего возраста.

Ведению Любви подлежит, во-первых, деторождение и наблюдение за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. И они издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегаем породой человеческой. В ведении того же правителя находится воспитание новорожденных, врачевание, изготовление лекарств, посевы, жатва и сбор плодов, земледелие, скотоводство, стол и вообще все, относящееся к одежде, пище и половым сношениям. В его распоряжении находится ряд наставников и наставниц, приставленных следить за всеми этими делами.

Метафизик же наблюдает за этим при посредстве упомянутых трех правителей, и ничто не совершается без его ведома. Все дела их республики обсуждаются этими четырьмя лицами, и к мнению Метафизика присоединяются во взаимном согласии все остальные […]

Народ этот появился из Индии, бежавши оттуда после поражения монголами, разбойниками и насильниками, разорившими их родную страну, и решил вести философский образ жизни общиной. И хотя общность жен и не установлена среди остального населения, живущего в их области, у них самих она принята на том основании, что у них все общее. Распределение всего находится в руках должностных лиц; но так как знания, почести и наслаждения является достоянием, то никто не может ничего себе присвоить.

Они утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Отсюда возникает себялюбие… Но, когда мы отрешимся от себялюбия, у нас остается только любовь к общине […]

Все сверстники называют друг друга братьями; тех, кто старше их на двадцать два года, зовут они отцами, а тех, кто на двадцать два года моложе, - сыновьями. И должностные лица следят за тем, чтобы никто не нанес другому никакой обиды в этом братстве… У них столько же должностных лиц, сколько мы насчитываем добродетелей: есть должность, называемая Великодушие, есть именуемая Мужество, затем Целомудрие, Щедрость, Правосудие – уголовное и гражданское, Усердие, правдолюбие, Благотворительность, Любезность, Веселость, Бодрость, Воздержанность и т.д. На каждую из подобных должностей избираются те, кого еще с детства признают в школах наиболее пригодными для ее занятия. Поэтому, как нельзя среди них встретить ни разбоя, ни коварных убийств, ни насилий, ни кровосмешения, ни блуда, ни прочих преступлений, в которых обвиняем друг друга мы, - они преследуют у себя неблагодарность, злобу, отказ в должном уважении друг к другу, леность, уныние, гневливость, шутовство, ложь, которая для них ненавистнее чумы…

Мужчины и женщины у них носят почти одинаковую одежду, приспособленную к военному делу, только плащ у женщин ниже колен, а у мужчин не доходит до колен. И все они обучаются всяким наукам совместно… На восьмом году жизни, после начального обучения основам математики по рисункам на стенах, направляются они на лекции по естественным наукам… Затем они приступают к изучению более отвлеченных наук: математики, медицины и других знаний, постоянно и усердно занимаясь обсуждениями и спорами. Впоследствии все получают должности в области тех наук и ремесел, где они преуспели больше всего, - каждый по указанию своего вождя или руководителя. Они направляются на поля и пастбища наблюдать и учиться земледелию и скотоводству; и того почитают за знатнейшего и достойнейшего, кто изучил больше искусств и ремесел и кто умеет применять их с большим знанием дела… Остальных должностных лиц избирают четыре главных правителя: Метафизик, Пон, Син и Мор и руководители соответственных наук и ремесел…

Но никто, однако, не может достичь звания Метафизика, кроме того, кто знает историю всех народов, все их обычаи, религиозные обряды, законы, все республики и монархии, законодателей и изобретателей наук и ремесел и строение и историю неба. Также почитается для этого необходимым ознакомиться со всеми ремеслами… Также надо знать и науки физические, и математические, и астрологические... Но преимущественно перед всем необходимо постичь всем метафизику и богословие; познать корни, основы и доказательства всех искусств и наук; сходства и различия в вещах; необходимость, судьбу и гармонию мира, мудрость и любовь в вещах и в боге; разряды сущего и соответствия его с вещами небесными, земными и морскими и с идеалами в Боге, настолько это постижимо для сметных, а также изучить пророков и астрологию… Должность эта несменяема до тех пор, пока не найдется такого, кто окажется мудрее своего предшественника и способнее его к управлению […]

…Тот, кто занимается лишь одной какой-нибудь наукой, ни ее как следует не знает, ни других. И тот кто способен только к одной какой-либо науке, почерпнутым из книг, тот невежествен и косен. Но это не случается с умами гибкими, восприимчивыми ко всякого рода занятиям и способным от природы к постижению вещей, каковым необходимо и должен быть наш Метафизик […]

В Городе солнца, где обязанности, художества, труды и работы распределяются между всеми, каждому приходится работать не больше четырех часов в день; остальное время проводится в приятных занятиях науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме, прогулках, развитие умственных и телесных способностей, и все это делается радостно...

Они утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т.д., а богатство – надменными, гордыми, невежами, изменниками, рассуждающими о том, чего они не знают, обманщиками, хвастунами, черствыми, обидчиками и т.д. Тогда как община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми – потому что у них есть все, бедными – потому что у них нет ни какой собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им. И поэтому они всячески восхваляют благочестивых христиан и особенно превозносят апостолов […]

Смерти они совершенно не боятся, так как верят в бессмертие души и считают, что души, выходя из тела, присоединяются к добрым или злым духам сообразно своему во время земной жизни. Хотя они и примыкают к брахманам и пифагорейцам, не признают переселения душ, за исключением только отдельных случаев по воле Бога. И они беспощадно преследуют врагов государства и религии как недостойных почитаться за людей […]

Они утверждают, что мир придет к тому, что будет жить согласно их обычаям, и поэтому постоянно допытываются, нет ли где-нибудь другого народа, который бы вел жизнь более похвальную и достойную […] Законы их немногочисленны, кратки и ясны. Они вырезают все на медной доске у дверей храма, то есть под колоннадой; и на отдельных колоннах можно видеть определение вещей в метафизическом чрезвычайно сжатом стиле; именно: что такое Бог, что такое ангел, мир, звезда, рок, доблесть и т.д. Все это определено очень тонко. Там же начертаны определения всех добродетелей […]

Памятники в честь кого-нибудь ставят лишь после его смерти. Однако еще при жизни заносятся в книгу героев все те, кто изобрел или открыл что-нибудь полезное или же оказал крупную услугу государству либо в мирном, либо в военном деле […]

Они признают, что чрезвычайно трудно решить, создан ли мир из нечего, из развалин ли иных миров или из хаоса, но считают не только вероятными, а, напротив, даже несомненным, что он создан, а не существовал от века. Поэтому и здесь, как и во многом другом, ненавидят они Аристотеля, которого называют логиком, а не философом, и извлекают множество доказательств против вечности мира на основании аномалий. Солнце и звезды они почитают как живые существа, как изваяния Бога, как храмы и живые небесные алтари, но не покланяются им. Наибольшим же почетом пользуется у них Солнце […]

Они признают два физических начала всех земных вещей: Солнце – отца и Землю – мать... Мир – это огромное живое существо, а мы живем в его чреве, подобно червям, живущим в нашем чреве. И мы не зависим от промысла звезд, солнца и земли, лишь от промысла божья, ибо в отношении к ним, не имеющим иного устремления, кроме своего умножения, мы родились и живем случайно, в отношении же к Богу, которого они являются орудиями, мы в его предвидении и распорядке созданы и предопределенны к великой цели… Они неотложно веруют в бессмертие душ, которые после смерти присоединяют к сонму добрых или злых ангелов в зависимости от того, каким из них уподобились в делах своей земной жизни, ибо все устремляются к себе подобному […]

Относительно существования иных миров за пределами нашего они находятся в сомнении, но считают безумием утверждать, что вне его ничего не существует, ибо, говорят, небытия нет ни в мире, ни за его пределами, и с богом, как с существом бесконечным, никакое небытие несовместимо […]

*(Т.Кампанелла. Город Солнца. –М.,1954)*

###### тема 5. философия нового времени

РЕНЕ ДЕКАРТ (1596–1650), французский философ, математик и естествоиспытатель, более других ответственный за идеи и методы, отделяющие эпоху Нового времени от Cредневековья. Его целью было описание природы при помощи математических законов. Основные идеи философа намечены в первой опубликованной работе – «Рассуждение о методе», где Декарт предложил метод, который, как он утверждал, позволяет решить любую проблему с помощью человеческого разума и имеющихся в наличии фактов. Чувственный опыт не способен дать достоверное знание, так как мы часто сталкиваемся с иллюзиями и галлюцинациями, а мир, воспринимаемый нами с помощью чувств, может оказаться сном. Не являются достоверными и наши рассуждения, ибо мы не свободны от ошибок; кроме того, рассуждение есть выведение заключений из посылок, и до тех пор, пока у нас нет достоверных посылок, мы не можем рассчитывать на достоверность заключений.

*Декарт первым предложил использовать скептицизм в качестве метода исследования. После Декарта среди философов, ученых и историков получило распространение настороженное отношение к недостаточно обоснованным идеям, какой бы источник они ни имели: традицию, авторитет или личные особенности высказывающего их человека.*

Но методологический скептицизм, образует только первую ступень. Вторая ступень его философии - достоверность знания. Достоверность Декарт обнаруживает только в знании о своем собственном существовании: cogito, ergo sum («мыслю, следовательно, существую»). Поскольку мы получили эту истину не с помощью чувств или дедукции из других истин, то должен существовать некий метод, который позволил нам ее получить. Это, заявляет Декарт, метод ясных и отчетливых идей (теория «врожденных идей»). Материя существует, поскольку наши идеи о ней являются ясными и отчетливыми. Материя протяженна, занимает место в пространстве, движется или перемещается, в этом пространстве. Это существенные свойства материи, все другие ее свойства вторичны. Подобно этому, сущностью разума является мышление, а не протяженность, поэтому разум и материя совершенно различны. Следовательно, Вселенная дуалистична, т.е. состоит из двух не похожих друг на друга субстанций: духовной и телесной.

*Картезианство оказало значительное влияние на развитие науки, однако в то же время породило разрыв между физической наукой и психологией, который не преодолен до настоящего времени.*

*РАССУЖДЕНИЕ*

*о методе для руководства разума*

*и отыскания истины в науках*

Если это рассуждение покажется слишком длинным, для того чтобы прочесть его сразу, то его можно раз­делить на шесть частей. В первой можно найти раз­личные соображения относительно наук; во второй — главные правила метода, который автор искал; в тре­тьей — некоторые правила морали, которые он извлек из этого метода; в четвертой — основания, которыми он доказывает существование Бога и человеческой ду­ши, составляющие основу метафизики; в пятой — по­рядок физических вопросов, которые он доследовал, и в частности объяснение движений сердца и некоторых иных затруднений, относящихся к медицине; затем так­же различие, существующее между нашей душой и ду­шой животных; и в последней — указание того, что требуется, по мнению автора, для того, чтобы подви­нуться дальше его в исследовании природы, а также те побуждения, которые заставили его писать об этом.

***Первая часть*.** *СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАУК*

Здравый смысл есть вещь, наиболее распростра­ненная в мире, так как всякий считает себя настолько здравомыслящим, что даже те, которые наиболее тре­бовательны к себе в других отношениях, обыкновенно не желают иметь его больше. В этом отношении невероятно, чтобы все заблуждались, это скорее свиде­тельствует, что способность правильно судить и раз­личать истину от заблуждения, которая, собственно, составляет то, что принято называть здравым смыслом или разумом, по природе одинакова у всех людей. Таким образом, различие наших мнений происходит не оттого, что одни разумнее других, но оттого, что мы направляем наши мысли по различным путям и рассматриваем не те же самые вещи. Ибо недостаточно иметь здравый смысл, главное — хорошо приме­нять его. Самые великие души способны как к наи­большим порокам, так и к наибольшим добродетелям; и те, которые идут лишь очень медленно, могут под­вигаться скорее, если они следуют прямым путем, чем те, которые спешат и уклоняются от него.

Что касается меня, я никогда не считал мой ум чем-либо совершеннее обыкновенного. Часто я даже желал иметь такую быструю мысль, такое ясное и отчетливое воображение или такую обширную и жи­вую память, как у некоторых других. Я не знаю иных качеств, кроме тех, которые служат для совершенст­ва ума, ибо что касается разума или осмысленности, то, поскольку это единственная вещь, делающая нас людьми и отличающая нас от животных, я хочу верить, что он целиком заключается в каждом, и хочу следо­вать в этом отношении общему мнению философов, которые говорят, что различие существует лишь между случайными качествами, а не формами (в латинском переводе: formas substantionales — субстанцио­нальные формы) или природами индивидов того же рода.

Но я не боюсь сказать, что, по моему мнению, я имел счастье с юности попасть на некоторые пути, которые привели меня к соображениям и правилам. Из них я образовал метод, посредством которого я могу, как мне кажется, постепенно увеличивать мои знания и довести их мало-помалу до высшей степени, до коей дозволяет ему достигнуть слабость моего ума и краткость моей жизни. Помощью этого метода я уже собрал многие плоды, несмотря на то, что в суж­дении о самом себе стараюсь склоняться более к не­доверию, чем к самомнению. Рассматривая взором фи­лософа различные деяния и предприятия людей, я не могу найти почти ни одного, которое не казалось бы мне суетным и бесполезным. Поэтому я испыты­ваю высокое удовлетворение по поводу успехов, какие я, по моему мнению, уже сделал в отыскании истины, и имею такие надежды на будущее, что, если сре­ди людских занятий как таковых существует хорошее и важное, то смею думать — именно то, которое я избрал.

Однако, возможно, что я ошибаюсь и, может быть, принимаю за золото и алмазы только немного меди и стекла. Я знаю, как мы подвержены заблуждениям в том, что касается нас, и как подозрительно должны мы относиться к суждениям наших друзей, когда они высказываются в нашу пользу. Но я буду рад показать в этом рассуждении, каковы пути, которым я следо­вал, и изобразить мою жизнь, как в картине (в латинском тексте имеется больше: ipse post tabulam delitescens — скрываясь сам за картиной), чтобы всякий мог о ней составить суждение. Из общей мол­вы я узнаю мнения, составленные о ней, и таким об­разом обрету новое средство обучения, которое я при­бавлю к тем, какими я обыкновенно пользуюсь.

Таким образом, мое намерение здесь состоит не в указании метода, которому каждый должен следовать, чтобы правильно руководить своим разумом, но только в том, чтобы показать, каким образом я сам старался руководить собственным разумом. Те, которые реша­ются давать правила, должны считать себя умнее тех, коим они их дают; и, если они ошибаются в малейшей вещи, они достойны порицания. Но, предлагая это со­чинение лишь как историю или, если хотите, как вы­мысел, где среди примеров, коим можно подражать, найдутся, может быть, несколько, которым можно с основанием не следовать, я надеюсь, что оно будет полезно некоторым, не повредив никому, и все будут мне благодарны за мою искренность.

Меня с детства обучали наукам, и так как меня уверяли, что с их помощью можно приобрести ясное и надежное знание полезного в жизни, то я имел сильное желание изучать их. Но как только я окончил курс наук, после которого люди обыкновенно прини­маются в ряды ученых, я совершенно переменил мне­ние, ибо почувствовал себя запутавшимся в стольких сомнениях и заблуждениях, что из моего учения, ка­залось, не извлек другой пользы, кроме той, что бо­лее и более убеждался в своем невежестве. А между тем я учился в одной из наиболее славных школ Ев­ропы и думал, что если существуют где-либо на земле ученые люди, то они должны находиться там. Я изучал там все, что изучали другие, и, даже не доволь­ствуясь науками, какие нам преподавали, я прочел все попавшие в мои руки книги, трактовавшие о вещах наиболее интересных и редких. Вместе с тем я знал суждение других людей обо мне и не замечал, чтобы меня считали ниже моих товарищей, хотя между ни­ми некоторые предназначались к занятию мест наших учителей. Наконец, наш век казался мне не менее цветущим и плодовитым высокими умами, чем какой-либо из предыдущих. Это давало мне право судить по себе о всех других и думать, что такой науки, какой меня прежде обнадеживали, нет в мире.

Все же я не переставал ценить занятия, которые ведутся в школах. Я знал, что языки, изучаемые там, необходимы для понимания сочинений древних; что прелесть мифов пробуждает ум; что памятные истори­ческие деяния его возвышают, а разумное чтение древ­них авторов содействует образованию суждения; что чтение всех хороших книг представляет как бы беседу с авторами их — лучшими людьми прошлых веков, — ученую беседу, в которой они открывают нам лучшие свои мысли; что красноречие обладает несравненной силой и красотой; что поэзия имеет свои тонкости и восхитительные прелести; что математика содержит искуснейшие изобретения, способные служить как для удовлетворения любознательности, так и для облегче­ния искусств и сокращения труда людей; что сочине­ния о нравственности содержат много весьма полезных наставлений и увещаний, склоняющих к добродетели; что теология учит, как удостоиться Неба; что фило­софия дает средства говорить правдоподобно обо всем и внушать удивление менее сведущим; что юриспру­денция, медицина и другие науки приносят почести и богатства тем, которые ими занимаются, и что, нако­нец, полезно изучить все науки, даже наиболее лож­ные и полные суеверий, чтобы знать их истинную цену и остерегаться обмана.

Но я полагал, что посвятил уже довольно времени языкам, а также чтению книг древних с их историями и вымыслами. Беседовать с писателями других веков то же, что путешествовать. Полезно в известной мере познакомиться с нравами других народов, для того чтобы более здраво судить о наших собственных и не считать все несогласное с нашими модами смешным и противным разуму, как это обычно делают люди, ни­чего не видавшие. Но посвящающие слишком мно­го времени путешествиям становятся чуждыми своей стране, а слишком интересующиеся делами прошлых веков остаются обыкновенно несведущими в делах сво­его века. Кроме того, вымыслы заставляют считать возможными такие события, которые на самом деле невозможны (в латинском переводе имеется больше: irritantque nos hoc pacto vel ad ea suscipienda, quae supra vires, vel ad ea spreranda, quae supra sortem nostram sunt — и таким образом побуждают нас к предпри­ятиям свыше наших сил или к надеждам выше нашего положения). И даже в наиболее правдивых повест­вованиях авторы, в случаях, если они не изменяют и не преувеличивают значения событий, чтобы сделать их более привлекательными для чтения, все-таки почти всегда опускают более низкие и менее славные обсто­ятельства. Отсюда происходит, что и остальное не кажется таким, каким было. А потому те, которые руководствуются в своем поведении подобными при­мерами (извлеченными из них), легко впадают в чу­дачества рыцарей наших романов и замышляют затеи, превосходящие их силы.

Я высоко уважал красноречие и был влюблен в поэзию, но я думал, что то и другое скорее дарования ума, чем плоды учения. Те, которые обладают лучшим рассудком и вполне правильно располагают свои мыс­ли, так что они становятся ясными и понятными, могут всегда наилучшим образом убедить в том, что они предлагают, хотя бы они и говорили на нижнебретон­ском наречии и никогда не изучали риторики. Точно так же те, которые одарены наиболее занимательной фантазией и умеют выражаться красочно и нежно, являются лучшими поэтами, хотя бы искусство поэзии им и было незнакомо.

Я особенно интересовался математикой вследствие достоверности и очевидности ее рассуждений; но я не понимал еще ее истинного применения, и, думая, что она применяется только в механических искусствах, я удивлялся, что на таком твердом и прочном основании не построили ничего более возвышенного. Напротив, я сравнивал сочинения древних язычников о нравст­венности с гордыми и великолепными дворцами, по­строенными на песке и грязи. Они высоко превозносят добродетели и показывают их преимущество над всеми вещами в мире, но недостаточно учат, как их узнать, и часто то, что они называют таким прекрасным име­нем, оказывается не чем иным, как бесчувственностью или гордостью, отчаянием или отцеубийством.

Я почитал нашу теологию и надеялся не менее дру­гих удостоиться Неба. Но, узнав как вполне достовер­ную вещь, что путь к нему открыт невеждам так же, как и ученым, и что откровенные истины, ведущие к нему, выше нашего разумения, я не осмелился подвер­гать их слабости моего рассуждения и думал, что для их успешного исследования нужно получить некоторое сверхъестественное содействие и быть более чем че­ловеком.

О философии скажу лишь следующее. Я вижу, как она разрабатывалась в течение многих веков пре­восходнейшими умами и тем не менее не имеет ни одного пункта, который не вызывал бы споров и, следовательно, не был бы сомнительным; поэтому я не нашел в себе такого самомнения, чтобы надеяться достигнуть больших успехов, чем другие. Я принял во внимание, сколько различных мнений об одном пред­мете могут защищать ученые люди — между тем как истинным может быть только одно, — и стал поэтому считать ложным почти все, что представлялось мне лишь правдоподобным.

Что касается далее других наук, то, поскольку они заимствуют свои принципы из философии, я полагал, что нельзя построить ничего прочного на столь шатких основаниях. Почести и выгоды, обещаемые ими, не возбуждали вполне достаточного желания посвятить себя их изучению. Благодаря Богу я не находился в таком положении, которое заставляло бы меня обра­щать науку в ремесло для обеспечения своего благо­состояния. Я, правда, не считал, подобно циникам, своей обязанностью презирать славу, но все же я мало дорожил той, которую мог бы приобрести неправым путем (в латинском переводе больше: hoc est ob scientiarum non verarum cognitionem — то есть благодаря знакомству с ложными науками). Что касается, наконец, ложных учений, то я достаточно знал им цену, чтобы не быть обманутым ни обещаниями алхимика, ни предсказаниями астроло­га, ни проделками мага, ни ухищрениями или хвастов­ством кого-либо из людей, выдающих себя за знатоков того, чего на самом деле не знают.

Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения наставникам, я совершенно покинул изу­чение наук и решился не искать иной науки, кроме той, которую мог бы обрести и в себе самом, и в великой книге мира. Я употребил остаток своей юности на то, чтобы путешествовать, наблюдать дворы и армии, по­сещать людей различных характеров и положений, со­бирать разнообразный опыт, испытать самого себя в приключениях, которые судьба мне посылала, и раз­мышлять повсюду над встречающимися предметами, для того чтобы извлечь из этого какую-либо пользу. Ибо мне казалось, что я мог встретить гораздо боль­ше истины в рассуждениях, которые каждый делает о делах, непосредственно его касающихся, и результат которых, в случае ошибки, немедленно должен его на­казать, чем в кабинетных рассуждениях ученого по по­воду бесполезных спекуляций, имеющих лишь одно по­следствие: он станет тем более тщеславен, чем удален­нее его рассуждение от здравого смысла, так как в этом случае он должен был употребить тем больше ума и искусства, чтобы сделать их правдоподобными. Я же имел всегда сильное желание выучиться различать ис­тину от заблуждения, чтобы ясно видеть свои действия и идти с уверенностью в этой жизни.

Правда, пока я занимался только наблюдением нра­вов других людей, я не находил в них ничего, на что мог бы опереться, и замечал в них почти столько же разнообразия, сколько прежде видел в мнениях фило­софов. Самое важное приобретение, которое я сделал, состояло в следующем: я видел, как многое кажущееся нам весьма необычайным и смешным, является обще­принятым и одобряемым среди других великих наро­дов, — и научился не особенно доверять всему тому, что было мне внушено только примером и обычаем. Таким образом, я мало-помалу освободился от мно­гих заблуждений, которые могут помрачить наш есте­ственный свет и сделать нас менее способными при­слушиваться к голосу разума. Но после того как я употребил несколько лет на такое изучение книги ми­ра и приобретение некоторого запаса опыта, я при­нял однажды решение предаться изучению своего соб­ственного «я» и употребил все силы ума на отыскание пути, которым должен следовать; это, кажется, мне удалось сейчас гораздо лучше, чем если бы я никогда не удалялся из моей страны и от моих книг.

***Вторая часть****. ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА МЕТОДА*

Я жил тогда в Германии, куда привели меня воен­ные события, доныне там еще не оконченные. Когда я возвращался с коронации императора в армию, на­ступившая зима задержала меня на квартире. Не на­ходя там никакой развлекающей беседы и не тревожимый, к счастью, никакими заботами, ни страстями, я оставался целый день дома один, у очага, и имел полный досуг предаваться своим мыслям. Между ними одной из первых было соображение, что часто в про­изведениях, состоящих из многих частей и созданных руками разных мастеров, нет такого совершенства, как в творениях, созданных одним человеком. Так, здания, начатые и оконченные одним архитектором, обыкно­венно красивее и лучше устроены, чем те, которые исправлялись многими и где притом были использова­ны старые стены, построенные для иных целей. Точ­но так же старые города, бывшие вначале деревнями и ставшие с течением времени большими поселениями, почти всегда плохо распланированы в сравнении с правильными площадями, расположенными на равнине по идее одного инженера. Рассматривая здания старых городов, каждое в отдельности, можно часто обнару­жить в них больше искусства, чем в зданиях других городов; однако, видя, как они расположены — то большое, то маленькое — и как они придают улицам искривленную и неровную форму, можно думать, что их скорее расположила так судьба, чем воля людей, обладающих разумом. А если иметь в виду, что во все времена существовали должностные лица, наблюдав­шие за тем, чтобы частные здания служили общему украшению, то станет понятным, как нелегко, работая над чужими произведениями, достигнуть совершенст­ва. Точно так же я думал, что народы, бывшие не­когда полудикими и приобщавшиеся к цивилизации лишь постепенно, а также создававшие свои законы по мере того, как вред преступлений и ссор их к тому принуждал, не могут быть так хорошо управляемы, как те, которые с самого начала возникновения обще­ства соблюдали установления одного мудрого законо­дателя. Так же верно, что истинная религия, повеления которой даны Единым Богом, должна быть несравненно более благоустроена, чем какая-либо другая. Переходя к человеческим делам, я думаю, что Спарта некогда процветала не вследствие разумности каждого отдельного из ее законов, так как многие были очень странны и даже противоречили доброй нравственнос­ти, а вследствие того, что они были изданы одним человеком и все были направлены к одной цели. По­добным образом я думал, что науки, изложенные в книгах, по крайней мере те, основания которых только вероятны и не имеют никаких доказательств, сложив­шись и разросшись мало-помалу из мнений многих разных лиц, не так близки к истине, как простые рассуждения, которые может высказать один здра­вомыслящий человек относительно представляющихся ему вещей. Затем я также думал, что все мы были детьми, прежде чем стали взрослыми, и должны были долго руководствоваться нашими влечениями и настав­никами, которые часто противоречили один другому и не всегда давали нам хорошие советы. Поэтому почти невозможно, чтобы наши суждения были так чисты и прочны, каковы они были бы, если бы мы вполне обладали нашим разумом от самого нашего рождения и руководствовались бы только им.

Правда, мы не наблюдаем, чтобы люди разрушали все дома города с единственной целью перестроить их заново и сделать улицы более красивыми; но все же можно видеть, как многие ломают свои дома, чтобы их перестроить, а иногда они даже вынуждены это сделать, когда дома сами грозят падением и фундамент их недостаточно прочен. На этом примере я убедился, что отдельный человек вряд ли начал бы переустрой­ство государства в целях его восстановления с изме­нения и разрушения его основ; также мало можно таким способом преобразовать совокупность наук или порядок, установленный в школах для их изучения. Что же касается приобретенных мною до сего времени мнений, то я поступил правильнее всего, решившись однажды избавиться от них, чтобы затем заменить их лучшими или теми же, но согласованными с требова­ниями разума. Я был уверен, что этим путем мне удалось бы устроить свою жизнь гораздо лучше, чем если бы я строил ее на старых основаниях и опирался только на те принципы, которые я воспринял в юнос­ти, не разбирая никогда, истинны ли они. Хотя я и предвидел разные затруднения, они все же не были неустранимы и их нельзя было сравнить с теми, ко­торые встречаются при малейшей государственной ре­форме. Большие государственные тела слишком труд­но восстановить после разрушения и удержать, когда они колеблются; их падение сокрушительно. Их несо­вершенства, если такие существуют — а самые раз­личия между ними достаточно подтверждают это, — смягчены, без сомнения, привычкой. Последняя позво­лила нечувствительно устранить и исправить многое, чему бы не могло помочь никакое благоразумие. На­конец, их несовершенства почти всегда легче пере­носимы (в латинском переводе больше: ab assuetis populis – для народов, привыкших к тому), чем их перемены. Так, большие дороги, из­вивающиеся среди гор, становятся мало-помалу из-за частой езды настолько гладкими и удобными, что гораздо лучше следовать по ним, чем ехать более прямым путем, взбираясь на скалы и спускаясь в пропасти.

Вот почему я никак не могу одобрить тех занос­чивых и беспокойных людей, которые, не будучи при­званы ни по рождению, ни по состоянию к управлению общественными делами, все же продолжают строить в уме планы новых преобразований. Если бы я думал, что в этом сочинении есть малейшее основание подо­зревать меня в таком безумии, то был бы очень смущен его опубликованием. Мое намерение никогда не простиралось дальше попытки переделать собственные мысли и строить на основании, вполне принадлежащем мне. Из того, что моя работа мне настолько понрави­лась, что я показываю здесь ее образец, не следует, чтобы я хотел посоветовать кому-либо подражать ей. Те, которых Бог одарил своими милостями больше меня, составят, может быть, более возвышенные пла­ны; но я очень опасаюсь, чтобы мой план не казался уж слишком смелым для многих. Само решение отде­латься от всех мнений, принятых ранее на веру, не является примером, которому всякий должен следо­вать. Мир состоит только из двух сортов умов, из которых мой план не подходит ни одному. Во-первых, из тех, которые считают себя умнее, чем они есть на самом деле. Эти не могут воздержаться от поспешных суждений и не имеют достаточно терпения, чтобы вести свои мысли по порядку; отсюда происходит, что если они однажды приняли решение усомниться в вос­принятых принципах и отступить от привычного пути, то уже никогда не могут держаться стези, ведущей прямо, и блуждают в продолжении всей жизни. Во-вторых, из тех, которые достаточно разумны и скром­ны, чтобы считать себя менее способными различать истину от лжи, чем другие, у которых они могут поучиться. Эти должны, скорее, следовать мнениям других и не заниматься поисками лучших.

Что касается меня, то я, конечно, был бы в числе этих последних, если бы имел только одного учителя и не знал бы существовавшего всегда различия во мнениях ученых. Но я еще в школе узнал, что нель­зя вообразить ничего столь странного и маловероят­ного, что не было бы высказано кем-либо из фило­софов. Затем я убедился во время путешествий, что люди, имеющие чувства, противоположные нашим, не являются из-за этого варварами или дикарями; из них многие владеют своим разумом так же, как мы, или даже больше. Тот же человек с тем же умом, вос­питанный с детства среди французов или немцев, ста­новится иным, чем был бы, если бы жил всегда среди китайцев или каннибалов. То же относится и к модам нашей одежды: та же вещь, которая нра­вилась нам десять лет тому назад и, может быть, опять нам понравится через десять лет, теперь кажет­ся нам странной и смешной. Очевидно, нас убежда­ет больше привычка и пример, чем надежное знание; а поэтому для истин, открываемых с малейшим тру­дом, большинство голосов является ничтожным до­казательством, так как гораздо вероятнее, что истину найдет один человек, чем целый народ. Таким обра­зом, я не мог найти никого, чьи мнения я должен был бы предпочесть мнениям других, и я оказал­ся как бы вынужденным самому стать своим руководителем.

Но как человек, идущий один и в темноте, я ре­шился идти так медленно и с такой осторожностью, что если я мало подвинулся вперед, то, по крайней мере, был обеспечен от падения. Я даже не решился сначала отвергнуть все мнения, которые могли про­красться в число моих убеждений без проверки разу­ма, пока не посвятил довольно времени на составление плана предпринятого (вместо этой фразы в латинском переводе сказано: seel ut veterem domum inhabitantes, non earn ante diruunt quam novae in eius locum exstruendae exemplar fuerunt praemeditati, sic prius qua ratione certi aliquid possim invenire cogitavi; et satis multum temporis impendi in quaerenda vera methodo et cetera — но, так же как живущие в старом доме, не разрушают его, не составив план дома, который должен его заменять, я думал сначала, как найти нечто верное, и потратил много времени на отыскание истинного метода и пр.) труда и на отыскание истинного метода для достижения знания всего того, к чему мой ум способен.

Я в молодости изучал не много: из философских дисциплин — логику, а по математике — анализ гео­метров и алгебру — три искусства, или науки, кото­рые, по-видимому, должны были способствовать мо­ей цели. Но, изучая их, я заметил, что в логике ее силлогизмы и большинство других ее правил служат больше объяснению другим того, что нам известно, или, как в искусстве Луллия, к тому, чтобы говорить без смысла (латинский перевод прибавляет: et copiose – и очень пространно) о неизвестных вещах, вместо того чтобы познавать их. Правда, логика действительно содержит много очень верных и хороших правил, однако к ним приметано столько вредных и лишних, что разделить их почти так же трудно, как создать Диану или Ми­нерву из куска неотесанного мрамора. Что касается анализа древних и алгебры современников, то, кроме того что они относятся к вопросам, весьма отвлечен­ным и, видимо, бесполезным, первый всегда так ог­раничен рассмотрением фигур, что не может упраж­нять мысли, не утомляя сильно воображения; а послед­няя так загромождена разными правилами и знаками, что она превратилась в смутное и темное искусство, затрудняющее наш ум, а не в науку, которая его развивает. По этой причине следовало, по моему мне­нию, искать другого метода, который представлял бы преимущества этих трех и был бы свободен от их недостатков. Подобно тому как обилие законов до­ставляет иногда повод к оправданию пороков и госу­дарство гораздо лучше управляется, когда законов не­много, но их строго соблюдают, так вместо большого числа правил, составляющих логику, я думаю, было бы достаточно четырех следующих, лишь бы я только принял твердое решение соблюдать их без отступ­ления.

П е р в о е п р а в и л о: считать истинным лишь то, что с очевидностью познается мною таковым, то есть тщательно избегать поспешности и предубеждения и принимать в свои суждения только то, что представ­ляется моему уму так ясно и отчетливо, что ни в коем случае не возбуждает во мне сомнения.

В т о р о е п р а в и л о: разделить каждое из рас­сматриваемых мною затруднений на столько частей, на сколько возможно и сколько требуется для лучшего их разрешения.

Т р е т ь е п р а в и л о: мыслить по порядку, начи­ная с предметов наиболее простых и легко познавае­мых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые не следуют естест­венно друг за другом.

П о с л е д н е е п р а в и л о: составлять повсюду на­столько полные перечни и такие общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не пропустил.

Те длинные цепи простых и легких рассуждений, которыми обычно пользуются геометры, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне случай представить себе, что все вещи, способные стать предметом знания людей, стоят между собою в такой же последовательности. Если, таким образом, остере­гаться принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и соблюдать всегда порядок, в каком следует выводить одно из другого, то нет таких отдаленных вещей, которых нельзя было бы достигнуть, и таких сокровенных, которых нельзя было бы открыть. Мне не стоило большого труда отыскание того, с чего сле­довало начать, так как я знал, что начинать надо с наиболее простого и легко познаваемого. Я сообразил, что среди всех искавших истину в науках только мате­матикам удалось найти некоторые доказательства, то есть некоторые точные и очевидные основания, и не сомневался поэтому, что и мне следовало начать с тех же истин, какие они исследовали. Правда, я не ожидал от этого другой пользы, кроме той, что они приучают мой ум питаться истинами и не довольствоваться лож­ными доводами. Я не задался, однако, целью изучить все те отдельные науки, которые обыкновенно называ­ют математикой. Я видел, что, хотя их предметы раз­личны, тем не менее они все согласуются между собою в том, что исследуют только различные, встречающиеся в них отношения или пропорции, поэтому я думал, что лучше исследовать одни только эти отношения и искать их только в предметах, которые помогли бы мне облег­чить их познание, нисколько их, однако, не стесняя этими предметами, чтобы тем легче применять их потом ко всем другим, к которым они подходят. Затем я за­метил, что для познания их мне придется рассматривать каждую пропорцию в отдельности и лишь иногда удер­живать их в памяти или обнимать сразу несколько. Тогда я подумал, что для лучшего исследования их в частностях нужно предположить их в виде линий, так как не находил ничего более простого или такого, что мог бы более отчетливо представить своему воображе­нию и чувствам. Однако, для того чтобы удержать их в памяти или сосредоточить одновременно внимание на нескольких, надо было выразить их в некоторых, возможно более кратких, знаках. Таким путем я мог за­имствовать все лучшее из геометрического анализа и алгебры и исправить все недостатки одного с помощью другой. Смею действительно сказать, что точное со­блюдение немногих избранных мною правил облегчило мне разрешение всех вопросов, которыми занимаются эти две науки. Начав с наиболее простых и общих и пользуясь каждой находимой истиной как правилом для нахождения новых, я через два или три месяца изучения не только справился со многими вопросами, казавши­мися мне прежде трудными, но наконец стал считать себя способным определить, какими средствами и на­сколько возможно разрешить даже неизвестные вопро­сы. В этом я, быть может, не покажусь вам слишком самоуверенным, в особенности если вы примете во вни­мание, что о каждой вещи существует лишь одна ис­тина и кто нашел ее, знает о ней все, что можно знать. Так, например, ребенок, учившийся арифметике, сде­лав правильно сложение, может быть уверен, что нашел относительно искомой суммы все, что ум человеческий может найти. Ибо метод, который учит следовать ис­тинному порядку и точно перечислять все обстоятель­ства того, что ищут, содержит все, что сообщает до­стоверность правилам арифметики.

Больше всего меня удовлетворяла в этом методе уверенность в том, что с его помощью я во всем пользовался собственным умом если не в совершенст­ве, то, по крайней мере, насколько мог лучше. Кроме того, я чувствовал, пользуясь им, что мой ум мало-помалу приучался понимать предметы яснее и отчет­ливее, и, хотя я свой метод не применил еще ни в одном частном вопросе, я все же надеялся пользовать­ся им так же удачно, как в алгебре и других науках (вариант латинского перевода: in geometricis vel algebraicis — в геометрии или в алгебре).

Это не значит, что при решении трудных проблем я решил немедленно приняться за пересмотр всех представившихся мне наук, так как это противоречи­ло бы порядку, который предписывается методом. Но так как принципы наук должны быть заимствова­ны из философии, в которой я до сего времени не находил ни одного истинного, то полагал, что дол­жен был прежде всего попытаться установить тако­вые. А так как это является наиболее важным де­лом в мире, где поспешность или преждевременность опаснее всего, то я не должен был поспешить с окон­чанием этого дела до того времени, пока не достиг возраста более зрелого, чем двадцать три года, кото­рые я имел тогда от роду, и подождать, пока я не употребил много времени на подготовительную рабо­ту, искореняя в своем уме все дурные мнения, приня­тые мною ранее, накопляя запас опытов, который мог бы потом послужить материалом для моих размышле­ний, и упражняясь постепенно в принятом мною ме­тоде, для того чтобы все более и более утверждаться в нем. […]

*(Декарт Р. Рассуждение о методе //Декарт Р. Разыскание истины /Пер.А.Гутермана, М.Позднева, Н.Сретенского, Г.Тынянского. –СПб.,2000. С.63-128)*

*Фрэнсис Бэкон (1561-1626), барон Веруламский, - английский государственный деятель и философ, первый и величайший исследователь природы в Новое время, основатель английского эмпиризма.*

*Возвыше­ние Бэкона как придворного политика наступило при дворе Якова I Стюарта. Годы придворной службы позволили Бэкону, рано почувствовавшему вкус к философии, в частности философии науки, морали, права, написать и выпустить в свет со­чинения, впоследствии прославившие его как выдающегося мысли­теля, родоначальника философии Нового времени.*

*1620 г. ознаменован выходом в свет «Нового органона», задуманного как вторая часть труда «Великое восстановление наук». В 1623 г. выходит в свет обширное произведение «О досто­инстве и приумножении наук» — первая часть «Великого восста­новления наук». Бэкон пробует перо и в жанре модной в XVII в. философской утопии — он пишет «Новую Атлантиду». Среди других сочинений выдающегося английского мыслителя следует упомянуть также «Мысли и наблюдения», «О мудрости древних», «О небе», «О причинах и началах», «История ветров», «История жизни и смерти», «История Генриха VII» и др.*

*Фрэнсис Бэкон утверждал новую ценность науки, полагая, что знания должны приносить практическую пользу и служить повседневной деятельности, улучшая жизнь людей. Выступал против ходячих предрассудков относительно науки, чтобы сообщить научному исследованию высокий статус. Именно с Бэкона начинается смена ориентации в европей­ской культуре. Наука из подозрительного и праздного в глазах многих людей времяпрепровождения постепенно становится важ­нейшей, престижной областью человеческой культуры. Важнейшую задачу науки Бэкон видел в покорении природы. Единственно правильным методом познания он считал индукцию, которая ведет к познанию законов; от них можно снова спуститься к опыту, прийти к изобретениям, которые укрепляют власть человека над природой.*

**Новый Органон**

***Афоризмы об истолковании природы и царстве человека***

Человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько постиг в ее порядке делом или размышлением, и свыше этого он не знает и не может…

Знание и могущество человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие. Природа побеждается только подчинением ей, и то, что в созерцании представляется причиной, в действии представляется правилам…

Даже тем, что уж открыто, люди обязаны больше случаю и опыту, чем наукам. Науки же, коими мы теперь обладаем, суть не что иное, как некое сочетание уже известного, а не способы открытия и указания новых дел…

Тонкость природы во много раз превосходит тонкость чувств и разума, так что все эти прекрасные созерцания, размышления, толкования – бессмысленная вещь; только нет того, кто бы это видел…

Логика, которой теперь пользуются, скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих свое основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины. Поэтому она более вредна, чем полезна...

Силлогизмы состоят из предложений, предложения из слов, а слова суть знаки понятий; поэтому если сами понятия, составляя основу всего, спутаны и необдуманно отвлечены от вещей, то нет ничего прочного в том, что построено на них. Поэтому единственная надежда – в истинной индукции.

Ни в логике, ни в физике в понятиях нет ничего здравого. «Субстанция», «качество», «действие», «страдание», даже «бытие» не являются хорошими понятиями. Еще менее того – понятия: «тяжелое», «легкое», «густое», «разреженное», «влажное», «сухое», «порождение», «разложение», «притяжение», «отталкивание», «элемент», «материя», «форма» и прочие такого же рода. Все они вымышлены и плохо определены.

Понятия низших видов – «человек», «собака», «голубь» – и непосредственных восприятий чувства – «жар», «холод», «белое», «черное» – не обманывают нас явно, но и они иногда становятся смутными из-за текучести материи и смешения вещей. Остальные же понятия, которыми люди до сих пор пользуются, суть уклонения, должным методом не отвлеченные от вещей и не выведенные из них…

То, что до сих пор открыто науками, почти целиком относится к области обычных понятий. Для того чтобы проникнуть в глубь и в даль природы, необходимо более верным и осторожным путем отвлекать от вещей как понятия, так и аксиомы, и вообще необходима лучшая и более надежная работа разума.

Два пути существуют и могут существовать для отыскания и открытия истины. Один воспаряет от ощущений и частностей к наиболее общим аксиомам и, идя от этих оснований и их непоколебимой истинности, обсуждает и открывает средние аксиомы. Этим путем и пользуются ныне. Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и частностей, поднимаясь непрерывно и постепенно, пока наконец не приходит к наиболее общим аксиомам. Это путь истинный, но не испытанный...

Оба эти пути исходят из ощущений и частностей и завершаются в высших общностях. Но различие их неизмеримо. Ибо один лишь бегло касается опыта и частностей, другой надлежащим образом задерживается на них. Один сразу же устанавливает некие общности, абстрактные и бесполезные, другой постепенно поднимается к тому, что действительно более сообразно природе…

Никоим образом не может быть, чтобы аксиомы, установленные рассуждением, имели силу для открытия новых дел, ибо тонкость природы во много раз превосходит тонкость рассуждений. Но аксиомы, отвлеченные должным образом из частностей, в свою очередь, легко указывают и определяют новые частности и таким путем делают науки действенными.

Аксиомы, которыми ныне пользуются, проистекают из скудного и простого опыта и немногих частностей, которые обычно встречаются, и почти соответствуют этим фактам и их объему. Поэтому нечего удивляться, если эти аксиомы не ведут к новым частностям.

Познание, которое мы обычно применяем в изучении природы, мы будем для целей обучения называть *предвосхищением природы*, потому что оно поспешно и незрело. Познание же, которое должным образом извлекаем из вещей, мы будем называть *истолкованием природы*…

Рассуждения тех, кто проповедовал акаталепсию, и наш путь в истоках своих некоторым образом соответствуют друг другу. Однако в завершении они бесконечно расходятся и противополагаются одно другому. Те просто утверждают, что ничто не может быть познано. Мы же утверждаем, что в природе тем путем, которым ныне пользуются, немногое может быть познано. Те в дальнейшем рушат достоверность разума и чувств, мы же отыскиваем и доставляем им средства помощи...

Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовем первый вид *идолами рода*, второй – *идолами пещеры*, третий – *идолами площади* и четвертый – *идолами театра*...

*Идолы рода* находят основание в самой природе человека […] ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде...

*Идолы пещеры* суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом, или общем, мире…

Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, *идолами площади*. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям…

Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем *идолами театра*, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры [...] При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности…

Человеческий разум не сухой свет, его окропляют воля и страсти, а это порождает в науке желательное каждому. Человек скорее верит в истинность того, что предпочитает [...] Бесконечным числом способов, иногда незаметных, страсти пятнают и портят разум.

Но в наибольшей степени запутанность и заблуждения человеческого ума происходят от косности, несоответствия и обмана чувств, ибо то, что возбуждает чувства, предпочитается тому, что сразу чувства не возбуждает, хотя бы это последнее и было лучше. Поэтому созерцание прекращается, когда прекращается взгляд, так что наблюдение невидимых вещей оказывается недостаточным или отсутствует вовсе. Поэтому все движение духов, заключенных в осязаемых телах, остается скрытым и недоступным людям. Подобным же образом остаются скрытыми более тонкие превращения в частях твердых тел – то, что принято обычно называть изменением, тогда как это на самом деле перемещение мельчайших частиц [...] Всего вернее истолкование природы достигается посредством наблюдений и соответствующих, целесообразно поставленных опытах. Здесь чувство судит только об опыте, опыт же – о природе и о самой вещи…

…тягостнее всех - идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных для разума толпы. Когда же более острый разум и более прилежное наблюдение хотят пересмотреть эти границы, чтобы они более соответствовали природе, слова становятся помехой. Отсюда и получается, что громкие и торжественные диспуты ученых часто превращаются в споры относительно слов и имен, а благоразумнее было бы (согласно обычаю и мудрости математиков) с них и начать для того, чтобы посредством определений привести их в порядок...

Самое лучшее из всех доказательств есть опыт [...] Тот способ пользования опытом, который люди теперь применяют, слеп и неразумен. И потому, что они бродят и блуждают без всякой верной дороги и руководствуются только теми вещами, которые попадаются навстречу, они обращаются ко многому, но мало подвигаются вперед... Если даже они принимаются за опыты более вдумчиво, с большим постоянством и трудолюбием, они вкладывают свою работу в какой-либо один опыт, например Гильберт – в магнит, алхимики – в золото. Такой образ действия людей и невежествен, и беспомощен...

Бог в первый день творения создал только свет, отдав этому делу целый день и не сотворив в этот день ничего материального. Подобным же образом прежде всего должно из многообразного опыта извлекать открытие истинных причин и аксиом; и должно искать светоносных, а не плодоносных опытов. Правильно же открытые и установленные аксиомы вооружают практику не поверхностно, а глубоко и влекут за собой многочисленные ряды практических приложений...

Те, кто занимался науками, были или эмпириками или догматиками. Эмпирики, подобно муравью, только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его собственным умением. Не отличается от этого и подлинное дело философии. Ибо она не основывается только или преимущественно на силах ума и не откладывает в сознание нетронутым материал, извлекаемый из естественной истории и из механических опытов, но изменяет его и перерабатывает в разуме…

Не следует все же допускать, чтобы разум перескакивал от частностей к отдаленным и почти самым общим аксиомам (каковы так называемые начала наук и вещей) и по их непоколебимой истинности испытывал бы и устанавливал средние аксиомы. Так было до сих пор: разум склоняется к этому не только естественным побуждением, но и потому, что он уже давно приучен к этому доказательствами через силлогизм. Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по истинной лестнице, по непрерывным, а не разверстым и прерывающимся ступеням – от частностей к меньшим аксиомам и затем - к средним, одна выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низкие аксиомы немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие аксиомы (какие у нас имеются) умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. Средние же аксиомы истинны, тверды и жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы. А над ними, наконец, расположены наиболее общие аксиомы – не абстрактные, но правильно ограниченные этими средними аксиомами. Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет...

Для построения аксиом должна быть придумана иная форма индукции (наведения), чем та, которой пользовались до сих пор. Эта форма должна быть применена не только для открытия и испытания того, что называется началами, но даже и к меньшим, и средним и, наконец, ко всем аксиомам. Индукция, которая совершается путем простого перечисления, есть детская вещь, она дает шаткие заключения и подвергается опасности со стороны противоречащих частностей, вынося решения большей частью на основании меньшего, чем следует, количества фактов, и притом только тех, которые имеются налицо. Индукция же, которая будет полезна для открытия и доказательства наук и искусств, должна разделять природу посредством должных разграничений и исключений. И затем после достаточного количества отрицательных суждений она должна заключать о положительном. Это до сих пор не совершенно [...] Пользоваться же помощью этой индукции следует не только для открытия аксиом, но и для определения понятий. В указанной индукции и заключена, несомненно, наибольшая надежда…

Возразят также, что, удерживая людей от произнесения суждений и от установления определенных начал до тех пор, пока они в должном порядке не придут через средние ступени к наиболее общему, мы проповедуем какое-то воздержание от суждений и приводим дело к акаталепсии – невозможности познания. В действительности же мы думаем не об акаталепсии, а об *евкаталепсии*, ибо мы не умаляем значения чувства, а помогаем ему и не пренебрегаем разумом, а управляем им. Притом лучше знать то, что надо, и все же считать, что мы не знаем вполне, чем считать, что мы знаем вполне, и все же ничего не знать о том, что надо…

Дело и цель человеческого могущества в том, чтобы производить и сообщать данному телу новую природу или новые природы. Дело и цель человеческого знания в том, чтобы открывать форму данной природы, или истинное отличие, или производящую природу, или источник происхождения (ибо таковы имеющиеся у нас слова, более всего приближающиеся к обозначению этой цели). Этим двум первичным делам подчиняются два других дела, вторичных и низшего разряда. Первому подчиняется превращение одного конкретного тела в другое в пределах возможного; второму – открытие во всяком порождении и движении скрытого процесса, продолжающегося непрерывно от проявленного действующего начала и проявленной материи вплоть до данной формы, а также открытие другого схематизма тех тел, которые пребывают не в движении, а в состоянии покоя.

...Правильно полагают, что «истинное знание есть знание причин». Не плохо также устанавливаются четыре причины: материя, форма, действующая и конечная причины. Но из них конечная причина не только бесполезна, но даже извращает науки, если речь идет не о действиях человека. Открытие формы почитается безнадежным. А действующая причина и материя (как они отыскиваются и принимаются вне скрытого процесса, ведущего к форме) – вещи бессодержательные и поверхностные и почти ничего не дают для истинной и деятельной науки. Однако... выше мы отметили и исправили заблуждение человеческого ума, отдающего формам первенство сущности. Ибо хотя в природе не существует ничего действительного, помимо единичных тел, осуществляющих сообразно с законом отдельные чистые действия, однако в науках этот же самый закон и его разыскание, открытие и объяснение служат основанием как знанию, так и деятельности. И этот же самый закон и его разделы мы разумеем под названием форм, тем более что это название укоренилось и обычно встречается…

Знание того, кто знает причину какой-либо природы (как, например, белизны или теплоты) только в некоторых предметах, несовершенно. Равным образом несовершенно могущество того, кто может производить действие только на некоторые материи (из числа тех, что способны воспринять его). А кто знает только действующую и материальную причины (эти причины преходящи и в некоторых случаях суть не что иное, как носители внешней формы причины), тот может достигнуть новых открытий в отношении материи, до некоторой степени подобной и подготовленной, но не затронет глубже заложенных пределов вещей. Тот же, кто знает формы,– тот охватывает единство природы в несходных материях. И следовательно, он может открыть и произвести то, чего до сих пор не было, чего никогда не привели бы к осуществлению ни ход природных явлений, ни искусственные опыты, ни самый случай и что никогда не представилось бы человеческому мышлению. Поэтому за открытием форм следует истинное созерцание и свободное действие.

Из двух родов аксиом, которые установлены выше, возникает истинное деление философии и наук, причем мы придаем особый смысл общепринятым названиям (которые наиболее подходят к обозначению вещи). Таким образом, исследование форм, которые (по смыслу и по их закону) вечны и неподвижны, составляет *метафизику*, а исследование действующего начала и материи, скрытого процесса и скрытого схематизма (все это касается обычного хода природы, а не основных и вечных законов) составляет *физику*. Им и подчиняются подобным образом две практики: физике – *механика*, метафизике – *магия* (в очищенном смысле слова) вследствие ее обширных путей и большей власти над природой…

*(Бэкон Ф. Новый Органон. Афоризмы об истолковании природы и царства человека //Бэкон.Ф. Сочинения в 2 т.: -М., 1972. Т. 2)*

# НОВАЯ АТЛАНТИДА

Мы отплыли из Перу (где пробыли целый год) в Южные моря, в направлении Китая и Японии, взяв с собою припасов на двенадцать месяцев. В течение пяти с лишним месяцев дули попутные, хотя и слабые, ветры с востока; но затем ветер переменился и много дней подряд дул с запада, так что мы почти не продвигались и порой подумывали о возвращении. Вслед затем, однако, поднялся сильный ветер с юга и юго-запада, отнесший нас (несмотря на все наши усилия) к северу. К этому времени запасы наши истощились, хотя мы и расходовали их бережно. И вот, очутившись среди величайшей в мире водной пустыни, мы почли себя погибшими и стали готовиться к смерти. Однако мы все еще возносили сердца наши и мольбы ко всевышнему, творящему чудеса на водах, моля, чтобы как при сотворении мира он собрал воду воедино и явил сушу, так и теперь явил бы нам сушу и не дал погибнуть.

И вот ввечеру следующего дня показалось с севера как бы густое облако, вселившее в нас некоторую надежду на землю; ибо мы знали, что эта часть Южного моря совершенно не исследована, и тут могли оказаться острова и материки, дотоле неизвестные. Поэтому направили мы наш корабль туда, где всю ночь виднелось это подобие земли, а на рассвете ясно увидели, что это и была земля — плоская на вид и весьма лесистая, отчего казалась темнее.

Спустя полтора часа вошли мы в удобную бухту, служившую гаванью красивому городу, не слишком большому, но отлично построенному и с моря выглядевшему весьма живописно […]

Рано поутру явился к нам тот самый человек с жезлом, который посетил нас первым, и сказал, что прислан доставить нас в Дом чужестранцев, а прибыл рано затем, чтобы мы имели в нашем распоряжении весь день… Мы поблагодарили его, сказав, что бог вознаградит его за заботу о бесприютных чужестранцах. Итак, шестеро из нас сошли с ним на берег; причем он, идя впереди, обернулся и сказал, чтобы мы считали его нашим проводником и слугой. Он провел нас тремя прекрасными улицами; на всем нашем пути по обеим сторонам улицы собрался народ; но все выстроились правильными рядами и вели себя так вежливо, словно собрались не дивиться па нас, а приветствовать; некоторые при нашем приближении несколько выставляли вперед руку, что является у них знаком приветствия […]

По истечении трехдневного срока явился к нам поутру новый человек, до тех пор нами не виданный — одетый, как и прежний, в синее, только чалма на нем была белая, украшенная маленьким красным крестом, да еще пелерина из тонкого полотна. Входя, он слегка склонился и выставил руки вперед. Мы, со своей стороны, приветствовали его со смирением и покорностью, ибо ждали от него своего приговора. Он изъявил желание говорить с несколькими из нас; после чего шестеро из нас остались с ним, остальные же удалились. Пришедший сказал: «Я по должности управитель Дома чужестранцев, а по сану христианский священник, и пришел предложить вам свои услуги как чужестранцам, но прежде всего как христианам. Могу сообщить весть, которая, я уверен, будет вам приятна. Правительство разрешило вам оставаться на берегу в течение шести недель; и пусть не тревожит вас, если окажется, что вам понадобится больше; ибо закон в этом пункте не слишком строг; и я не сомневаюсь, что сам смогу испросить для вас дальнейшее продление срока. Скажу также, что Дом чужестранцев в настоящее время богат и всем обеспечен. Вот уже тридцать семь лет накапливаются его доходы, ибо за это время ни один чужестранец не появлялся в этих краях. А потому ни о чем не тревожьтесь; государство берет на себя расходы по содержанию вашему на все время вашего пребывания, так что по этой причине оно не будет сокращено ни на один день. Что касается ваших товаров, то с вами поступлено будет по справедливости и произведен расчет: либо товарами, либо золотом и серебром; ибо для нас это безразлично. А если имеете какие-либо просьбы, говорите без утайки, и увидите, что мы не огорчим вас отказом. Об одном только вас предупреждаю: никто из вас не должен отлучаться из города дальше чем на один каран (это составляет у них полторы мили) без особого на то разрешения» […]

На следующий день часов около десяти управитель явился к нам снова; после приветствий сказал дружески, что пришел навестить нас, велел подать себе стул и сел; сели и мы, человек десять (остальные были низкого звания, а некоторые отсутствовали). Когда мы уселись, он начал следующим образом: «Мы, жители острова Бенсалем (ибо так он именуется на их языке), благодаря нашему отдаленному расположению, тайне, к которой обязываем мы наших путешественников, и редкому допущению к себе чужестранцев, хорошо осведомлены о большей части обитаемых земель, сами же остаемся неизвестны… Вам надлежит знать (хотя вы и можете счесть это невероятным), что три тысячи, и более, лет назад мореплавание (особенно в отдаленные страны) было развито более, нежели сейчас. Не думайте, что мне неизвестно, какие успехи оно сделало за последние сто двадцать лет. Я знаю это отлично и, тем не менее, повторяю: более, нежели сейчас. Потому ли, что пример ковчега, спасшего остатки рода человеческого от всемирного потопа, поощрял людей вверяться волнам, или по другой причине, но так оно было. Большой флот был у финикийцев, особенно у жителей Тира, а также у их колонии, Карфагена, лежавшего еще дальше к западу. На востоке много кораблей было у Египта и Палестины. Китай и великая Атлантида (именуемая у вас Америкой), сейчас имеющие лишь джонки и пироги, в ту пору также в изобилии имели большие суда. Наш остров (как видно из достоверных летописей того времени) имел полторы тысячи прочных кораблей большого водоизмещения. Об этом у вас сохранилось мало сведений, или же вовсе никаких, нам же все это хорошо ведомо.

В то время страна наша была известна и посещалась кораблями всех названных мною стран. И нередко случалось, что с ними прибывали также люди других стран, не имевших своего флота, как-то: персы, халдеи, арабы; так что у нас побывали почти все могучие и слабые народы, от которых здесь и по сей день сохранилось несколько родов и небольших племен. Что касается собственных наших кораблей, то они, плавая повсюду, достигали и вашего пролива, называемого Геркулесовыми столбами, и других частей Атлантики и Средиземного моря, и Пекина (иначе называемого Камбалу), и Кинсаи на Восточных морях, и даже самих рубежей Восточной Татарии.

В это же время, и еще столетие спустя, процветала и великая Атлантида. И хотя повесть о ней, написанная одним из ваших великих людей, — который назвал ее поселением потомков Нептуна и описал ее великолепный храм, дворец, город и холм, ее многочисленные судоходные реки, опоясывавшие город точно кольцами, и величавые ступени, подобные scala coeli*,* по которым туда восходили,— хотя все это поэтический вымысел, одно, во всяком случае, верно: эта Атлантида, так же как и Перу (в то время называвшаяся Койя) и Мексика (носившая название Тирамбель), были мощными и гордыми державами, которые славились войском, флотом и богатствами, столь мощными, что жители последних одновременно (или на протяжении десяти лет) совершили два больших плавания […].

Менее чем сто лет спустя великая Атлантида была разрушена до основания – не землетрясением, как утверждает ваш источник (ибо вся та часть света мало им подвержена), но частичным потопом и наводнением… Вот из-за этого-то бедствия и прекратились наши сношения с Америкой, с которой, вследствие более близкого соседства, они были наиболее тесными.

Что касается других частей света, то в последующие века (вследствие ли войн или просто превратностей времени) мореплавание всюду пришло в крайний упадок; а дальние плавания прекратились вовсе (чему способствовало также распространение галер и других подобных судов, непригодных в открытом море). Итак, тот способ сношений, который состоял в посещении нас чужестранцами, уже издавна, как видите, стал невозможен, не считая редких случаев, вроде того, что привел сюда вас. Что же касается второго способа, а именно, наших плаваний в чужие земли, то для этого должен я привести другую причину, ибо не могу (не греша против истины) сказать, что флот наш по части численности и прочности судов, искусства моряков и лоцманов и всего, относящегося до мореплавания, стал сколько-нибудь хуже, чем прежде. Отчего сделались мы домоседами, о том надлежит рассказать особо; а тем самым отвечу я и на главный ваш вопрос.

Около тысячи девятисот лет назад правил у нас король, память которого мы чтим более всех других — не как-либо суеверно, но потому, что в нем, хотя и смертном человеке, видим орудие божественного промысла. Имя его было Соламона, и он считается законодателем нашей страны. Государь этот обладал сердцем неистощимой доброты; и цель своей жизни полагал единственно в том, чтобы сделать страну и народ счастливыми. Видя, сколь богата наша земля и способна прокормиться без помощи чужеземцев, ибо имеет в окружности пять тысяч шестьсот миль и на редкость плодородную почву почти повсеместно; и сколько найдется дела нашим кораблям, как на рыбных промыслах, так и на перевозках из порта в порт или на небольшие острова, расположенные неподалеку от нас и принадлежащие нашему королевству; и сколь страна наша счастлива и благополучна; и сколько есть способов ухудшить это положение, тогда как едва ли найдется хоть один способ улучшить его,— решил он, что для осуществления его благородной цели (насколько это доступно человеческому предвидению) требуется лишь увековечить столь счастливое состояние. Поэтому в число изданных им основных законов нашего королевства включил он запреты, касающиеся посещения нас чужеземцами, что в те времена (хотя это было уже после бедствия, постигшего Америку) случалось часто; ибо опасался новшеств и влияния чужих нравов… Что касается наших путешествий в чужие края, то наш законодатель счел нужным запретить их совершенно […].

Знайте же, дорогие друзья, что в числе превосходных законов, введенных этим государем, особо выделяется один. Это было основание некоего Ордена, или Общества, называемого нами «Дом Соломона»— благороднейшего (по нашему мнению) учреждения на земле, служащего стране нашей путеводным светочем. Оно посвящено изучению творений господних. Некоторые считают, что в его названии имя основателя подверглось искажению и что правильней было бы называть его «Дом Соломона». Но именно так оно значится в летописях. И я полагаю, что оно названо в честь царя иудеев, прославленного у вас и нам также небезызвестного. Ибо у нас имеются некоторые его сочинения, считающиеся у вас утерянными, а именно его *Естественная история,* трактующая обо всех растениях, от кедра ливанского до иссопа, растущего из стены, и обо всем, чему присуща жизнь и движение. Это заставляет меня думать, что государь наш, видя, что деятельность его во многом совпадает с деяниями иудейского царя (жившего за много лет до него), почтил его память этим названием. В этом мнении меня еще более утверждают древние летописи, иногда называющие Дом Соломона Коллегией шести дней творения; откуда очевидно, что достойный государь наш знал от иудеев о сотворении мира и всего в нем сущего в шесть дней и поэтому, учреждая Общество для познания истинной природы всех вещей (дабы прославить бога, создавшего их, а людей научить плодотворному пользованию ими), дал ему также и это второе название.

Но обратимся к главному предмету нашей беседы. Запретив своим подданным плавания во все края, не подвластные его короне, государь, однако ж, постановил, чтобы каждые двенадцать лет из королевства нашего отплывало в разных направлениях два корабля; чтобы на каждом из них отправлялось по три члена Соломонова дома для ознакомления с делами тех стран, куда они направляются, в особенности с науками, искусствами, производствами и изобретениями всего мира, и для доставки нам всевозможных книг, инструментов и образцов; и чтобы привезшие их корабли возвращались, сами же они оставались в чужой земле до следующей такой поездки. Корабли эти грузятся провиантом и запасом золота, который остается у членов Соломонова дома для закупок и оплаты различных услуг по их усмотрению. Сообщать вам, каким образом наши матросы остаются неузнанными; и как те, кто высаживается на берег, выдают себя за представителей других наций; и куда именно ходили наши корабли; и какие порты определены им для дальнейших поездок — я не могу; да и вы навряд ли этого хотите. Но, как видите, мы ведем торговлю не ради золота, серебра или драгоценностей; не ради шелков, пряностей пли иных материальных ценностей; но единственно ради того, что создано господом раньше всех других вещей, т. е. света — чтобы обрести свет, в каком бы конце земли он ни забрезжил» […]

Однажды двое из нас были приглашены на так называемый Праздник семьи — обычай весьма почтенный, благочестивый я согласный с природою и выказывающий эту нацию с самой лучшей стороны. Вот как он празднуется. Праздновать его может всякий, кто породит не менее тридцати живых детей и внуков, как только младший из них достигнет трехлетнего возраста; расходы же по устройству праздника берет на себя государство. За два дня до празднества отец семейства, называемый здесь тирсаном, приглашает к себе троих друзей по своему, выбору; в приготовлениях ему помогает также правитель города или местности, где происходит празднество; и собираются все члены семьи обоего пола. Эти два дня тирсан проводит в совещаниях о благополучии семьи. Если оказываются между ее членами раздоры или тяжбы, их разбирают и улаживают. Если кто-либо из семьи впал в нищету или находится в тяжелом положении, изыскиваются способы помочь ему и обеспечить средства к существованию. Если кто предался пороку или повинен в дурных поступках, ему выносится порицание и осуждение. Здесь же даются указания относительно браков, выбора подходящего занятия и другие подобные советы. При этом присутствует правитель, дабы своей властью подкреплять распоряжения тирсана, если кто-либо вздумает их ослушаться; однако надобность в этом бывает редко: настолько велико у них уважение к законам природы. Здесь же тирсан выбирает из числа своих сыновей одного, которому предстоит жить в его доме и носить звание Сына виноградной лозы. А откуда такое название, будет видно из дальнейшего […]

Тирсан выходит со всем своим потомством, причем мужчины идут впереди его, а женщины позади; а если жива мать, породившая их всех, то справа от кресла, на хорах, отгораживают для нее особое помещение с дверью и застекленным окном с резной рамою, украшенной лазурью и золотом; там она сидит, невидимая присутствующим. Тирсан садится в кресло, а все семейство становится вдоль стены, позади его и по сторонам возвышения, по старшинству, но без различия пола; комната при этом всегда полна народа, но без всякой суматохи и шума; спустя минуту с противоположного конца появляется таратан (а по нашему вестник) и с ним два мальчика, из которых один несет свиток тамошнего желтого и блестящего пергамента, а другой — золотую виноградную гроздь на длинном стебле… Свиток этот содержит королевскую грамоту с перечислением пенсий, льгот, почестей и привилегий, даруемых отцу семейства, которого король в обращении всегда именует «своим любезным другом и заимодавцем»; и это звание ни в каких других случаях не употребляется. Ибо здесь считают, что король не может ни перед «ем быть в долгу, кроме человека, приумножающего число его подданных… Эту грамоту вестник читает вслух, а тирсан выслушивает стоя, поддерживаемый двумя из своих сыновей. После этого вестник подымается на возвышение и вручает ему грамоту, а все присутствующие приветствуют это восклицаниями на их языке, означающими: «счастлив народ Бенсалема!» Затем вестник берет из рук второго мальчика виноградную гроздь, которая сделана целиком из золота — как стебель, так и ягоды… Число ягод в грозди соответствует числу потомства. Эту гроздь вестник также вручает тирсану, который тут же передает ее тому из сыновей, кого избрал он жить при себе, и тот всегда потом, в торжественных случаях, носит ее впереди отца, почему и называется Сыном виноградной лозы. По окончании этой церемонии тирсан удаляется, а спустя некоторое время выходит к обеду, в продолжении которого он, как и ранее, сидит один под балдахином, и никто из потомков его не садится с ним, каково бы ни было его звание и положение, если только это не член Соломонова дома. За столом прислуживают отцу только дети мужского пола, которые каждый раз преклоняют перед ним колено; а женщины стоят вдоль стены. Пониже возвышения накрыты столы для приглашенных, где все подается с большой торжественностью; а в конце обеда (пиршества у них никогда не длятся более полутора часов) исполняется гимн, который бывает различным, смотря по искусности сочинителя (поэты здесь превосходные), но темой своей неизменно имеет восхваление Адама, Ноя и Авраама, из коих первые два населили мир, а третий был отцом верующих; а в заключение всегда поется хвала рождеству Спасителя, рождением своим искупившего грехи всех рожденных.

По окончании трапезы тирсан вновь удаляется и после некоторого времени, проводимого в уединении и молитве, появляется в третий раз, чтобы благословить свое потомство, которое, как и вначале, стоит вокруг него. Он вызывает их одного за другим поименно, в любом угодном ему порядке, но обычно по старшинству. Названный преклоняет колено перед креслом (стол к тому времени убирается), а глава семьи возлагает ему руку на голову, произнося следующее благословение: «Сын Бенсалема (или дочь Бенсалема), так говорит отец твой, даровавший тебе дыхание жизни: да будет на тебе благословение вечного отца, князя мира и святого духа, а дни странствия твоего да будут долгими и счастливыми». Так говорит он каждому яз них. А после того, если окажутся среди его сыновей люди выдающихся заслуг и достоинств (но не более двух), он призывает их вновь и, обняв за плечи, произносит: «Дети, благо, что вы родились; восхвалите господа и не сходите с доброго пути». С этими словами вручает он каждому из них драгоценное украшение в виде пшеничного колоса, которое они всегда потом носят на своей чалме или шляпе. Затем начинаются музыка, танцы и иные принятые у них развлечения, и так проходит весь день. Таков порядок этого празднества […]

«Имеется у них множество мудрых и превосходных законов, касающихся брака. Многоженство не допускается. Есть также закон, не дозволяющий вступать в брак или обручаться ранее, чем через месяц после первой встречи брачащихся. Брак без согласия родителей хотя и признается, но карается особым законом о наследстве. Ибо дети от таких браков не могут наследовать более трети родительского имущества. Читал я в одной вашей книге, описывающей некое воображаемое государство, что там вступающим в брак разрешается предварительно видеть друг друга нагими. Этого здешние жители не одобряют, ибо считают оскорбительным отвергнуть кого-либо после столь близкого общения. Но из-за наличия у мужчин и женщин многих тайных телесных изъянов прибегают они к более учтивому способу, устраивая вблизи каждого города по два водоема, называемых водоемами Адама и Евы — где одному из друзей жениха, а также одной из подруг невесты дозволено видеть их, порознь, нагими во время купания» […]

«…Счастливы вы; ибо отец Соломонова дома, узнав о вашем пребывании здесь, приказал передать, что примет вас всех и побеседует с одним из вас, по вашему выбору…» В назначенный день и час мы явились; причем для беседы с глазу на глаз спутники мои избрали меня. Мы застали отца Соломонова дома в богатом покое, убранном коврами и драпировками, но без тронного возвышения… Он выслал пажей из комнаты, велел мне сесть рядом с собой и обратился ко мне по-испански со следующими словами: «Благослови тебя господь, сын мой; я подарю тебе величайшую из драгоценностей, какими владею; ибо открою тебе, во имя любви к богу и людям, истинный устав Соломонова дома. А для этого, сын мой, я буду держаться следующего порядка. Прежде всего изложу цель, ради которой он был основан; во-вторых, опишу сооружения и приборы, какими располагаем мы для наших работ; в-третьих, расскажу о разделении труда и обязанностей между членами Дома; и, наконец,— о наших обычаях и порядках. Целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным.

Для этого располагаем мы следующими сооружениями: есть у нас обширные и глубокие рудники различной глубины; наиболее глубокие достигают 600 морских сажен; а некоторые вырыты под высокими холмами и горами; так что если сложить вместе вышину холма и глубину рудника, то некоторые из них достигают в глубину трех миль. Ибо мы полагаем, что внутренность горы, считая до поверхности земли, и глубина рудника, считая также от земной поверхности, в сущности одно и то же; ибо они равно лишены солнечных лучей и доступа воздуха. Эти рудники называются у нас нижнею сферой и применяются для всякого рода сгущения, замораживания и сохранения тел. Мы пользуемся ими также для воссоздания природных рудников и для получения новых, искусственных металлов из составов, которые закладываем туда на многие годы. Иногда (пусть не покажется это странным) мы пользуемся ими для лечения некоторых болезней и для продления жизни отшельников, которые соглашаются поселиться там, снабженные всем необходимым, и живут, действительно, очень долго; так что мы многому от них научились.

Применяем мы также захоронение в различных почвах всякого рода составов, как это делают китайцы со своим фарфором. Только у нас составы эти более разнообразны, а некоторые сорта их более тонки. Нам известны также различные способы изготовлять перегной и сложные удобрения, делающие почву более плодородной.

Есть у нас высокие башни; самые высокие из них достигают полумили, а некоторые выстроены на высоких горах; так что если прибавить еще и высоту горы, то в самой высокой из башен будет не менее трех миль. Эти места называем мы верхнею сферой, а то, что находится посредине — среднею сферой. Эти башни служат нам, сообразно с их высотой и расположением, для прокаливания на солнце, для охлаждения или для сохранения тел, равно как и для наблюдений над явлениями природы, как-то: над ветрами, дождем, снегом, градом, а также некоторыми огненными метеорами. В некоторых из этих башен обитают отшельники, которых мы по временам навещаем, чтобы поручить то или иное наблюдение.

Есть у нас обширные озера, как соленые, так и пресные, служащие для разведения рыбы и водяной птицы, а также для погружения некоторых тел; ибо мы обнаружили, что тела сохраняются различно, смотря по тому, погребены ли они в земле, хранятся в подземелье, или же погружены в воду. Есть у нас также водоемы, где мы получаем пресную воду из соленой или, наоборот, соленую из пресной. Есть скалы посреди моря и заливы, вдающиеся в сушу, предназначенные для некоторых работ, требующих морского воздуха и испарений. Есть также бурные потоки и водопады, служащие для получения многих видов движения, и всякого рода двигатели для увеличения силы ветра, также обращаемой нами в различного рода движение.

Немало у нас искусственных колодцев и источников, подражающих природным и содержащих примеси купороса, серы, железа, меди, свинца, селитры и других веществ. Есть также особые небольшие водоемы для получения настоев, где вода приобретает желаемые свойства быстрее, чем в сосудах. И среди них один, называемый райским источником; ибо мы придали ему могучие свойства, способствующие сохранению здоровья и продлению жизни.

Есть у нас обширные помещения, где мы искусственно вызываем и показываем различные явления природы, как-то: снег, дождь, искусственный дождь из различных твердых тел, гром, молнию, а также зарождение из воздуха живых существ: лягушек, мух и некоторых других.

Есть у нас особые комнаты, называемые комнатами здоровья, где мы наделяем воздух теми свойствами, которые считаем целебными при различных болезнях и для сохранения здоровья. Есть у нас просторные купели, наполненные различными лекарственными составами для излечения болезней и предохранения человеческого тела от высыхания, и еще другие составы для укрепления мускулов, важнейших органов и самой жизненной субстанции.

Есть у нас обширные и разнообразные сады и огороды, в которых мы стремимся не столько к красоте, сколько к разнообразию почв, благоприятных для различных деревьев и трав. В некоторых из садов, наиболее обширных, мы сажаем разные деревья и ягодные кусты, служащие для приготовления напитков, и это не считая виноградников. Там производим мы также опыты различных прививок как над дикими, так и над фруктовыми деревьями, дающие разнообразные результаты. Там заставляем мы деревья цвести раньше или позднее положенного времени, вырастать и плодоносить скорее, нежели это наблюдается в природных условиях. С помощью науки мы достигаем того, что они становятся много пышней, чем были от природы, а плоды их — крупнее и слаще, иного вкуса, аромата, цвета и формы. А многим из них мы придаем целебные свойства.

Нам известны способы выращивать различные растения без семян, одним только смешением почв, а также способы выводить новые виды растений, отличные от существующих, и превращать одно дерево или растение в другое.

Есть у нас всевозможные парки и заповедники для животных и птиц, которые нужны нам не ради одной лишь красоты или редкости, но также для вскрытий и опытов; дабы знать, что можно проделать над телом человека. При этом нами сделано множество необычайных открытий, как, например, сохранение жизнеспособности после того, как погибли и были удалены органы, которые вы считаете жизненно важными; оживление животных после того, как, по всем признакам, наступила смерть, и тому подобное. На них испытываем мы яды и иные средства, хирургические и лечебные. С помощью науки делаем мы некоторые виды животных крупнее, чем положено их породе, или, напротив, превращаем в карликов, задерживая их рост; делаем их плодовитее, чем свойственно им от природы, или, напротив, бесплодными; а также всячески разнообразим их природный цвет, нрав и строение тела. Нам известны способы случать различные виды, отчего получилось много новых пород, и притом не бесплодных, как принято думать. Из гнили выводим мы различные породы змей, мух и рыб, а из них некоторые преобразуем затем в более высокие виды живых существ, каковы звери и птицы; они различаются по полу и производят потомство. И это получается у нас не случайно, ибо мы знаем заранее, из каких веществ и соединений какое создание зародится.

Есть у нас особые водоемы, где подобные же опыты производятся над рыбами. Есть у нас особые места для разведения червей и бабочек, имеющих какие-либо полезные свойства, вроде ваших пчел или шелковичных червей.

Не буду утруждать твоего слуха перечислением наших пивоварен, пекарен и кухонь, где приготовляются различные напитки, хлебы и кушанья, имеющие особые свойства. Вино выделываем мы из винограда, а напитки из фруктовых соков, зерна и кореньев; а также из смесей и настоек мода, сахара, манны и сухих фруктов, или из древесных соков и сердцевины тростника. Напитки эти выдерживаются — иные до сорока лет. Есть у нас также целебные напитки из трав, кореньев и пряностей, куда добавляют иной раз белого мяса, причем некоторые из них могут служить одновременно и питьем и пищею; так что немало людей, особенно в преклонных летах, питаются ими, почти или вовсе не употребляя мяса и хлеба. Особенно стараемся мы изготовлять напитки из мельчайших частиц, которые проникали бы в тело, но при этом не были бы на вкус едкими и раздражающими, и уже получаем такие, что, будучи вылиты на тыльную сторону руки, вскоре просачиваются до ладони, вкус же имеют приятный. Есть у нас воды, которым мы умеем придавать питательные свойства и превращать в отличные напитки; так что многие предпочитают их всем прочим. Хлеб печем мы из различного зерна, кореньев и орехов, а иногда из сушеного мяса или рыбы, с большим разнообразием заквасок и приправ; так что некоторые сорта его служат для возбуждения аппетита, а другие настолько питательны, что многие ничего кроме них не употребляют и живут, однако же, очень долго. Также и мясо подвергается у нас такой обработке, измельчению и разжижению — без всякого, однако, ущерба для его свежести — что даже слабый жар больного желудка превращает их в полноценный млечный сок с такой же легкостью, с какой обычно мясо переваривается здоровым желудком. Есть у нас сорта мяса и другой пищи, прием которой позволяет затем человеку вынести длительное голодание, и. есть другие, от которых мышцы становятся заметно плотнее и тверже и силы прибывают необычайно.

Есть у нас аптеки. И коль скоро имеется у нас такое разнообразие растений и животных, большее, нежели у вас, европейцев (ибо все ваши породы нам известны), то и лекарственных трав и других веществ должно быть соответственно больше. Некоторые из них мы выдерживаем и подвергаем длительному брожению. Что касается приготовляемых из них лекарств, то нам известны не только многие совершенные способы перегонки и выделения — чаще всего посредством равномерного нагревания и процеживания сквозь различные фильтры, иногда весьма плотные — но также и точные формулы соединений, благодаря которым из множества составных частей получаем как бы природное вещество.

Есть у нас различные производства, неизвестные вам, и немало изделий, как-то: бумага различных сортов; льняные, шелковые и другие ткани; нежные ткани из пуха с удивительными переливами; отличные краски и многое другое. И есть мастерские как для изделий, вошедших в общее употребление, так и для редкостных. Ибо из перечисленного мною многое распространилось уже по всей стране, но если что было изобретено нами, то остается у нас в качестве образца.

Есть у нас различного устройства печи, дающие и сохраняющие самую различную температуру: с быстрым нагревом; с сильным и постоянным жаром; со слабым и равномерным нагревом; раздуваемые мехами; с сухим или влажным жаром и тому подобное. Но важнее всего то, что мы воспроизводим жар солнца и других небесных светил, который подвергаем различным изменениям, проводя через циклы, усиливая или уменьшая и тем достигая удивительных результатов. Мы воспроизводим также теплоту навоза, чрева животных и их пасти; теплоту их крови и тела; теплоту сена и трав, когда их сгребли влажными; теплоту негашеной извести и другие. Есть у нас также приборы, порождающие теплоту одним лишь своим движением. Есть особые места для сильного прокаливания на солнце, а также подземные помещения, где поддерживается естественное или искусственное тепло. Этими различными видами тепла мы пользуемся смотря по тому, какую производим работу.

Есть у нас дома света, где производятся опыты со всякого рода светом и излучением и со всевозможными цветами и где из тел бесцветных и прозрачных мы извлекаем различные цвета (не в виде радуги, как мы это видим в драгоценных камнях и призмах), но по отдельности. Мы умеем также усиливать свет, который передаем на большие расстояния и можем делать столь ярким, что при нем различимы мельчайшие точки и линии. Здесь же производим мы опыты с окрашиванием света, со всевозможными обманами зрения в отношении формы, величины, движения и цвета, со всякого рода теневыми изображениями.

Мы открыли также различные, еще не известные вам, способы получать свет из различных тел. Мы нашли способы видеть предметы на большом расстоянии, как, например, на небе и в отдаленных местах; близкие предметы мы умеем представить отдаленными, а отдаленные — близкими и можем искусственно создавать впечатление любого расстояния. Есть у нас зрительные приборы, значительно превосходящие ваши очки и подзорные трубы. Есть стекла и приборы, позволяющие отчетливо рассмотреть мельчайшие предметы, как, например, форму и окраску мошек, червей, зерен или изъяны в драгоценных камнях, которые иначе не удалось бы обнаружить и найти в крови и моче вещества, также невидимые иным способом.

Мы искусственно получаем радугу, сияния и ореолы вокруг источников света. А также воспроизводим явления отражения, преломления и усиления видимых лучей.

Есть у нас всевозможные драгоценные камни, из коих многие отличаются дивной красотой и вам неизвестны; а также хрусталь и разного рода стекло, которое мы получаем не только из известных вам веществ, но также из металлов, приведенных в стеклообразное состояние. Есть немало неизвестных вам ископаемых и низших минералов, магниты огромной мощи и другие редкие камни, как природные, так и искусственные.

Есть у нас дома звука для опытов со всевозможными звуками и получения их. Нам известны неведомые вам гармонии, создаваемые четвертями тонов и еще меньшими интервалами, и различные музыкальные инструменты, также вам неизвестные и зачастую звучащие более приятно, чем любой из ваших; есть у нас колокола и колокольчики с самым приятным звуком. Слабый звук мы умеем делать сильным и густым, а густой — ослабленным или пронзительным; и можем заставить дрожать и тремолировать звук, который зарождается цельным. Мы воспроизводим все звуки речи и голоса всех птиц и зверей. Есть у нас приборы, которые, будучи приложены к уху, весьма улучшают слух. Есть также различные диковинные искусственные эхо, которые повторяют звук многократно и как бы отбрасывают его, или же повторяют его громче, чем он был издан, выше или ниже тоном; а то еще заменяющие один звук другим. Нам известны также способы передавать звуки по трубам различных форм и на разные расстояния.

Есть у нас дома ароматов, где производятся опыты также и над вкусовыми ощущениями. Мы умеем, как это ни странно, усиливать запахи, умеем искусственно их создавать и заставлять все вещества издавать иной запах, чем свойственно им от природы. Мы умеем также подражать вкусу различных веществ, так что эти подделки способны обмануть кого угодно. Тут же имеется у нас кондитерская, где изготовляются всевозможные свежие и сухие сладости, а также различные сладкие вина, молочные напитки, бульоны и салаты, куда более разнообразные, чем у вас.

Есть у нас дома механики, где изготовляются машины и приборы для всех видов движения. Там получаем мы более быстрое движение, чем, например, полет мушкетной пули или что-либо другое, известное вам; а также учимся получать движение с большей легкостью и с меньшей затратой энергии, усиливая его при помощи колес и других способов — и получать его более мощным, чем это умеете вы, даже с помощью самых больших ваших пушек и василисков. Мы производим артиллерийские орудия и всевозможные военные машины; новые сорта пороха; греческий огонь, горящий в воде и неугасимый; а также фейерверки всех видов, как для развлечения, так и для других целей. Мы подражаем также полету птиц и знаем несколько принципов полета. Есть у нас суда и лодки для плавания под водой и такие, которые выдерживают бурю; есть плавательные пояса и другие приспособления, помогающие держаться на воде. Есть различные сложные механизмы, часовые и иные, а также приборы, основанные на вечном движении. Мы подражаем движениям живых существ, изготовляя для этого модели людей, животных, птиц, рыб и змей. Кроме того, нам известны и другие виды движения, удивительные по равномерности и точности.

Есть у нас математическая палата, где собраны всевозможные инструменты, как геометрические, так и астрономические, изготовленные с большим совершенством.

Есть у нас особые дома, где исследуются обманы органов чувств. Здесь показываем мы всякого рода фокусы, обманы зрения и иллюзии и тут же разъясняем их обманчивость. Ибо вам должно быть очевидно, что, открыв столько естественных явлений, вызывающих изумление, мы могли бы также бесчисленными способами обманывать органы чувств — стоит лишь облечь эти явления тайной и представить в виде чудес. Но нам настолько ненавистны всякий обман и надувательство, что всем членам нашего Общества под угрозой штрафа и бесчестья запрещено показывать какое-либо природное явление приукрашенным или преувеличенным; а только в чистом виде, без всякой таинственности.

Таковы, сын мой, богатства Соломонова дома. Что касается различных обязанностей и занятий членов нашего Дома, то они распределяются следующим образом: двенадцать из нас отправляются в чужие земли, выдавая себя за представителей других наций (ибо существование нашей страны мы храним в тайне), и отовсюду привозят нам книги, материалы и описания опытов. Их называем мы торговцами светом.

Трое из нас извлекают материал для опытов, содержащийся в книгах. Их называем мы похитителями.

Трое других собирают опыт всех механических наук, равно как н всех свободных искусств и тех практических знаний, которые не вошли в науку. Их мы называем охотниками за секретами.

Еще трое производят новые опыты, по собственному усмотрению. Их называем мы пионерами, или изыскателями.

Еще трое заносят результаты опытов всех названных четырех категорий в таблицы и сводки для более удобного извлечения из них общих наблюдений и законов. Их называем мы компиляторами.

Еще трое занимаются изучением опытов своих товарищей ради изобретений, которые могут быть полезны в обиходе, а также всего пригодного для дальнейших работ или для учебного объяснения причин явлений и наиболее легкого усвоения состава в свойств различных тел. Их называем мы дарителями, или благодетелями.

А после того как указанные работы подвергнутся обсуждению на общих совещаниях членов нашего Дома, трое других составляют на их основе указания для новых опытов, более высокого порядка и глубже проникающих в природу, нежели предыдущие. Их называем мы светочами.

Еще трое осуществляют эти новые опыты и дают о них отчет. Их называем мы прививателями.

И, наконец, еще трое возводят все добытые опытом открытия в общие наблюдения, законы и принципы. Их называем мы истолкователями природы*.*

Есть у нас также, как ты понимаешь, новопосвященные и ученики, дабы не прекращалась преемственность в работе, не считая многочисленных слуг и подручных обоего пола. И вот что еще мы делаем: на наших совещаниях мы решаем, какие из наших изобретений и открытий должны быть обнародованы, а какие нет. И все мы даем клятвенное обязательство хранить в тайне те, которые решено не обнародовать; хотя из этих последних вы некоторые сообщаем государству, а некоторые — нет.

Обратимся теперь к нашим обычаям и обрядам. Есть у нас две просторные и красивые галереи; в одной из них выставлены образцы всех наиболее ценных и замечательных изобретений; в другой — скульптурные изображения всех великих изобретателей. Среди них находится статуя вашего Колумба, открывшего Вест-Индию; а также первого кораблестроителя; монаха, изобретшего огнестрельное оружие и порох; изобретателя музыки; изобретателя письменности; изобретателя книгопечатания; изобретателя астрономических наблюдений; изобретателя обработки металлов; изобретателя стекла; изобретателя культуры шелка; первого винодела; первого хлебопашца и первого, кто начал добывать сахар. Все они известны нам более достоверно, нежели вам. Кроме того, у нас немало и своих отличных изобретателей. Но поскольку ты не видел этих изобретений, описывать их было бы чересчур долго; к тому же по описанию ты можешь составить о них ошибочное суждение. За каждое ценное изобретение мы воздвигаем автору статую и присуждаем щедрое и почетное вознаграждение. Статуи делаются иногда из меди, из мрамора и яшмы, из кедрового или другого ценного дерева, позолоченного и изукрашенного, из железа, серебра или золота.

Есть у нас особые гимны и ежедневные литургии для восхваления господа и благодарения за чудесные его творения, и особые молитвы о содействии нашим трудам и обращении их на цели благие и благочестивые.

И, наконец, есть у нас обычай посещать главные города нашего королевства, где мы оглашаем те новые полезные открытия, какие находим нужным. А также предсказываем — сопровождая это естественными объяснениями — повальные болезни, моровую язву, нашествия саранчи, недороды, грозы, землетрясения, наводнения, кометы, погоду и тому подобное и даем жителям советы, как предупредить стихийные бедствия и бороться с ними».

Окончив свою речь, он встал, а я, как мне было указано, преклонил колени; после чего он возложил правую руку мне на голову и произнес: «Да благословит тебя господь, сын мой; и да благословит он мое повествование. Дозволяю тебе огласить его на благо другим народам. Ибо мы находимся здесь в лоне господнем и живем никому неведомые». С этим он оставил меня, пожаловав мне и моим спутникам около двух тысяч дукатов. Ибо члены Соломонова дома раздают щедрые дары всюду, куда прибывают.

*(Бэкон Ф. Новая Атлантида //Бэкон Ф. Указ.соч. Т.2. С.483-518)*

***тема 6. философия просвещения. французский механистический материализм XVIII века***

*ВОЛЬТЕР, настоящее имя Франсуа Мари Аруэ (1694-1778) – французский философ, романист, историк, драматург и поэт, один из идейных вождей французского Просвещения. В 1750-1752 находился при дворе Фридриха II, с 1858 жил в своем поместье недалеко от Женевы, регулярно посещая Францию. Испытал влияние английского Просвещения. Его творчество отличается исключительной многосторонностью: он и философ, и популяризатор передовых естественнонаучных идей, и поэт, и драматург, и романист, и историк. Он был признанным вождем философско-социального движения, возлагал надежды на мудрость и благость правителя (идея «просвещенной монархии»). Ему импонировало общественно-политическое устройство Англии – ограничение власти короля, сравнительная веротерпимость.*

Резко критикуя клерикализм, различного рода злоупотребления церкви, Вольтер признавал необходимость веры в Бога как перводвигателя вселенной (деизм), отрицал атеизм. Конечную причину движения сущего, мышления и вообще душевные явления он считал проявлением божественной силы (влияние учения Ньютона). Историю человечества изображал как историю борьбы человека за прогресс и образование, всячески подчеркивая ценность культуры (в противовес Руссо).

Влияние Вольтера было чрезвычайно сильным в России, чему способствовала Екатерина Великая, которая переписывалась с ним и приказывала переводить его труды на русский язык, создав моду на «вольтерьянство».

ФИЛОСОФСКИЕ ПИСЬМА

[…] Письмо восьмое

О ПАРЛАМЕНТЕ

Члены английского парламента любят сопоставлять себя при каждой возможности с древними римлянами… Признаюсь, я не усматриваю ничего общего между тем и другим правлением; правда, в Лондоне существует сенат, членов которого подозревают (несомненно, ошибочно) в том, что они при случае продают свои голоса точно так же, как это делалось в Риме. Вот и сходство, во всем же остальном два этих народа представляются мне корне различными, будь то в хорошем или дурном…

А вот и еще более существенное различие между Римом и Англией, полностью говорящее в пользу этой последней, а именно плодом гражданских войн в Риме было рабство, плодом английских смут – единственная на Земле, добившаяся ограничения королевской власти путем сопротивления, а также установившая с помощью последовательных усилий то мудрое правление, при котором государь, всемогущий, когда речь идет о благих делах, оказывается связанным по рукам и ногам, если он намеревается вершить зло; при котором вельможи являются грандами без надменности и вассалов, а народ без смут принимает участие в управлении.

Палата пэров и палата общин являются посредниками нации, король — верховным посредником. Этого paвновесия недоставало римлянам, вельможи и народ постоянно были там между собой разделены, причем отсутствовала посредническая власть, которая могла бы устанавливать между ними согласие…

Без сомнения, установить свободу в Англии стоило недешево. Идол деспотической власти был потоплен в морях крови […]

Письмо девятое

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Счастливое это сочетание в правлении Англии, это согласие, существующее между общинами, лордами и королем, было не всегда…

Счастливым образом в потрясениях, вызванных в империях спорами королей и вельмож, оружие народов до некоторой степени притупилось; свобода родилась в Англии из споров тиранов, бароны вынудили Иоанна Безземельного и Генриха III даровать знаменитую Хартию, непосредственной целью которой было на самом деле поставить королей в зависимость от лордов, но согласно которой остальная часть нации получила некоторые поблажки, с тем чтобы при случае она при­няла сторону своих так называемых покровителей. Эта великая Хартия, рассматриваемая как священный прин­цип английских свобод, сама позволяет понять, сколь мало тогда была знакома свобода. Одно только ее за­главие доказывает, что король приписывал себе абсо­лютные правомочия, а бароны и духовенство даже не пытались заставить его отречься от этого пресловутого «права», поскольку высшее могущество принадлежало им…

В параграфах этой Хартии не сказано ни единого слова о палате общин — доказательство того, что ее не было еще и в помине или же что она существовала, не обладая никакими полномочиями… Подобная свобода еще сильно попахивала рабством […]

*(Вольтер. Философские письма //Вольтер. Философские сочинения. Пер.с фран. /Ин-т философии. –М., 1996. С.5-130)*

# МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

[…] Разве замыслы Создателя, пожелавшего, чтобы человек жил в обществе, не получили достаточного воплощения? Если бы некий закон, упавший с неба, поведал бы смертным отчетливо волю бога, нравственное благо было бы не чем иным, как соответствием этому закону. Когда бог сказал людям: «Я желаю, чтобы на Земле было много королевств и не было бы ни единой республики. Я желаю, чтобы младшие сыновья получали в свое распоряжение все состояние своих отцов и чтобы карался смертью всякий, употребивший в пищу индюков или свинью»,— эти законы, несомненно, стали бы неру­шимым правилом добра и зла. Но коль скоро бог не удостоил, насколько я знаю, вмешаться таким обра­зом в наше поведение, нам приходится довольствоваться пока тем, что он успел для нас сделать. Эти его дары — разум, любовь к самому себе, доброжелательство к особям нашего вида, потребности, страсти — суть средства, с помощью коих мы учредили общество…

Что касается государей, в руках у которых сосре­доточена сила и которые злоупотребляют ею, чтобы опустошать мир, которые посылают на смерть одну часть людей и ввергают в нищету другую, то это вина самих людей, терпящих подобные свирепые расправы, часто почитаемые ими даже под именем доблести; они должны упрекать во всем этом одних лишь себя и негодные законы, учрежденные ими, либо недостаток у себя смелости, мешающий им заставить других испол­нять законы хорошие…

Если бы небу было угодно, чтобы высшее бытие действительно дало нам законы и предназначило кары и воздаяния! Чтобы оно нам рекло: вот это — порок сам по себе, а это — сама по себе добродетель. Но мы столь далеки от обладания правилами добра и зла, что из всех кто осмелился дать людям законы от имени бога, нет ни одного, кто бы дал нам десятитысячную долю правил, в которых мы нуждаемся для нашего поведения в жизни […]

*(Вольтер. Метафизический трактат //Вольтер. Указ.соч. С.131-169)*

# НЕСВЕДУЩИЙ ФИЛОСОФ

[…] XXXI. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МОРАЛЬ?

Чем больше я встречал людей различных климатов, нравов, языков, законов, культа и степени интеллекта, тем более я убеждался, что у всех у них существует одна и та же основа морали; все они имеют приблизительное представление о справедливом и несправедливом, хотя не знают при этом даже азов теологии; все они достигли этого одинакового представления в возрасте, когда расцветает разум, подобно тому как все они естественно достигли — без помощи математики — искусства поднимать с помощью рычага грузы и переплывать водные потоки на куске дерева…

[…] XXXII. РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА.

ПОНЯТИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Понятие о чем-то справедливом представляется мне столь естественным, так повсеместно принятым среди людей, что оно не зависит ни от какого закона, договора или религии. Если я попрошу турка, гебра или малабарца вернуть мне деньги, которые я одолжил ему на еду или одежду, ему никогда не придет в голову мне ответить: подождите, я узнаю, повелевают ли мне Магомет, Зороастр или Брама вернуть вам ваши деньги. Он признает свой долг по отношению ко мне справедливым, и если он его не выполнит, то лишь потому, что бедность или жадность заставят его нарушить справедливость, которую он признает […]

*(Вольтер. Несведущий философ //Вольтер. Указ.соч. С.207-250)*

**НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ**, ПРОЧИТАННЫЕ

В ПРИВАТНОМ СОБРАНИИ В ДОНДОНЕ В 1765 ГОДУ

[…] С того момента, как мы создали себе бога по нашему образу и подобию, божественный культ был извращен. Осмелившись представить бога в облике человека, наше жалкое воображение, никогда не останавливающееся на полпути, придало ему и человеческие пороки. Мы рассматривали его лишь как властного господина и наградили его всеми чертами злоупотребления властью; мы прославляли его как существо гордое, ревнивое, гневное, мстительное, благотворящее и капризное, как безжалостного разрушителя, грабящего одних, дабы обогатить других — единственно по своей прихоти. Наши идеи всегда развертываются постепенно, мы почти всё постигаем по принципу сходства: так, когда Земля была наводнена тиранами, бога сделали первым среди тиранов. Еще хуже было, когда божество воплощали в образах, взятых из животного мира и от растений: бог стал тогда быком, змеей, крокодилом, обезьяной, котом и ягненком; он ел траву, свистел, блеял, пожирал других и был пожираем сам.

Суеверие почти среди всех народов было столь ужасающим, что, если бы до сих пор не сохранились памятники этого суеверия, мы вряд ли могли бы поверить тому, что об этом рассказывают. История мира — исто­рии фанатизма…

С лица Земли надо стереть то суеверие, которое, делая бога тираном, побуждает людей к тирании. Тот, кто первым сказал, будто отступников надо держать в страхе, вложил кинжал в руки тех, кто осмелился считать себя правоверными; тот, кто первым запретил всякое общение с теми, кто не придерживался его взглядов, ударил в набат гражданских войн по всей Земле […]

…Поезжайте в Италию, и вы увидите на троне папский деспотизм. Не так обстоит дело во Франции, которую Рим считает полуеретическим государством. Если вы отправитесь в Швейцарию или Германию, вы проведете одну ночь в городе кальвинистов, другую – в обители папистов, третью – в лютеранском пристанище. А если вы окажетесь в России, то вообще не увидите ничего подобного. Здесь – совсем иная религия. Царский двор здесь подлинно просвещенный благодаря императрице-философу. Августейшая Екатерина возвела на трон разум, равно как великодушие и благородство…

Мой боже! Избавь нас от заблуждений атеизма, oтрицающего твое бытие, и освободи нас от суеверия, бесчестящего твое бытие, наше же превращающего в ад!

*(Вольтер. Назидательные проповеди //Вольтер. Указ.соч.. С.251-271)*

## ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ

[…] Раздел V

#### О НЕОБХОДИМОСТИ ВЕРИТЬ В ВЕРХОВНОЕ СУЩЕСТВО

Объектом большого интереса, как мне это представляется, будет не метафизическая аргументация, но возможность взвесить вопрос, необходимо ли для общего блага всех людей, этих несчастных и мыслящих существ допускать существование Бога – вознаграждающего и мстителя, служащего одновременно для нас уздой и утешением, или нам надо отбросить эту идею и отдаться нашим бедствиям без надежды и нашим преступлениям без угрызений совести.

Гоббс утверждает: если в каком-либо государстве, где вообще не признают Бога, какой-нибудь гражданин предложил бы религию, его следовало бы повесить.

Под этим чрезвычайным и преувеличенным требованием он явно разумел случай, когда какой-либо гражданин вздумал бы захватить власть во имя Бога; иначе говоря, он имеет в виду шарлатана, вздумавшего стать тираном. Мы же здесь разумеем граждан, чувствующих людскую слабость, испорченность и беду и изыскивающих опорную точку для укрепления морали людей, а также поддержку для них в томлениях и ужасах этой жизни.

Начиная с Йова и вплоть до нас очень многие люди кляли свое существование…

В том сомнении, в каком пребываем мы оба, я не говорю вам вместе с Паскалем: примите то, что более достоверно... Я говорю: продолжайте культивировать добродетель, будьте милосердны, взирайте с отвращением или сожалением на все суеверия, но восхищайтесь вместе со мной замыслом, обнаруживающим себя в целокупной природе, а значит, и Творцом этого замысла – начальной и конечной причиной всего; надейтесь вместе со мной, что наша монада, мыслящая о великом вечном бытии, обретет с помощью этого самого великого бытия счастье…

В отдельных местах вашего труда вы признаете сами, что вера в Бога удерживала некоторых людей на грани преступления, - этого признания мне довольно. Если бы это предотвратило на Земле всего лишь десять убийств, десяток клевет и десять несправедливых приговоров, я полагаю, весь мир должен был бы ее принять.

Религия, говорите вы, породила несметное число преступлений, но скажите лучше: их породило суеверие, царящее на нашей планете; суеверие – самый жестокий враг чистого поколения, которым мы обязаны верховному бытию. Будем же презирать это чудовище, раздиравшее лоно собственной матери; люди, сражающиеся с ним – благодетели человечества; суеверие – змей, обвивший религию своими кольцами; ему надо размозжить голову, не раня при этом религию, которую он отравляет и пожирает…

Еще кое-что я скажу в ответ на ваши слова… «Если предполагать какие-то взаимоотношения между человеком и этим невероятным бытием, надо ему воздвигать алтари, нести дары и т.д.; если мы ничего не понимаем в сущности этого бытия, надо обращаться за разъяснениями к священнослужителям, которые... и т.д., и т.д., и т.п.»… И где тут беда, если гражданину, именуемому старейшиной или священником, вменяется в долг выполнить эти обряды благодарения, возносимого божеству от лица других граждан, при условии, конечно, что таким служителем культа не будет ни Григорий VII, шагавший по головам царей, ни Александр VI, осквернивший кровосмешением лоно собственной дочери, которую он зачал в прелюбодейной связи, и убивавший и отравлявший при содействии своего бастарда почти всех соседних с ним государей; разумеется, таким служителем не может быть и приходской священник, жульнически обворовывающий исповедуемых им кающихся и употребляющий украденные деньги на обольщение наставляемых им девочек... Духовный сан – узда, принуждающая к благопристойности.

Глупый священник возбуждает презрение; злой священнослужитель внушает ужас; добрый духовный отец, мягкий и благочестивый, свободный от суеверия, милосердный, терпимый – человек, коего мы должны ценить и уважать...

…Самое высокое уважение, какое можно, на мой взгляд, оказать Богу,– это принять его защиту без гнева, тогда как самым недостойным его ликом будет изображение его мстительным и разъяренным. Он – сама истина, а истина лишена страстей. Возвещать Бога от доброго сердца и стойкого, невозмутимого ума – значит быть его учеником.

Я, как и вы, считаю фанатизм чудищем, тысячекратно более опасным, чем философский атеизм. Спиноза не позволил себе ни одного дурного поступка…

Кабинетный атеист почти всегда – спокойный философ, фанатик же всегда мятежен; однако придворный атеист или атеист-государь мог бы стать бичом человечества. Борджа и ему подобные совершили почти столько же зла, сколько мюнстерские и севеннские фанатики: я имею в виду фанатиков обеих партий. Беда кабинетных атеистов заключается в том, что они творят атеистов придворных…

…Бог да охранит нас от кошмарного священнослужителя, своим священническим ножом искрошившего в куски царя, или от того, кто, одетый в каску и панцирь, в возрасте семидесяти лет осмелился тремя своими окровавленными пальцами подписать смехотворное отлучение от церкви французского короля, или от... от... от... и т.д.!

Но да предотвратит также Бог появление гневливого и грубого деспота, который, не веря в Бога, стал бы богом самому себе, оказался бы недостойным своего священного положения и растоптал ногами обязанности, этим положением на него налагаемые; деспота, который без зазрения совести жертвовал бы своих родичей, друзей, слуг и народ своим страстям!..

*(Вольтер. Философский словарь //Вольтер. Указ.соч. С. 451-528)*

ЖАН-ЖАК РУССО (1712–1778) - французский философ, писатель, представитель демократического крыла идеологов Просвещения. Веря в существование Бога и признавая бессмертие души, утверждал, что материя и дух есть два извечно существующих начала. В теории познания придерживался идей сенсуализма, хотя был сторонником врожденности нравственных идей.

*В трактате «Рассуждение о науках и искусствах» Руссо утверждал, что повсюду цивилизация привела к моральному и физическому вырождению людей, и только народы, сохранившие свою первозданную простоту, остались добродетельными и сильными; далее было сказано, что плодами прогресса всегда оказываются нравственная порча и военная слабость.*

*Руссо раскрыл сущность деградирующего общественного устройства, которая заключена в противоречии между «жизнью большинства, протекающей в бесправии и нищете, тогда как горстка власть имущих находится на вершине славы и богатства».*

*Наследие Руссо необычайно по своему разнообразию и по степени оказанного им влияния. Сам он неизменно подчеркивал единство своей доктрины: человек, который по природе добр, должен познать эту природу и довериться ей. Подобное невозможно в обществе, где верховное значение придают рациональности и умственным выкладкам. Какие-то проявления неравенства неизбежны, поскольку они естественны, но существует и противоестественное неравенство, например резкие различия в степени благосостояния, и оно должно исчезнуть.*

*Руссо утверждал, что «общественный договор» заключают люди, которые готовы возложить на себя бремя гражданских обязанностей. Руссо неизменно выступал как демократ: разумным и правильным является лишь такое общество, все члены которого участвуют в создании законов, т.е. обладают важнейшим из прав.*

*Совокупный комплекс идей, выраженных в творчестве Руссо, т.н. «руссоизм», повлиял на развитие европейской мысли и литературы второй половины 18 – первой трети 19 в. (соответственно сентиментализм, предромантизм, романтизм).*

**Рассуждение о науках и искусствах**,

*получившее премию Дижонской Академии в 1750 году,*

*на тему, предложенную этой же Академией:*

**Способствовало ли возрождение наук**

**и искусств улучшению нравов?**

[…] Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов, или же оно содействовало порче их? Вот вопрос, подлежащий исследованию. На какую же точку зрения я должен стать при его рассмотрении? На ту, милостивые государи, которая подобает честному человеку, несведущему, но тем не менее уважающему себя.

Чувствую, что судилищу, пред которым я готовлюсь предстать, трудно будет согласиться с тем, что я намерен высказать. Как осмелиться осуждать науки пред лицом одного из самых ученых обществ Европы, восхвалять невежество в знаменитой Академии и примирить презрение к учению с уважением к истинным ученым? Я предвидел эти противоречия, но они меня не устрашили, ибо я сказал себе: «Не науку оскорбляю я, а защищаю добродетель перед добродетельными людьми, которым дороже честность, чем ученым образованность». Чего же мне опасаться?..

[…] До того времени, как искусство придало лоск нашим манерам и научило наши страсти говорить жеманным языком, наши нравы были грубы, но естественны, и по различию поведения можно было с первого взгляда определить различие характера. Человеческая натура, в сущности, была не лучше, чем ныне, но люди черпали уверенность в легкости взаимного понимания, и это преимущество, ценности которого мы уже не чувствуем, сберегало их от многих пороков.

Теперь, когда изысканность и утонченный вкус свели искусство нравиться к определенным правилам, в наших нравах воцарилось пошлое и обманчивое однообразие, и кажется, что все умы отлиты по одному образцу. Вежливость предъявляет бесконечные требования, приличия повелевают; люди постоянно следуют обычаю, а не собственному разуму и не смеют казаться тем, что они есть на самом деле. Покоряясь этому вечному принуждению, люди, образующие то стадо, которое называется обществом, будучи поставлены в одинаковые условия, совершают одинаковые поступки, если их от этого не удерживают более сильные побуждения. Поэтому никогда не знаешь наверное, с кем имеешь дело, и, чтобы узнать друг друга, надо дождаться крупных событий, то есть времени, когда уже будет поздно, ибо для этих-то событий и было бы важно знать, кто твой друг. Какая вереница пороков сопровождает эту неуверенность! Нет ни искренней дружбы, ни настоящего уважения, ни полного доверия, и под однообразной и вероломной маской вежливости, под этой хваленой учтивостью, которою мы обязаны просвещению нашего века, скрываются подозрения, опасения, недоверие, холодность, задние мысли, ненависть и предательство. Люди не станут произносить имя творца всуе, но извергнут хулу на него так, что наш деликатный слух не будет оскорблен. Не станут похваляться собственными достоинствами, но унизят заслуги других. Не станут грубо поносить своего врага, но искусно оклевещут его. Прекратится национальная вражда, но исчезнет и любовь к родине. Презренное невежество сменится опасным пирронизмом. Одни излишества и пороки будут изгнаны и заклеймены, зато другие украсятся названием добродетелей, и нужно будет либо обладать ими, либо делать вид, что обладаешь. Пусть, кто хочет, восхваляет воздержанность мудрецов нашего времени, что касается меня, то я вижу в ней лишь утонченную неумеренность, так же мало заслуживающую моей похвалы, как и их лукавая простота.

Такова приобретенная нами чистота нравов; мы стали порядочными людьми, и нужно оказать должное литературе, наукам и искусствам: они немало способствовали этому благородному делу. Прибавлю только одно соображение: если бы обитатель какой-нибудь отдаленной страны хотел составить себе представление о европейских нравах по состоянию наших наук, совершенству наших искусств, благопристойности наших зрелищ, учтивости наших манер, приветливости наших речей, по постоянным проявлениям нашей благожелательности и по шумному соревнованию в любезности людей всех возрастов и состояний, которые, кажется, только и заботятся с раннего утра до позднего вечера о том, как бы услужить друг другу,– такой иностранец составил бы о наших нравах мнение, прямо противоположное тому, что есть на самом деле.

[…] Станем ли мы рыться в анналах всемирной истории или, оставив в стороне сомнительные летописи, обратимся к философским исследованиям, – мы не найдем причин возникновения человеческих знаний, которые отвечали бы нашим обычным представлениям. Астрономия имеет своим источником суеверие; красноречие – честолюбие, ненависть, лесть, ложь; геометрия – корыстолюбие; физика – праздное любопытство; все науки, и даже мораль, – человеческую гордыню. Следовательно, наши науки и искусства обязаны своим происхождением нашим порокам; мы не так сомневались бы в преимуществах наук и искусств, если бы они были порождены нашими добродетелями.

[…] Сколько подводных камней, сколько ложных путей в научных исследованиях! Истина достигается ценою множества заблуждений, и опасность этих заблуждений во сто крат превышает пользу от этих истин. Невыгода очевидна; проявления лжи – бесконечно разнообразны, тогда как истина – одна. Да к тому же,– кто ее искренне ищет? И даже при самых лучших намерениях, по каким признакам ее можно безошибочно узнать? Оглушаемые разноголосицей мнений, что мы примем за критерий истины? И самое трудное: если, по счастью, найдем наконец такой критерий, кто из нас сумеет правильно воспользоваться им?

Если для достижений той цели, которую ставят перед собою наши науки, они бесполезны, то по производимому ими действию они еще и опасны. Будучи порождены праздностью, они в свою очередь питают ее; первый ущерб, неминуемо причиняемый ими обществу,– непоправимая потеря времени. В политике, как и в морали, не делать добра значит творить зло, и всякий бесполезный гражданин может рассматриваться как вредный для общества. Итак, знаменитые философы,– вы, благодаря которым мы знаем законы взаимного притяжения тел в пустоте, знаем, в каких отношениях при обращении планет находятся пройденные ими за одинаковое время расстояния, какие кривые имеют точки сопряжения, уклонения и изгиба, как человек познает бога, как душа и тело, не сообщаясь между собой, тем не менее согласуются, подобно стенным и башенным часам, которые показывают одно и то же время, какие из звезд могут быть обитаемы, какие насекомые размножаются необычным способом,– вы, от кого мы приобрели столько возвышенных познаний, ответьте мне, разве мы были бы малочисленнее, разве нами хуже управляли бы, разве нас меньше бы страшились бы враги, разве мы не достигли бы нынешнего процветания или глубже бы погрязли в пороках, если бы вы никогда не научили нас всем этим вещам? Не считайте же столь важной свою деятельность: но если даже труды просвещеннейших ученых и лучших граждан приносят нам так мало пользы, то что же мы должны думать о толпе невежественных писателей и праздных ученых, которые высасывают соки из государства, ничего не давая ему взамен?

[…] Размышляя о нравах, нельзя не вспомнить с удовольствием о простоте обычаев древности. Это чудный берег, украшенный лишь руками самой природы, к которому беспрестанно обращаются наши взоры и от коего, к нашему прискорбию, мы уже далеки. Когда люди, будучи невинны и добры, хотели, чтобы боги были свидетелями их поступков, они жили с ними под одним кровом в своих бедных хижинах, но вскоре зло проникло в их сердца, и они пожелали отделаться от этих неудобных свидетелей и удалили их в роскошные храмы. Наконец люди изгнали их и из храмов, чтобы самим там поселиться, по крайней мере жилища богов перестали отличаться от домов граждан. Это было полное растление нравов, и пороки укоренились как никогда, с тех пор, как их, так сказать, вознесли на пьедестал мраморных колонн у входа во дворцы вельмож и запечатлели на коринфских капителях.

По мере того как умножаются жизненные удобства, совершенствуются искусства и распространяется роскошь, истинное мужество теряет силу, военные доблести исчезают, и все это является плодами наук и искусств, вышедших из тиши кабинетов. Когда готы опустошили Грецию, то все ее библиотеки были спасены от сожжения лишь потому, что один из победителей посоветовал оставить врагам эту рухлядь, которая так хорошо отвращает их от ратного дела, доставляя им праздное развлечение и обрекая на сидячий образ жизни […]

*(Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о науках и искусствах //Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2-х т. Т.2. –М., 1981. С.20-42)*

**Об Общественном договоре,**

**или Принципы политического права**

КНИГА I

Г л а в а II. **О первых обществах**

Самое древнее из всех обществ и единственно естественное — это семья. Но ведь и в семье дети связаны с отцом лишь до тех пор, пока нуждаются в нем. Как только нужда эта пропадает, естественная связь рвется. Дети, избавленные от необходимости повиноваться отцу, и отец, свободный от обязанности заботиться о детях, вновь становятся равно независимыми. Если они и остаются вместе, то уже не в силу естественной необходимости, а добровольно; сама же семья держится лишь на соглашении.

Эта общая свобода есть следствие природы человека. Первый ее закон — самосохранение, ее первые заботы — те, которыми человек обязан самому себе, и как только он вступает в пору зрелости, он уже только сам должен судить о том, какие средства пригодны для его самосохранения, и так он становится сам себе хозяином.

Таким образом, семья — это, если угодно, прообраз политиче­ских обществ, правитель — это подобие отца, народ — детей, и все, рожденные равными и свободными, если отчуждают свою свободу, то лишь для своей же пользы. Вся разница в том, что в семье любовь отца к детям вознаграждает его за те заботы, которыми он их ок­ружает,— в Государстве же наслаждение властью заменяет любовь, которой нет у правителя к своим подданным.

Гроций отрицает, что у людей всякая власть устанавливается для пользы управляемых: в качестве примера он приводит рабство. Чаще всего в своих рассуждениях он видит основание права в су­ществовании соответствующего факта. Можно было бы применить методу более последовательную, но никак не более благоприятную для тиранов […]

Г л а в а VI. **Об общественном соглашении**

Я предполагаю, что люди достигли того предела, когда силы, препятствующие им оставаться в естественном состоянии, превосходят в своем противодействии силы, который каждый индивидуум может пустить в ход, чтобы удержаться в этом состоянии. Тогда это изна­чальное состояние не может более продолжаться, и человеческий род погиб бы, не измени он своего образа жизни.

Однако, поскольку люди не могут создавать новых сил, а могут лишь объединять и направлять силы, уже существующие, то у них нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими людьми, образовать сумму сил, способную преодолеть противодей­ствие, подчинить эти силы одному движителю и заставить их дейст­вовать согласно.

Эта сумма сил может возникнуть лишь при совместных действиях многих людей; но — поскольку сила и свобода каждого человека — суть первые орудия его самосохранения — как может он их отдать, не причиняя себе вреда и не пренебрегая теми заботами, которые есть его долг по отношению к самому себе? Эта трудность, если вернуться к предмету этого исследования, может быть выражена в следующих положениях:

«Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов ассо­циации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчи­няется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». Такова основная задача, которую разрешает Общест­венный договор.

Статьи этого Договора определены самой природой акта так, что малейшее видоизменение этих статей лишило бы их действенности и полезности; поэтому, хотя они, пожалуй, и не были никогда точно сформулированы, они повсюду одни и те же, повсюду молчаливо принимаются и признаются до тех пор, пока в результате нарушения общественного соглашения каждый не обретает вновь свои первона­чальные права и свою естественную свободу, теряя свободу, полу­ченную по соглашению, ради которой он отказался от естественной.

Эти статьи, если их правильно понимать, сводятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассо­циации со всеми его правами в пользу всей общины; ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех; а раз условия равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других.

Далее, поскольку отчуждение совершается без каких-либо изъя­тий, то единение столь полно, сколь только возможно, и ни одному из членов ассоциации нечего больше требовать. Ибо, если бы у част­ных лиц оставались какие-либо права, то, поскольку теперь не было бы такого старшего над всеми, который был бы вправе разрешать споры между ними и всем народом, каждый, будучи судьей самому себе в некотором отношении, начал бы вскоре притязать на то, чтобы стать таковым во всех отношениях; естественное состояние продол­жало бы существовать, и ассоциация неизбежно стала бы тираниче­ской или бесполезной.

Наконец, каждый, подчиняя себя всем, не подчиняет себя ни­кому в отдельности, и так как нет ни одного члена ассоциации, в от­ношении которого остальные не приобретали бы тех же прав, которые они уступили ему по отношению к себе, то каждый приобретает эквивалент того, что теряет, и получает больше силы для сохранения того, что имеет.

Итак, если мы устраним из общественного соглашения то, что не составляет его сущности, то мы найдем, что оно сводится к сле­дующим положениям: *Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого.*

Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное Целое, состоящее из стольких членов, сколько голосов насчитывает общее собрание. Это Целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее *я*, свою жизнь и волю. Это лицо юридическое, образующееся, следовательно, в результате объединения всех дру­гих, некогда именовалось *Гражданской общиной*, ныне же именуется *Республикою* или *Политическим организмом*: его члены называют этот Политический организм *Государством*, когда он пассивен, *Суве­реном*, когда он активен, *Державою* - при сопоставлении его с ему подобными. Что до членов ассоциации, то они в совокупности по­лучают имя народа, а в отдельности называются гражданами как участвующие в верховной власти и подданными как подчиняющиеся законам Государства. Но эти термины часто смешиваются, и их при­нимают один за другой; достаточно уметь их различать, когда они употребляются во всем их точном смысле.

Г л а в а VII. **О суверене**

Из этой формулы видно, что акт ассоциации содержит взаимные обязательства всего народа и частных лиц и что каждый индивидуум, вступая, так сказать, в договор с самим собою, оказывается приняв­шим двоякое обязательство, именно: как член суверена в отношении частных лиц и как член Государства по отношению к суверену. Но здесь нельзя применить то положение гражданского права, что никто не обязан выполнять обязательства, взятые перед самим собой, ибо велико различие между обязательствами, взятыми перед самим со­бою, и обязательствами, взятыми по отношению к целому, часть ко­торого ты составляешь.

Следует еще заметить, что, поскольку каждый выступает в двоя­ком качестве, решение, принятое всем народом, может иметь обяза­тельную силу в области отношений всех подданных к суверену, но не может, по противоположной причине, наложить на суверена обя­зательства по отношению к себе самому, и что, следовательно, если бы суверен предписал сам себе такой закон, от которого он не мог бы себя освободить,— это противоречило бы самой природе Полити­ческого организма. Поскольку суверен может рассматривать себя лишь в одном-единственном отношении, то он попадет в положение частного человека, вступающего в соглашение с самим собою; раз так, нет и не может быть никакого основного закона, обязательного для Народа в целом, для него не обязателен даже Общественный договор. Это, однако, не означает, что Народ, как целое, не может взять на себя таких обязательств по отношению к другим, которые не нарушают условий этого Договора, ибо по отношению к чуже­земцу он выступает как обычное существо, как индивидуум.

Но политический организм или суверен, который обязан своим существованием лишь святости Договора, ни в коем случае не может брать на себя таких обязательств, даже по отношению к другим, которые сколько-нибудь противоречили бы этому первоначальному акту, как, например, отчуждение какой-либо части самого себя или подчинение себя другому суверену. Нарушить акт, благодаря кото­рому он существует, значило бы уничтожить самого себя, а ничто ничего и не порождает.

Как только эта масса людей объединяется таким путем в одно целое, уже невозможно причинить вред ни одному из его членов, не задевая целое, и тем более нельзя причинить вред целому так, чтобы члены его этого не почувствовали. Стало быть, и долг и выгода в равной мере обязывают обе договаривающиеся стороны взаимно помогать друг другу; и одни и те же люди должны стремиться исполь­зовать в этом двояком отношении все преимущества, которые дает им объединение.

Итак, поскольку суверен образуется лишь из частных лиц, у него нет и не может быть таких интересов, которые противоречили бы интересам этих лиц; следовательно, верховная власть суверена ни­сколько не нуждается в поручителе перед подданными, ибо невоз­можно, чтобы организм захотел вредить всем своим членам; и мы увидим далее, что он не может причинять вред никому из них в от­дельности. Суверен уже в силу того, что он существует, является всегда тем, чем он должен быть.

Но не так обстоит дело с отношениями подданных к суверену; несмотря на общий интерес, ничто не могло бы служить для суверена порукою в выполнении подданными своих обязательств, если бы он не нашел средств обеспечить их верность себе.

В самом деле, каждый индивидуум может, как человек, иметь особую волю, противоположную общей или несходную с этой общей волей, которой он обладает как гражданин. Его частный интерес может внушать ему иное, чем то, чего требует интерес общий. Само его естественно независимое существование может заставить его рассматривать то, что он должен уделять общему делу, лишь как безвозмездное приношение, потеря которого будет не столь ощу­тима для других, сколь уплата этого приношения обременительна для него, и если бы он рассматривал то юридическое лицо, которое составляет Государство, как отвлеченное существо, поскольку это не человек, он пользовался бы правами гражданина, не желая исполнять обязанностей подданного; и эта несправедливость, усу­губляясь, привела бы к разрушению Политического организма.

Итак, чтобы общественное соглашение не стало пустою формаль­ностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, и это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным. Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости: условие это составляет секрет и двигательную силу политической машины, и оно одно только делает законным обязательства в гражданском обществе, которые без этого были бы бессмысленными, тираническими и открывали бы путь чудовищнейшим злоупотреблениям.

Г л а в а VIII. **О гражданском состоянии**

Этот переход от состояния естественного к состоянию граждан­скому производит в человеке весьма приметную перемену, заменяя в его поведении инстинкт справедливостью и придавая его действиям тот нравственный характер, которого они ранее были лишены. Только тогда, когда голос долга сменяет плотские побуждения, а право — желание, человек, который до сих пор считался только с самим собою, оказывается вынужденным действовать сообразно другим принципам и советоваться с разумом, прежде чем следовать своим склонностям. Хотя он и лишает себя в этом состоянии многих преимуществ, полученных им от природы, он вознаграждается весьма значительными другими преимуществами; его способности упраж­няются и развиваются, его представления расширяются, его чувства облагораживаются, и вся его душа возвышается до такой степени, что если бы заблуждения этого нового состояния не низводили часто человека до состояния еще более низкого, чем то, из которого он вышел, то он должен был бы непрестанно благословлять тот счаст­ливый миг, который навсегда вырвал его оттуда и который из ту­пого и ограниченного животного создал разумное существо — че­ловека.

Сведем весь этот итог к легко сравнимым между собой положе­ниям. По Общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может завладеть; приобретает те он свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает. Чтобы не ошибиться в опре­делении этого возмещения, надо точно различать естественную сво­боду, границами которой является лишь физическая сила индиви­дуума, и свободу гражданскую, которая ограничена общей волей, а также различать обладание, представляющее собой лишь результат применения силы или право того, кто пришел первым, и собствен­ность, которая может основываться лишь на законном документе.

К тому, что уже сказано о приобретениях человека в граждан­ском состоянии, можно было бы добавить моральную свободу, которая одна делает человека действительным хозяином самому себе; ибо поступать лишь под воздействием своего желания есть рабство, а подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода. Но я уже и так сказал по этому вопросу более, чем достаточно, а определение философского смысла слова *свобода* не входит в данном случае в мою задачу.

КНИГА II

Г л а в а VII. **О законодателе**

[…] Тот, кто берет на себя смелость дать установления какому-либо народу, должен чувствовать себя способным изменить, так ска­зать, человеческую природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое замкнутое и изолированное целое, в часть более крупного целого, от которого этот индивидуум в извест­ном смысле получает свою жизнь и свое бытие; переиначить орга­низм человека, дабы его укрепить; должен поставить на место физи­ческого и самостоятельного существования, которое нам всем дано природой, существование частичное и моральное. Одним словом, нужно, чтобы он отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен другие, которые были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без содействия других. Чем больше эти естест­венные силы иссякают и уничтожаются, тем более прочным и совершенным становится также и первоначальное устройство; так что, если каждый гражданин ничего собою не представляет и ничего не может сделать без всех остальных, а сила, приобретенная целым, равна сумме естественных сил всех индивидуумов или превышает эту сумму, то можно сказать, что законы достигли той самой высокой степени совершенства, какая только им доступна […]

Г л а в а XI. **О различных системах законодательств**

[…] Устройство Государства становится воистину прочным и долговечным, когда сложившиеся в нем обычаи соблюдаются на­столько, что естественные отношения и законы всегда совпадают в одних и тех же пунктах, и последние, так сказать, лишь укреп­ляют, сопровождают, выправляют первые. Но если Законодатель, ошибаясь в определении своей цели, следует принципу, отличному от того, что вытекает из природы вещей; если один из принципов ведет к порабощению, а другой — к свободе; один — к накоплению богатства, другой — к увеличению населения; один — к миру, дру­гой — к завоеваниям, тогда законы незаметно теряют свою силу, внутреннее устройство испортится, и волнения в Государстве не утихнут до тех пор, пока оно не подвергнется разрушению или изме­нениям и пока неодолимая природа не вступит вновь в свои права.

*(Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права //Руссо Ж.-Ж. Указ.соч. С.170-177)*

*ДЕНИ ДИДРО (1713–1784), французский философ, романист и художественный критик. Сначала был верующим христианином, затем скептиком и деистом (вера в Бога как творца мироздания, «перводвигателя»). Творчество зрелого Дидро-философа характеризует его как атеиста, материалиста и детерминиста. Его философским кумиром был Фрэнсис Бэкон.*

Дидро высказал мысль, что от молекулы до человека тянется цепь существ, переходящих от состояния «живого оцепенения» до состояния максимального расцвета разума. Атомы являются носителями ощущений, из которых возникает мышление. Из соприкосновения этих атомов возникает единое сознание человечества и вселенной.

Вместе со своим другом Ж.Л.Даламбером он стоял во главе огромного нового начинания, названного Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел. Усилиями Дидро и Даламбера этот труд превратился во всеобъемлющее обозрение современного состояния знаний во Франции. К работе над Энциклопедией привлекли многих выдающихся представителей науки и искусства, включая Вольтера. Дидро занимался историей философии и ремесел.

*Дидро отличался искрящимся остроумием, выдающимся литературным даром, глубиной и тонкостью мысли, остро выраженным демократизмом.*

# О ДОСТАТОЧНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ

I. Естественная религия есть творение Бога или людей. Нельзя сказать, что людей, поскольку она служит основанием религии откровения.

Если же это творение Бога, я спрашиваю: с какой целью Бог дал ее людям? Целью религии, которая исходит от Бога, может быть только познание необходимых истин и отправление основных обязанностей.

Религия была бы недостойна Бога и человека, если бы она преследовала другую цель.

Следовательно, или Бог не дал людям религии, которая отвечала бы преследуемой им цели, что было бы нелепо, так как это предположило бы в нем отсутствие могущества или злую волю, или же человек получил от него то, в чем нуждался. Следовательно, ему не надобно было других знаний, нежели те, что он получил от природы […]

II. Если бы естественная религия была недостаточной, она была бы недостаточной или в себе самой, или относительно состояния человека.

Но нельзя сказать ни того, ни другого. Ее недостаточность в себе самой была бы ошибкой Бога. Ее недостаточность в отношении состояния человека предполагала бы, что Бог мог бы сделать естественную религию достаточной, а, следовательно, религию откровения – ненужной, изменив состояние человека. Это то, о чем религия откровения говорить не позволяет […]

III. Естественная религия была бы достаточной, если бы Бог не мог взыскивать с меня больше, чем предписывает мне естественный закон. Но Бог не может взыскивать с меня больше, чем предписывает мне этот закон, потому что это его закон и от него зависело лишь в какой-то степени отягчить его наставлениями…

Итак, естественный закон был таким же достаточным для первых людей, как тот же самый закон после его усовершенствования стал достаточным для их потомков […]

V. Если естественный закон был усовершенствован, то – либо посредством истин, которые нам были открыты, либо посредством добродетелей, о которых люди не ведали. Но нельзя утверждать ни того, ни другого. Закон откровения не содержит никакого морального наставления помимо того, что я нахожу заповеданным и используемым при естественном законе. Стало быть, он не научил нас ничему новому в отношении морали. Закон откровения не принес нам никакой новой истины. Ибо что такое истина, если не положение относительно объекта, выраженное в словах, представляющихся мне ясными идеями, взаимосвязь которых я постиг? Но религия откровения не дала нам никаких таких положений. То, что она прибавила к естественному закону, состоит в пяти или шести положениях, которые для меня не более вразумительны, чем если бы они были начертаны иероглифами, потому что идей, представленные в словах, и связь этих идей между собой целиком ускользают от меня […]

VI. Религия, которая наилучшим образом согласуется .с благостью Бога, есть лучшая религия. А естественная религия согласуется с благостью Бога, потому что один из признаков благости Бога – не судить лицеприятно. Естественный же закон лучше всех законов согласуется с этим признаком, ибо о нем действительно можно сказать, что это свет, который человек, рождаясь, несет в мир.

VII. Религия, которая наилучшим образом согласуется с правосудием Бога, есть лучшая религия. А естественная религия, или естественный закон, лучше всех религий согласуется с правосудием. Люди, представшие перед су дом божьим, будут судимы по какому-то закону. Если Бог судит людей по естественному закону, он не совершит ничего неправосудного в отношении кого-либо из них, потому что они все от рождения знают этот закон. Но если он судит их по какому-то другому закону, закону, который не известен всем как естественный закон, тогда будет среди людей тот, кто испытает неправосудие. Отсюда следует, что либо Бог каждого человека будет судить согласно закону, который он будет точно соблюдать, либо если он будет судить всех по одному и тому же закону, то это может быть только естественный закон, который равно известен всем и равно всех обязывает […]

IX. Цицерон, говорит автор «Философских мыслей», желая доказать, что римляне – самый воинственный народ на земле, ловко вытянул это признание из уст их соперников. Галлы, кому уступаете вы в смелости, если вы уступаете в этом кому-то? – Римлянам. Парфяне, кто наихрабрейшие после вас? – Римляне. Африканцы, кого устрашились бы вы, если бы вам было кого страшиться? – Римлян. Спросим, например, приверженцев прочих религий, говорит автор «Мыслей». Китайцы, какая религия оказалась бы лучшей, если бы таковой не была ваша? – Естественная религия. Мусульмане, какой культ приняли бы вы, если бы вы отреклись от Магомета? – Натурализм. Христиане, какая религия является истинной религией, кроме христианства? – Религия иудеев. А для вас, евреи, какая религия истинна, если иудаизм ложен? – Натурализм. Но те, продолжают Цицерон и автор «Мыслей», кому единодушно отводят второе место и кто не уступают первого никому,– те неоспоримо заслуживают этого первенства.

Х. Религия, которая считает разумные существа самыми разумными существами, – такая религия, но мнению разумных существ, самая мудрая, так как она не заставляет их верить во что-то, что было бы выше их разума и что не было бы в ней сообразным.

XI. Религия; которая более представляет божественные свойства, должна быть предпочтительно принята всякой другой. А естественная религия более всех других представляет божественные свойства, поскольку в других культах нет никаких божественных свойств, которые не были бы признаны в естественной религии. В ней есть и то, чего другие религии не имеют: непреложность и всеобщность.

XII. Что представляет собой достаточная и всеобщая благость? Это благость, которая даруется всем людям, в силу которой они всегда могут выполнить свои обязанности и порой выполняют их.

Какая религия будет достаточной, если не естественная, религия, данная всем людям, благодаря которой они всегда могут выполнить свои обязанности и порой выполняют их? Отсюда следует, что естественная религия не только не является недостаточной, но что, собственно говоря, это единственная религия, которая достаточна, и что будет бесконечно более нелепым отрицать необходимость достаточной и всеобщей религии, как и необходимость всеобщей и достаточной. благости. Но нельзя отрицать необходимость всеобщей и достаточной благости, не впадая в непреодолимые противоречия; следовательно, нельзя отрицать и необходимости достаточной и всеобщей религии. Итак, естественная религия – единственная, которая обладает этим свойством.

XIII. Если же естественная религия является каким-либо образом недостаточной, из этого следует, что либо ей никогда точно не следовал хотя бы один человек, не знавший и других религий, либо люди, которые точно исполняли один-единственный известный им закон, были бы наказаны или вознаграждены …

XIV. Из всех религий предпочтительнее та, истина которой имеет больше доказательств и меньше возражений. Но естественная религия как раз такова, так как никто не выдвигает против нее никаких возражений и все приверженцы других религий согласны признать в ней истину […]

XVI. Если Бог не дал людям никакого средства, достаточного для того, чтобы они могли выполнить свои обязанности, то это не означает по крайней мере, что делать людям зло заключено в его природе. А недостаточное средство не может быть хорошим, ибо первое отличительное свойство хорошего средства – быть достаточным. Но если ли бы естественная религия была совершенно достаточной в силу благости и всеобщего знания, чтобы служить людям на пути честности, кто убедит меня в том, что этого никогда не случалось. Впрочем, религия откровения будет существовать именно как лучшая, а не по совершенной необходимости. И если случалось натуралисту быть твердым в благе, он был бы более достойным, чем христианин, потому что они один за другим делают то же дело, но натуралист с бесконечно меньшим вспоможением.

XVII. Но я прошу, чтобы мне искренно сказали, какой из двух религий легче всего следовать, естественной религии или христианской. Если естественной религии – в чем, как я полагаю, нельзя усомниться,– то христианство представляет собой лишь добавочное бремя и, следовательно, более не является благостью, что слишком трудно, в то время как это же можно было сделать проще. Если же на этот вопрос мне ответят, что легче следовать христианскому закону, то вот мои доводы. Христианскому закону тем труднее следовать, что его наставления многочисленнее и строже […]

XVIII. Все, что имеет начало, будет иметь конец, и все, что вовсе не начиналось, никогда не кончится. Так вот, христианство началось, начался иудаизм, и нет ни одной религии на земле, время возникновения которой не было бы известно, за исключением естественной религии; следовательно, только она никогда не закончится, а все другие пройдут.

XIX. Из двух религий предпочтительнее должна быть та, что наиболее очевидно исходит от бога и наименее – от людей. А естественный закон очевидно исходит от Бога, и он бесконечно более очевидно исходит от Бога, чем очевидно, что какая-то другая религия не исходит от людей…

XX. Та религия является более предпочтительной, что наиболее сообразна с природой Бога; а ведь естественный закон наиболее сообразен с природой Бога. Быть нетленным – исходит из природы Бога; ведь нетленность скорее соответствует естественному закону, чем какому-либо другому. Ибо наставления других законов записаны в книгах, подверженных всем последствиям дел человеческих – отмене, истолкованию в худую сторону, запутыванию и т. д. Но естественная религия, записанная в сердце, в безопасности в нем от всех превратностей, и если она может претерпеть какую-либо перемену из-за предрассудков и страстей, то эти несообразные с ней перемены являются общими другим культам, впрочем, они могут быть вызваны своими собственными причинами…

XXIII. Та религия предпочтительнее всех других, которая может приносить только добро и никогда – зло. Но ведь таков естественный закон, высеченный в сердцах всех людей. В себе самих найдут они все предписания для признания его, тогда как другие религии, основанные на принципах, чуждых человеку и, следовательно, неизбежно темных, в большинстве своем не могут не породить распрей. Впрочем, нужно признать то, что подтверждает опыт. Из опыта же следует, что мнимо откровенные религии принесли тысячу несчастий, вооружили одних людей против других и потопили всю землю в крови. А ведь естественная религия не стоила и слезинки роду человеческому […]

XXV. Нельзя ли сказать, что все религии мира просто секты естественной религии и что иудеи, христиане, мусульмане и даже язычники также лишь натуралисты -еретики и натуралисты-схизматики?

XXVI. Нельзя ли на этом основании утверждать, что естественная религия – единственная подлинно существующая? […]

XXVII. Истина естественной религии в отношении истины других религий неоспорима, что я признаю сам и в чем признаются мне другие; это то, что я чувствую, и то, что я слышу; это то, что я нахожу записанным во мне самом перстом божьим, и то, что люди суетные, суеверные и лживые начертали на листе или высекли на камне; это то, что я несу в себе самом и встречаю всюду, то, что не зависит от меня и изменяется вместе с обстоятельствами; это то, что никогда искренно не было опровергнуто, не отвергается сейчас и не будет отвергнуто в дальнейшем… то, что сближает людей цивилизованных и варваров, христиан, неверных и язычников, почитателей Иеговы, Юпитера и Бога, философов и народ, ученого и невежду, старца и ребенка, так же как мудрого и безрассудного; и это то, что отдаляет отца от сына, вооружает человека против человека, обращает ученого и мудреца к ненависти и преследованию невежественных и иступленных и орошает время от времени землю их кровью; что тот, кого принимают за святого и величественного все народы земли, и тот, кто был проклят всеми народами, за исключением одного; тот, кто вознес до неба во всех частях света гимн и хвалу, и тот, кто пустил на свет анафему, нечестие, осквернения и богохульство; тот, кто нарисовал мне вселенную как одну-единственную огромную семью, в которой бог – первый отец; и тот, кто представил мне людей разделенными на горстки, находящимися во власти толпы свирепых и зловещих демонов, которые вкладывают им в правую руку кинжал, а в левую – факел и вдохновляют их на убийства, разорения и разрушения.

Грядущие века будут все больше окрашивать одну из этих картин самыми прекрасными красками, а другую – омрачать самыми черными тенями. В то время как культы, которые избрали себе люди, будут продолжать обесславливаться в умах людей из-за их сумасбродства и злодеяний, естественная религия увенчается новым подъемом и, может быть, прикует к себе, наконец, взгляды всех людей и заставит их себе поклоняться. И тогда люди создадут единое общество и откажутся от этих причудливых законов, которые, кажется, выдуманы лишь для того, чтобы сделать их коварными и преступными, и они будут прислушиваться лишь к зову природы, и тогда они, наконец, вновь станут простодушными и добродетельными…

*(Дидро Д. О достаточности естественной религии //Дидро Д. Соч. в 2 т. Т.1. М., 1986. С. 188-199)*

*Поль Анри Дитрих, барон Гольбах (1723-1789), родился в городе Гейдельсгейме в Пфальце, воспитывался и провел всю жизнь в Париже. Унаследовав огромное состояние, он обосновался в окрестностях Парижа, посвящая себя занятиям науками. Обладая обширными познаниями в области естественных наук, он был деятельным сотрудником "Энциклопедии"; написал ряд статей по физике, химии, металлургии и минералогии.*

*Среди сочинений Гольбаха самыми известными являются: "Система природы", "Естественная политика", "Социальная система", "Всеобщая мораль". Типично антирелигиозными произведениями были: "О религиозной жестокости", "Лицемерие священников", "Разоблаченное христианство", "Критический анализ жизни и сочинений святого Павла", "Критическая история Иисуса Христа", "Здравый смысл, или Естественные идеи, противопоставленные идеям сверхъестественным" и др.*

*"Система природы" — главный труд Гольбаха, по словам современников, стал "библией атеистического материализма"; это синтез всех древних и новых доводов в пользу материалистическою и атеистического объяснения действительности (здесь особенно чувствуется влияние Ламетри). Не обладая большой философской оригинальностью, эта работа имеет огромное историческое значение. Она послужила мощным ударом по обскурантизму в защиту идей Просвещения, обличала существующий политический строй и призывала к революции. Можно добавить, что это философский гимн природе, понимаемой только в физическом смысле.*

**Система природы,**

или о законах мира физического и мира духовного

Люди будут всегда заблуждаться, если ради порожденных воображением систем они станут пренебрегать опытом. Человек – дело рук природы, он существует в природе, он подчинен ее законам, он не может освободиться от нее; он не может – даже в мысли – выйти из природы. Тщетно дух его желает ринуться за грани видимого мира – он всегда вынужден вернуться обратно. Для существа, созданного природой, ограниченного ею, не существует ничего, помимо того великого целого, часть которого оно составляет и воздействия, которого оно испытывает. Отличные от природы или стоящие над ней предполагаемые существа всегда останутся призраками, и никогда мы не сумеем составить себе правильных представлений о них, равно как и об их местопребывании и образе действия. Нет – и не может быть – ничего вне ограды, объемлющей в себе все сущее.

Поэтому пусть человек перестанет искать вне рамок обитаемого им мира существ, способных дать ему то счастье, в котором ему отказывает природа; пусть он изучает эту природу; пусть он узнает ее законы, пусть созерцает ее энергию и неизменный образ действия; пусть он применит свои открытия для достижения собственного счастья и молча подчинится законам, от действия которых ничто не может его избавить; пусть он примирится с незнанием причин, окруженных для него непроницаемой завесой; пусть он безропотно покорится велениям универсальной силы, которая никогда не возвращается вспять и никогда не может нарушить правил, наложенных на нее ее собственной сущностью.

Мыслители явно злоупотребляли столь часто проводившимся различением между *физическим* человеком и человеком *духовным*. Человек есть чисто физическое существо; духовный человек – это то же самое физическое существо, рассматриваемое только под известным углом зрения, т.е. по отношению к некоторым его способам действия, обусловленным особенностями его организации. Но разве эта организация не есть дело рук природы? Разве доступные ей движения или способы действия не являются физическими? Видимые действия человека, равно как и совершающиеся внутри его невидимые движения, порожденные его волей или мыслью, являются тоже естественным результатом, неизбежными следствиями его собственного механизма и получаемых им от окружающих его существ импульсов. Все, что придумала в ходе истории человеческая мысль, чтобы изменить или улучшить существование человека и чтобы сделать его более счастливым, было всегда лишь неизбежным результатом собственной сущности человека и воздействующих на него живых существ. Все наши учреждения, наши размышления, наши познания имеют своей целью только доставить нам то счастье, непрерывно стремиться к которому нас заставляет наша собственная природа. Все, что мы делаем или мыслим, все, чем мы являемся и чем мы будем, оказывается всегда лишь следствием того, чем нас сделала всеобъемлющая природа: все наши идеи, наши желания, наши действия представляют собой необходимый результат сущности и качеств, вложенных в нас этой природой, и обстоятельств, которые она заставляет нас испытывать и которые видоизменяют нас...

Природа выпускает человека голым и беспомощным в этот мир, призванный быть его местопребыванием; вскоре он начинает носить в виде одеяния шкуры, а затем, мало-помалу, прясть золото и шелк. Для существа, которое жило бы в заоблачных высотах, откуда оно могло бы созерцать человеческий род со всеми его изменениями, всем его прогрессом, люди казались бы одинаково подчиненными законам природы как тогда, когда совершенно голые, они бродят в лесах, с трудом добывая себе здесь пищу, так и тогда, когда, живя в цивилизованных, т. е. более богатых опытом обществах и утопая под конец в роскоши, они измышляют с каждым днем тысячи новых потребностей и открывают тысячи новых способов удовлетворять их. Все, что мы делаем для изменения своего существа, является лишь длинной цепью причин и следствий, представляющих только развитие полученных нами от природы первичных импульсов. Одно и то же животное, в силу своей организации, переходит последовательно от простых потребностей к потребностям более сложным, являющимся, тем не менее, продуктом его природы. Так, например, бабочка, красотой которой мы восхищаемся, представляет в начале бездушное яйцо; из него под действием теплоты выходит червяк, который становится куколкой, а затем превращается в крылатое насекомое, принимающее самую яркую окраску; достигнув этой формы, она размножается; наконец, лишившись своих украшений, она вынуждена исчезнуть, исполнив задачу, возложенную на нее природой, и совершив цикл тех превращений, которые природа начертала для существ ее вида.

Аналогичные превращения и изменения мы наблюдаем и у всех растений. Так, в результате сочетания ткани и первичной энергии, вложенной природой в алоэ, это растение, незаметно выросши и изменившись, производит по истечении длинного ряда лет цветы, возвещающие о его близкой смерти.

То же самое можно сказать о человеке, который во всех испытываемых им изменениях и превращениях поступает всегда лишь согласно законам, свойственным его организации и веществам, из которых составила его природа. Физический человек – это человек, действующий под влиянием причин, распознаваемых нами с помощью наших чувств. Духовный человек – это человек, действующий под влиянием физических причин, познать которые нам мешают наши предрассудки. Дикий человек – это дитя, лишенное опыта, не способное работать для своего счастья. Цивилизованный человек – это такой человек, которому опыт и общественная жизнь дают возможность использовать природу для своего собственного счастья. Просвещенный, добродетельный человек – это человек в стадии своей зрелости или своего совершенства. Счастливый человек – это такой человек, который умеет пользоваться благодеяниями природы. Несчастный человек – это такой человек, который не умеет пользоваться ее благодеяниями.

Следовательно, человек во всех своих изысканиях должен прибегать к опыту и к физике: их советами он должен пользоваться в своей религии, в своей морали, в своем законодательстве, в своей политике, в науках и искусствах, в своих удовольствиях и своих страданиях. Природа действует по простым, единообразным, неизменным законам, которые опыт позволяет ним познать; через посредство наших чувств мы связаны со всеобъемлющей природой, с помощью наших чувств мы можем подвергнуть ее опыту и раскрыть ее тайны; но лишь только мы покидаем опыт, как мы низвергаемся в пустоту, где нас сбивает с пути наше воображение [...]

Соединенное с размышлением наблюдение должно убедить нас в том, что все в природе находится в непрерывном движении; что нет ни одной ее части, которая пребывала бы в настоящем покое; наконец, что природа представляет собою некое действующее целое, которое перестало бы быть природой, если бы оно не действовало, или в котором при отсутствии движения ничто не могло бы происходить, сохраняться, действовать. Таким образом, идея природы заключает в себе необходимым образом идею движения. Но, спросят нас, откуда эта природа получила свое движение? Мы ответим, что от себя самой, ибо она есть великое целое, вне которого ничто не может существовать. Мы скажем, что движение – это способ существования, вытекающий необходимым образом из сущности материи; что материя движется благодаря собственной своей энергии; что ее движение происходит от присущих ей сил; что разнообразие ее движений и вытекающих отсюда явлений происходит от различия свойств, качеств, сочетаний, заключающихся первоначально в различных первичных веществах, совокупностью которых является природа [...]

В вихре пыли, поднятом бурным ветром, как бы он нам ни казался хаотичным, в ужаснейшей грозе, порожденной противоположными ветрами, вздымающими волны, нет ни одной молекулы пыли или воды, которая расположена случайно, которая не имеет своей достаточной причины, чтобы занимать то место, где она находится, и которая не действует в строгости тем способом, каким она должна действовать. Математик, который знал бы в точности различные действующие в этих двух случаях силы и свойства приведенных в движение молекул, доказал бы, что согласно этим данным причинам каждая молекула действует в точности так, как она должна действовать, и не может действовать иначе, чем она это делает.

В страшных судорогах, сотрясающих иногда политические общества и влекущих за собой часто гибель какого-нибудь государства, нет ни одного действия, ни одного слова, ни одной мысли, ни одного желания, ни одной страсти у участников революции – безразлично, активных деятелей ее или жертв, – которые не были бы необходимыми, которые не происходили бы так, как они должны происходить, которые не вызывали бы безошибочно тех именно действий, какие они должны вызвать сообразно занимаемому этими участниками месту в этом духовном вихре. Для ума, который был бы в состоянии охватить и оценить все действия и противодействия духа и тела лиц, способствующих этой революции, это было бы очевидно.

Наконец, если в природе все связано, если все движения в ней возникают друг из друга, хотя часто их скрытое взаимодействие ускользает от нашего взора, то мы должны быть уверены, что нет столь малой или отдаленной причины, которая не оказывала бы иногда на нас огромнейшего и неожиданнейшего влияния. Может быть, в бесплодных равнинах Ливии собираются первые зародыши бури, которая, уносимая ветрами, прибудет к нам, сгущая нашу атмосферу и воздействуя на настроение и страсти человека, а человек в силу сложившихся обстоятельств может влиять на множество других людей и по своему произволу решать судьбу многих народов [...]

Если мы станем судить о причинах по их следствиям, то во вселенной нет вовсе незначительных причин. В природе, в которой все связано, в которой все находится во взаимодействии, все движется и видоизменяется, складывается и разлагается, образуется и разрушается, нет ни одного атома, который не играл бы важной и необходимой роли, нет такой ничтожной молекулы, которая, в подобающей обстановке, не произвела бы поразительных действий. Если бы мы были в состоянии проследить вечную цепь, связывающую все причины с их следствиями, не теряя из виду ни одного звена ее, если бы мы могли распутать конец незаметных нитей, приводящих в движение мысли, желания, страсти тех людей, которых мы называем по их действиям могущественными, то мы нашли бы, что тайными рычагами, которыми пользуется природа, чтобы приводить в движение духовный мир, являются подлинные атомы; неожиданная и в то же время необходимая встреча этих неразличимых глазом молекул, их соединение, сочетание, их пропорция, их брожение, модифицируя мало-помалу человека, – часто без его ведома и вопреки ему самому, – заставляют его мыслить, желать, действовать определенным и необходимым образом; если его желания и его поступки влияют на многих других людей, то духовный мир приходит в величайшее движение. Излишек едкости в желчи фанатика, разгоряченность крови в сердце завоевателя, дурное пищеварение у какого-нибудь монарха, прихоть какой-нибудь женщины – являются достаточными причинами, чтобы заставить предпринимать войны, чтобы посылать миллионы людей на бойню, чтобы разрушать крепости, превращать в прах города, чтобы погружать народы в нищету и траур, чтобы вызывать голос и заразные болезни и распространять отчаяние и бедствие на длинный ряд веков.

*(Гольбах П.А. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного. -М., 1940)*

***тема 7. философская мысль в башкортостане.***

***эпос «урал-батыр»***

*«Урал-Батыр» - самое крупное произведение башкирского народного эпоса, создававшееся и обогащавшееся на протяжении столетий, начиная с эпохи разложения первобытнообщинного строя и вплоть до XIX века..*

*Композиционно состоит из трех частей, повествующих о деяниях трех поколений героев. Вначале рассказывается о первых людях Янбирде и Янбике, о рождении их сыновей Урала и Шульгана. По мере развития сюжета происходит переход от архаического мифа к конкретно-историческому осмыслению действительности. Урал и Шульган уходят из дома в поисках бессмертия. По пути Урал-батыр уничтожает жестокого хана-завоевателя Катила и царство царя змей Кахкахи; убивает Азраку – царя Подземного и Подводного царства; борется с братом Шульганом, перешедшим на сторону Зла; окропляет землю башкир живой водой и таким образом приносит ей бессмертие. В третьей части эпоса повествуется о рождении сыновей Урала и Шульгана, которые продолжают дело Урала – бьются с дивами, добывают живую воду. События в эпосе завершаются гибелью Урала. Тело батыра после его смерти превращается в гору Уралтау, символизирующую родину башкир.*

Неувядаемое общечеловеческое значение кубаира «Урал-батыр» и величайшая мудрость его создателей заключается в мысли о том, что бессмертие человека состоит не в бесконечном долголетии, а в его добрых делах на благо всего мира, всего народа.

**УРАЛ–БАТЫР**

**О том, как жили старик Янбирде и старуха Янбика; о том, как старший их сын Шульген не сдержал наказа отца, не внял словам матери; как дочь царя Самрау по имени Хумай оказалась у них в плену**

В древнюю пору, давным-давно

Было, говорят, место одно,

Куда никто не ступал ногой

(И на целом свете никто

Не знал, не ведал о суше той).

С четырех сторон обступала

Это место морская вода.

С незапамятных пор проживала

Там семейная чета:

Старик по имени Янбирде

С Янбикою, старухой своей.

Куда б они не желали пойти,

Не было преград на их пути.

Как на земле оказались той,

Где мать, отец их, где край родной,

Говорят, они сами забыли.

Так иль нет, в стороне морской

Жизни семя они заронили […]

Двое детей родились у них,

Двое сыновей удалых.

Шульгеном старшего нарекли,

Уралом младшего нарекли.

Так и жили они вчетвером,

Не видя людей, в местечке глухом.

Своего не имели скота,

Не обзаводились добром,

Даже не вешали котла

Над полыхающим костром;

Не знали, что такое болезни,

Смерть была им неизвестна;

Полагали: для всех на свете

Сами они являются смертью.

На охоту коней не седлали,

Лука и стрел еще не знали,

Приручили и держали

Льва-арслана, чтоб их возил,

Сокола, чтобы пернатых бил,

Пиявку, чтоб кровь животных сосала,

Щуку, чтоб рыбу для них хватала […]

Ну а черных пиявок болотных

В травоядных вонзали животных,

Чтобы из выцеженной крови

Себе напиток изготовить.

Малолетним детям своим,

Что охотой не промышляли,

Пить кровь, есть голову или сердце

Строго-настрого запрещали […]

И вот в один из погожих дней

Старик со старухой своей

На охоту пошли вдвоем,

Оставив жилище на сыновей […]

Шульген раздумывать долго не стал,

Хоть о запрете отцовском он знал:

С тою раковиной не шутить,

Ни за что из нее не пить,

Все ж уговаривать брата стал,

Всячески его подстрекал […]

Урал:

«Пусть та кровь и очень сладка

Я не сделаю и глотка,

Пока не вырасту я егетом,

Пока не узнаю причину запрета,

Пока не пройду по белому свету

И не уверюсь, что на свете

Больше нет и в помине Смерти,

Сукмаром никого не ударю,

Никакой не убью я твари,

Высосанной пиявкою крови

Пить не стану я — вот мое слово!» […]

Услыхав такие слова,

Шульген задумался было сперва,

Но решил он все же потом

Вновь упорствовать на своем.

Кровь отпил, и, боясь расплаты,

Задумал Уралу закрыть он рот:

И заставил поклясться брата,

Что отцу тот не донесет.

С богатой добычей вернулись домой

Старик со старухою, говорят.

По обычаю, всей семьей

Распотрошили дичь, говорят

И пред обильною едой

Уселись, довольные собой […]

Урал:

«Отец, если за Смертью пойти,

Можно ли будет ее найти?

Если ж удастся настичь, скажи,

Можно ли голову ей размозжить?»

Янбирде:

«Смерть коварна. Она ни разу

Открыто не являлась людскому глазу.

Невидимкой та тварь живет —

Никто не знает, когда нападет.

Есть тут только одна возможность:

В царстве дивов, на дальней земле,

Протекает Живой родник.

Выпьет кто из него — и вмиг

Обессмертит себя, говорят,

Смерть отступится, говорят».

*Поведав такое о Смерти и насытившись едой, ста­рик вытащил раковину, чтобы испить криви. Увидев, что содержимое раковины убавилось, Янбирде стал до­пытываться у сыновей, кто из них выпил кровь. Шульген стал изворачиваться: мол, никто к той крови не прикасался. Старик Янбирде взял палку и начал пооче­редно колотить своих сыновей. Из жалости к брату продолжал молчать и Урал, а Шульген, не выдержав, признался отцу в своей вине. Когда старик опять на­чал бить Шульгена, Урал схватил руку отца и сказал ему такие слова*

[…] Если сегодня брата убьешь,

Завтра в меня вонзишь свой нож,

Если останешься одиноким,

Сделаешься стариком глубоким,

В три погибели станешь сгибаться,

На льва не в силах будешь забраться,

В лесу охотиться, дичью питаться,

На зверя сокола запускать,

Корм охотничьим птицам давать, —

И твой лев, и собака твоя

Не помрут ли от голода тут,

Тоской глаза их не затекут? […]

*Услышав такие слова, старик Янбирде перестал бить Шульгена. «Смерть может явиться и невидимкой; наверное, это она и пришла, вот меня и искушает. Не может быть, чтобы никто не видел своими глазами Смерть. Надо расспросить зверей и птиц», — подумал он и созвал лесное население*

[…] Каждый по-своему рассуждал,

По-своему думал-гадал,

Так, к единству и не придя,

Немного времени погодя,

Разошлись они, говорят.

Сник после этого старик,

Выходить на охоту один

Стал бояться, и вовсе отвык.

Как-то четверо — всей семьей

На охоту ранней порой

Вместе отправились они.

Много дичи набив лесной,

Воротились к лачуге своей.

Средь добычи — птиц и зверей —

Была лебедушка...

[…] Стала просить она, умолять:

«Летела я, чтобы мир посмотреть […]

Мой отец — повелитель птиц —

Всюду пару искал себе,

Но не было такой на земле.

Чтобы равную отыскать,

Ринулся отец к небесам,

Встретил Солнце с Луною там,

Всей душою их полюбил .

Родилось у него двое детей.

Ни я с сестрою сводной своей,

Ни отец наш болезней не знали,

Смерти власть мы не признавали.

Отец мой поныне властвует там.

Я с мольбой обращаюсь к вам:

Отпустите же вы меня,

Ворочусь я в родные края.

Если ж съедите меня, все равно

Стать мне пищею не суждено —

Лягу внутри у вас камнем я.

Водою из Живого ручья […]

Дочь я царя, чье имя Самрау,

А зовут меня Хумай […]

Отпустите же вы меня,

Ворочусь я в родные края,

Путь к Живому роднику

Указать я вам смогу».

*Услышав такие слова, Янбирде и Янбика стали дер­жать совет с детьми. Шульген был за то, чтобы съесть птицу. Урал — за то, чтобы ее отпустить. Из-за этого они затеяли между собой ссору. Урал забрал птицу, чтобы она не досталась Шульгену, отнес ее в сторону...*

*Когда все принялись за еду, птица взмахнула здо­ровым крылом — и выпали из него три пера; когда она смочила их кровью из сломанного крыла, явились три лебедя и унесли ее с собой. Старики Янбирде и Янбика очень сожалели о том, что не смогли узнать, где нахо­дится Живой родник.*

*Старик тут же велел Шульгену и Уралу отправлять­ся вслед за ними, отыскать Живой родник. Если на пути встретится Смерть, отрубить ей голову и возвра­титься домой. Посадив двух сыновей на двух львов, проводил он их в путь.*

**О том, как прославился Урал, разгромив и уничто­жив царя Катила, и даровал людям свободу**

Урал со старшим братом вдвоем,

Считая дни, месяцы, годы,

Где через черный бурелом,

Где через горы, а где бродом —

Двигались вместе одним путем…

Повстречали они старика

С белой бородой до земли…

«Перед вами лежат два пути:

Налево пойдете — вас впереди

Смех, веселье беспечное ждут.

Там, забот и вражды не зная,

В полном согласии живут:

Волки и овцы на вольных лугах,

Лисицы и куры в густых лесах,

Птицу Самрау всем сердцем чтут,

Не едят мясо, кровь не пьют —

Смерти дорогу не дают.

Вот такая там есть страна .

На добро отвечать добром —

Обычай в краю благодатном том.

А направо пойдешь — вдоль дороги всей

Только слезы и плач людей.

Жестокости и скорби полна

Та горемычная сторона.

Царь коварный Катил в ней правит,

Кровь живую пьет у людей.

Всюду увидишь там груды костей —

Вот что ждет, коль пойдешь направо»…

И правым Урал пошел путем.

Шульген отправился левым путем […]

*По дороге Урал встречает двух женщин, рассказывающих ему о злодеяниях, которые творят Катил и его приближенные (прим.сост.)*

Попрощался с ними Урал,

На льва своего вскочил, и стремглав

Во дворец, где жил царь Катил,

Лев его поскакал что есть сил…

Царь тоже себя не заставил ждать:

Его окружала ближайшая знать;

А четыре царских батыра

Путь пробивали властителю мира.

На дивном троне, несомом рабами,

Ехал сам владыка Катил.

Как взбешенный верблюд, он был,

Как кровожадный хищник, он был…

И в испуге пред ним народ

До земли свою голову гнет…

Царская дочь выбирает Урала себе в женихи, однако Урал не спешит занять место ее мужа и вызывает гнев царя, выступая в защиту его подданных (прим.сост.).

«Я еще такого царя

И обычаев таких,

Чтоб резали так людей живых,

И не видел, и не слыхал,

Хоть и много земель повидал.

Я Смерть-злодейку по свету ищу,

За всех смертных ей отомщу;

Ваших порядков я не боюсь,

Смерти коварной не страшусь…» […]

Жалость у всех егет вызывал.

— Ох, пропадет, пропадет егет! —

Говорили, плача навзрыд.

А тут и дочь Катила стоит:

«О, отец, во имя любви

Без причины его не губи!»…

Но отец не стал ее слушать,

Не смягчил свою черную душу.

Исполинский явился бык,

Скреб он землю, копытами бил,

Слюну свою ядовитую лил…

«… Я … тебя губить

Вовсе не собираюсь, бычок.

Чтоб на землю тебя свалить,

Тратить силы не стану, бычок.

Знай, нет существа на земле,

Кто бы был человека сильней.

Не только ты — все потомки твои

Станут отныне рабами людей»…

И сейчас же его Урал

Схватил за рога и крепко сжал;

Как тут бык ни пыхтел, ни старался,

Как ни бился, ни вырывался,

Освободиться сил не нашел —

По колени в землю ушел...

Урал:

«Рога, которые я согнул,

Кривыми останутся навсегда

Пасть, из которой вылетел зуб,

С прорехой останется навсегда.

Надвое треснувшие копыта

Не зарастут — пребудут такими.

И у детей твоих копыта

Навеки останутся двойными»…

В неравной битвеУрал побеждает царя Катила и его приспешников и женится на его дочери (прим.сост.).

**О том, как Урал спас Заркума от смерти, как они вдвоем явились к отцу Заркума, царю Кахкахе; как Урал проник в потайной дворец; о том, как женился он на Гулистан**

По прошествии нескольких дней

После пышной свадьбы своей

Отправился дальше Урал, говорят,

Много вод одолел, говорят…

*Урал становится свидетелем схватки огромного змея и рогатого оленя. Не в силах победить оленя, змей с мольбой обращается к Уралу (прим.сост.):*

«Эй, егет, я тебе пригожусь,

Лишь не дай, чтоб издох я тут.

Сыном я Кахкахе прихожусь

И Заркумом меня зовут.

Если поможешь мне, я смогу

Отплатить — не останусь в долгу…

Пожалей ты меня, егет,

Мне в несчастии помоги,

Рога оленьи обломи;

Вместе к отцу моему пойдем,

Что захочешь, то и возьмем…»

Тайны дивов узнав, Урал

Вмиг оленьи рога обломал.

Даже глазом моргнуть не успел —

Змей егетом красивым стал…

*Однако Заркум, боясь, что будет наказан отцом за то, что открыл дворцовые тайны, замышляет против Урала недоброе. Вместе они приходят к дворцу Кахкахе (прим.сост.)*

… И увидел Урал тогда

У огромной железной ограды

Девятиглавого страшного гада

Клубком свернувшись, тот змей лежал,

Покои царские оберегал…

Взвился вверх он одним прыжком,

Пасть разинув, шипел, говорят,

В огне спалить угрожал, говорят.

Не смутило и это Урала,

Ударил он змея по голове,

И у змея из той головы

Связка ключей со звоном упала…

Сердце змея Урал раскроил,

Дворец секретов ключом отворил,

Красавицу за дверцей нашел…

Там же, внутри, увидел он трон,

Жезл жемчужный увидел он.

«Жезл возьми с собою в дорогу», -

Батыры ему посоветовали хором.

В это время двери дворца

Настежь белый змей распахнул.

Гнев его так и этак гнул:

«Кто сюда проникнуть посмел,

Кто мой посох забрать посмел,

Не доступный ни для кого?»…

*Урал побеждает Кахкахе, освобождает проглоченных гадами людей и женится на спасенной им девушке по имени Гулистан (прим.сост.).*

**О том, как Шульген попался на хитрость царя ди-вов Азраки; как отправился в страну птиц Самрау; как Хумай заперла его в подземелье дворца**

Шульген, что направо зашагал,

Еще одного старика повстречал…

[…] По дороге, когда не ждал,

Он Заркума встретил случайно —

От Урала бежал тот отчаянно.

Заркум Шульгена расспрашивать стал.

Когда Шульген все рассказал,

Сыном назвался тот Азраки,

Так Шульгену Заркум соврал,

Клятвенно ему обещал

Вместе поехать к Азраке,

Получить от него дары,

И на склоне крутой горы

Из родника Живого испить,

Чтобы жизнь бесконечно длить…

Заркум вошел к владыке дворца.

Тут-то около Азраки

Своего он увидел отца.

Азрака вместе с Кахкахой

Про Урала тою порой

Разговор вели меж собой…

«…Человека нам надо найти,

Чтоб с его помощью войти

В доверие к царю Самрау,

У него Акбузата отнять…

Как зиме надобен белый снег,

Так нам нужен теперь человек,

Чтобы Хумай любою ценой

Смог бы приворожить собой;

Чтобы его полюбила она,

Чтоб Акбузата с алмазным мечом

Вместе с собой подарила она.

Тогда, угодив ему во всем, —

Отдав любую красотку ему,

Подарив любую страну,

Душу мы его обретем,

Урал-батыра тогда побьем…»

*Заркум обманывает Шульгана. Он называет себя сыном Азраки и знакомит его с красавицей Айхылу, представившись ее братом. На самом же деле, она – похищенная дивом Азраки сестра Хумай. Играя на зависти Шульгана к славе Урала, Азрака отправляет Шульгана и Заркума на поиски Хумай и чудесного алмазного меча. Они приезжают в дворец царя Самрау, но Хумай узнает Шульгана , разоблачает Заркума и заточает их в подземелье (прим.сост.).*

**О том, как Урал пришел во дворец Хумай; как, вы­полняя условие царевны — отыскать Живой родник, нашел сестру Хумай Айхылу и привез во дворец**

Служанка Хумай известила о том,

Что некий батыр явился в их дом.

Хумай сразу же узнала

В неизвестном егете Урала,

Но об этом ему не сказала.

А он и думать о том не мог,

Что это к Хумай привел его Рок.

К батыру приблизилась она,

Красоты безмерной полна:

Необъятная, как водопад,

Сбросишь вниз — упадет до пят

Монетами унизана вся

Ниспадающая коса;

Черных глаз обжигающий взор

Сквозь ресницы смотрит в упор;.

Над глазами парящие брови

Улыбаются с любовью.

А упругая грудь налитая,

Словно волна речная, играет;

Стан ее тонкий, как у пчелы,

Своей подвижностью удивляет;

Голос будто давно знаком —

Переливается серебром;

Увидев девушку, что весела,

Дружеский разговор повела,

Что и ответить Урал не знал.

О том, что это и есть Хумай,

Все не догадывался Урал…

Урал рассказывает Хумай о поисках Живого ручья. Хумай готова помочь ему, если он разыщет невиданную и неслыханную птицу, впитавшую «тона и краски всех прочих птиц», и обещает в награду чудесного Акбуз-тулпара и алмазный меч. Урал находит птицу, которая оказывается красавицей Айхылу, сбежавшей от дивов (прим.сост.).

**О том, как царь Самрау согласился выдать замуж за Урала Хумай, отдать ему в подарок коня Акбузата и булатный меч; о том, как встретились братья Шульген и Урал, как старший брат оказался коварным и злым человеком, как он осрамился на майдане, созван­ном царевной Хумай, как Урал удивил всех собравших­ся на майдане**

…И, в батыра Хумай влюблена,

Устремилась к отцу. Там она,

Страсти и смятенья полна

Тайну сердца открыла ему,

Отцу державному своему.

«Любишь — душу не изводи,

Замуж за него выходи,

Акбузата ему подари,

Счастье и радость познай в любви;

Батыру такому же, как Урал,

Благородной матерью стань;

Во имя Урал-батыра ты

На волю брата его отпусти…»

Встретившись с Шульгеном, Урал

Радости своей не скрывал.

Видя брата перед собой,

Счастлив был он встрече такой

Обо всем, что видел в пути,

Шульгену подробно рассказал.

Брата слушая своего,

Шульген по-своему рассуждал…

Зато надумал он брата убить,

Славой его себя наделить,

Хумай прекрасную в жены взять,

Акбузата затем оседлать

И меч алмазный себе забрать.

То, что Шульген постоянно был зол,

Что бродил он угрюмый, как вол,

Что подозрительно всех озирал,

Урал всерьез не принимал.

«Оттого, что он в плен попал,

Неудобно ему теперь», —

Рассуждал про себя Урал…

Шульген:

«…Давай против Самрау войной пойдем,

Акбузата его отберем,

Один из нас жезл волшебный возьмет,

Сядет на Акбузата другой —

Устоит ли кто против силы такой?

Станем мы во главе страны —

Всех кругом покорить мы должны;

Станем могучими царями!..»

Урал:

«Знай, Шульген: они никогда

Людям не причиняли вреда,

Кровь ничью они не проливали,

Других врагами не считали.

Лучше отправимся мы вдвоем

В царство дивов и их побьем.

Всех, кто в страшных муках томится,

На свободу вернем из темницы…»

Слыша это, Шульген замолк,

Взяв наконец мысли брата в толк…

*Улучив момент, Шульган объясняется Хумай в любви. Царевна обещает собрать майдан (состязание), победитель которого будет владеть ею, Акбузатом и алмазным мечом (прим.сост.)*

А к б у з а т:

«Не принесет мне славу красивый,

На мою не взберется он спину,

Я признаю лишь отвагу и силу…

К луке золотого седла

Меч приторочен подобьем крыла…

Меч тот алмазный вовек не расплавит.

Ничто не может его раздробить,

Лезвие прочное притупить.

Если батыр, вступающий в спор,

Не забросит превыше гор

Тяжесть в семьдесят батманов,

Затем тремя пальцами не поймает,

Пусть батыром себя не зовет, —

Меч алмазный он не возьмет.

Коль силачом он не будет таким,

Другом достойным не будет моим…»

Шульген к камню тому подошел,

Стал ощупывать с разных сторон,

Понял, что камень очень тяжел,

Так напрягся, что по колени

В землю, там где стоял, ушел.

Месяц тужился, говорят,

Год весь тужился, говорят,

Толкал обеими руками —

Только с места не двигался камень;

Окончательно изнемог,

Повалился бессильно с ног.

Посмотрела Хумай на Урала,

«Ну, теперь ты, батыр», — сказала;

К камню Урал подошел, говорят.

Был огорчен и наполнен стыдом,

Ибо был посрамлен его брат.

По камню стукнул он кулаком,

Из земли его вырвал рывком,

И затем тот камень схватил,

В небо синее запустил —

Точно выстреленный, тот взмыл

И в небесном пространстве исчез…

Руку одну подставил Урал,

Камень падающий поймал.

«В какой стороне Азрака?» — спросил,

И когда ему показали,

В сторону страны Азраки

Камень что есть сил запустил […]

*Урал женится на Хумай. Чтобы успокоить потерпевшего фиаско Шульгена, его решают женить на Айхылу. Шульген, увидев ее, понимает, что был обманут Азракой и Заркумом, но боится, что Хумай узнает и о его коварных замыслах (прим.сост.).*

**О том, как похитив волшебный жезл и с его по­мощью вызвав бурю и наводнение, Шульген вознаме­рился уничтожить людей, как сбежал вместе с Заркумом к царю дивов Азраке; о том, как Урал убил Азраку и прочих дивов, как создал из их искромсанных тел горные хребты**

Когда Хумай во дворец возвратилась,

Вниз к Заркуму она спустилась;

Вмиг померк для Шульгена свет:

Вдруг Заркум откроет секрет?

Много ему сулит это бед...

Пока с Заркумом Хумай говорила,

Из подземелья потом выходила,

Обо всем Шульген разузнал

И жезл волшебный к рукам прибрал…

Ударил жезлом он по земле,

Всю ее затопил водой,

В ужас вверг Шульген род людской.

Перемену увидев такую,

В рыбу Заркум превратился большую…

Догадался Урал о том,

Что брат родной оказался врагом.

Когда вода постепенно сошла,

Когда Шульген, полон яда и зла,

Понял, что сила жезла слаба,

Чтобы против коня устоять,

То с Заркумом пошел опять

К Азраке спасенья искать…

И пришла на землю беда:

Всю ее затопила вода…

Урал не дрогнул перед бедой,

Перед огненной пеленой.

Живо на Акбузата вскочил,

Меч алмазный тотчас схватил,

Дивам коварным в тот же миг

Войну смертельную объявил…

Дни напролет воевал Урал,

Ночи без сна воевал Урал.

Когда он битвой охвачен был,

Когда врагов косяками крошил,

Азрака ему повстречался —

И схлестнулись они вдвоем…

В воду меч Азраки упал —

Кажется, весь мир задрожал;

Так убил Азраку Урал.

Огромное, страшное тело его

Надвое водный простор рассекло;

На месте том поднялась гора,

Чтоб могли туда люди забраться,

Отдохнуть и силы набраться.

А Урал поскакал вперед;

Конь его резал пучину вод.

Там, где скакал он, верной опорой

Поднимались высокие горы,

Которые никакая вода

Затопить не могла никогда;

Каждый горам возникавшим был рад—

На них взбирался и стар, и млад.

**О том, как пришли к Урал-батыру его сыновья: Яик — от дочери царя Катила, Нугуш — от Гулистан. Идель — от Хумай, сын Шульгена Сакмар, рожденный от дочери Луны — Айхылу; как они стали ему верными спутниками в пути, неустрашимыми соратниками в бит­ве и победили коварных драконов; о том, что произошло между Уралом и Шульгеном**

Много лет Урал воевал,

Дивов во множестве уничтожал.

Горы рождались одна за другой —

Под .могучей его рукой.

Дети, родившиеся на свет,

Когда вступил он в жестокий бой,

Могли теперь мчаться во весь опор,

За Уралом-отцом вослед,

По хребтам и вершинам гор.

Четыре молодца, говорят,

Готовя себя к большим сраженьям,

На четырех тулпарах в ряд

При богатырском снаряженьи

Ехали путем отца, говорят.

Друг от друга не отставая,

След Урала в горах не теряя,

Прибыли к нему, говорят,

Приветствовали его, говорят […]

Урал выслушал всех подряд,

Насладился он их речами.

Был он невыразимо рад

Тому, что собственными глазами

Увидеть егетов ему привелось.

Радость великую он вкусил.

Полный новой отваги и сил,

Вновь забрался он на коня;

В окружении своих сыновей,

Продолжал против дивов войну,

Очищая от них страну.

Месяц сражались они, говорят,

Год сражались они, говорят.

В одном из жестоких боев Урал

На Кахкаху наконец напал,

Вспенив море, барахтался он,

Испускал крик истошный и стон,

Вопль его разносился, как гром.

Из кусков его тела потом

Сложили еще одну гору;

Дивам и Шульгену на горе

Надвое море разделила гора.

Шульген тут голову потерял,

Что делать, как поступить, не знал.

Оставшихся на его стороне

Всех до единого собрал;

И тогда против выживших дивов

Битву снова начал Урал.

Когда жестокие битвы шли,

Когда, бурля и пеной вскипая,

Клокотала вода морская,

Брата своего Урал

Неожиданно повстречал.

Братья схлестнулись между собой.

Разгорелся упорный бой.

Жезлом Шульген на него замахнулся,

Хотел Урала огнем спалить,

Колдовством его1 жизни лишить.

Только Урал не растерялся,

Тут же вынув алмазный меч,

Нанес удар сокрушительный встречь;

Гнев его стократно возрос —

Жезл тот вдребезги он разнес…

Урал людей к тому месту собрал;

Так пред всеми Шульген предстал.

«С детства коварным злодеем ты рос,

Кровь запретную выпивал,

Словом родителей пренебрегал.

Злоба правила лишь тобой,

Всею черной твоею судьбой…

Ждал я, пока не вышел срок.

Только слова ты не сдержал,

Так на честный путь и не встал,

Слову отцовскому не внял,

Материнский завет растоптал,

Всю страну затопил водой…

Зло добротою сокрушено —

Никогда не вернется оно!

Понял ли ты теперь, что зло

Будет побеждено добром?

Понял ли ты, что человек

Будет выше дивов во всем?..

Коль, землю целуя, слово не дашь,

Голову перед людьми склонив,

Клятву священную не дашь,

Коль не признаешь, что слезы людей

Лишь на совести черной твоей,

И, повстречавшись с нашим отцом,

Не расскажешь ему обо всем…

В черную скалу тебя превращу,

К которой живая душа не придет —

Ни через месяц, ни через год;

Не помянет никто добром,

Трава не взойдет на месте том…

Вот такою ты станешь скалой!» —

Вынес Урал приговор такой […]

Шульген, напуганный словами брата, обещает исправиться и умоляет простить его в последний раз (прим. сост.).

Урал решил его просьбе внять,

В последний раз его испытать:

«Коль, честь потеряв, муж с дороги собьется,

Все утратит он в жизни своей…

Если поймешь наконец все это,

Если с коварством расстанешься ты,

Если из тьмы повернешься к свету,

Коль силы найдешь поучиться

У льва своего, что споткнулся в пути,—

Еще раз исполню я волю твою.

Во имя чести отца моего,

Памяти матери моей,

Последний раз испытаю тебя,

Последний раз внемлю просьбе твоей».

**О том, что сказал старик, изнемогающий от невоз­можности умереть; как Урал-батыр набрал в рот воды из Живого родника, но не сделал и глотка — опрыснул тою водой землю вокруг себя, и вся она ожила**

Отпустив Шульгена, Урал

Так собравшимся людям сказал:

«Смерть, что зрима .была для глаз,

Выгнали мы из страны своей.

Дивов, что пили кровь из нас,

Сделали твердью горных цепей.

Воду Живого родника,

Зачерпнув, принесем сюда —

Пусть всем достанется та вода.

От Смерти же, что скрыта от глаз,

От болезней, что точат нас,

От болей и мук, гнетущих от века,

Человеческий род спасем,

Бессмертным сделаем человека —

Радость в каждое сердце внесем!» […]

*В это время появляется древний старец, который испытал бесконечные муки бессмертия, испив воды из живого родника. Он говорит о том, что бессмертие человека заключается не в бесконечном долголетии, а в его добрых деяниях на благо других (прим.сост.).*

«…Горький мой опыт дней прожитых

Поможет от бед избавить других.

Желая вечно на свете жить,

Неподвластными Смерти быть,

Власть ее принять не желая,

Не пейте из Родника Живого!

Мир — это благоухающий сад,

А существа, живущие там,

Подобны растениям и цветам

Одни тот сад засоряют собою,

Другие растут, восхищая красою,

Разные краски и уют

Саду растения те придают.

То, что Смертию мы зовем,

Прозвища злые кому даем, —

Вечности нетленный закон,

Мир от гнилья очищает он,

От больных и увядших трав

Навсегда очищает он.

Освежает он жизни сад.

Не желайте же вечными быть,

Пз Родника Живого испить!

То, что на земле остается,

Чем все лучшее создается,

Сада краса и благоухание —

Это добро и благодеяние.

В огне не сгорит — благодеяние,

В воде не утонет — благодеяние,

До неба возвысится — благодеяние,

Останется в памяти — благодеяние,

Оно — голова всех дел,

Для всех живущих на свете людей

Пребудет как мира высший удел».

И слова старика услыхав,

Смысл глубокий их осознав,

Вместе со всеми людьми Урал

В дорогу дальнюю зашагал.

И вот перед ними Родник Живой —

Рот наполнил Урал водой,

На стежку, что проложил он сам,

На горы, что поднял к небесам,

Прыснул тою водой, говорят:

«Пусть зеленеют голые чащи,

Пусть цвет бессмертия обретут,

Пусть птицы щебечут звонче и слаще,

Пусть люди веселые песни поют!

Пусть враг бежит из нашего края,

Черной завистью истекая!

Пусть эту землю любит народ,

Пусть садом прекрасным она расцветет,

Пусть сердце врагов красотой изведет!»—

Так Урал громогласно изрек…

До Шульгена дошла та весть.   
«Отныне у меня защитница есть,  
Которая будет людей хватать,  
Убивать и со света сживать.  
Моя защитница — это Смерть.  
Нет преград теперь перед ней,  
Будет мне помогать она  
Нещадно уничтожать людей», —  
Так про себя подумал Шульген…

Дни и месяцы миновали,

Люди жилье себе сооружали,

В гости друг к дружке ходили,

Полной чашей веселье пили,

Сватали за женихов невест.

Был спокоен и счастлив любой

Среди тех беспокойных мест

Установились мир и покой.

**О том, как в гневе на злодеяния дивов Урал выпил озеро, где они прятались; как проникшие в его нутро змеи изгрызли сердце батыра; о том, что сказал Урал-батыр перед своей смертью; о том, как расселились люди на склонах Урал-тау, как там же расплодились звери, животные и птицы, как им не стало хватать во­ды; как образовались реки Идель, Сакмар, Нугуш, Яик; как люди зажили в благополучии, забыв о прошлом лихе и бедствиях**

Но вот опять был нарушен покой:

Девушек, шедших за водой,

Мужчин, идущих лесной тропой,

Дивы стали подстерегать

И у самой воды глотать…

Вновь к Уралу толпой пришли,

Сквозь слезы о дивах заговорили.

И решил он народ сплотить,

Дивов злых до конца истребить;

Только те об этом прознали,

Из воды вылезать перестали.

Долго Урал размышлять не стал,

Иделю, Нугушу, Яику,

Сакмару и другим батырам —

Войском своим управлять наказал;

Меч алмазный вырвал потом,

Акбузата оседлал,

Вызывая и шум, и гром

На Акбузате помчался он,

Бурю на земле поднимал,

Волны из воды исторгал;

К озеру дивов прискакал:

«Выпью озеро это сполна,

Иссушу до самого дна,

От дивов, оставшихся в живых,

Кто людям жить на земле не дает,

От шульгенов и гадов других

Навсегда избавлю народ!»

Стал он озеро выпивать —

Начала в нем вода клокотать;

Дивы испуганно загалдели —

Спрятаться от батыра хотели,

Только пил все Урал и пил,

И див за дивом в него входил.

Много их в нем скопилось внутри,

Зубы у каждого остры,

Грызли они его сердце и душу.

Озеро выплеснул он назад;

Дивов, выскакивающих наружу,

Всех убивали батыры подряд.

Не в силах на ногах устоять,

Не в силах больше воевать,

Урал на месте том же упал.

Народ повалил тут за валом вал.

«Он счастьем народа был до конца!» —

Осиротевший народ рыдал.

Урал:

«…Слушайте, дети, вам говорю,

Слушай, страна моя, тебе говорю:

И львом храбрейшим будучи мира,

С рожденья имея имя батыра,

Все же, страну свою не обойдя,

Вброд ее горе и кровь не пройдя,

Сердце свое нельзя закалить;

Чтоб заодно с врагами не быть,

Без совета дела не вершите!

Дети, словам моим внемлите:

На земле, очищенной мною,

Людям добудьте счастье земное;

Будьте мудрыми на войне.

Чтобы славу добыть стране,

Сами стремитесь батырами стать;

Старших умейте почитать,

Их советом не пренебрегайте,

Но и тех, кто младше, не забывайте —

Вам растить их и поднимать.

Коль в чьи-то глаза угодила соринка,

Которая может их сделать слепыми,

Станьте ресницами глаза для них вы,

Сор тот смахните руками своими…

Сыны! Матерям передайте своим:

Пусть за все Урала простят,

Пусть каждая скажет: «Был он мужем моим».

А всем вам вместе напомню о том:

Пусть станет добро лишь вашим конем,

Пусть имя будет вам — человек,

Злу не давайте дорогу вовек,

Пусть мир и добро пребудут вовек!»

Слова те напутственные сказал

И скончался батыр Урал.

Скорбь унять не имея сил,

Голову низко народ склонил.

Звезда падучая мглу прорвала —

Для Хумай она весть принесла;

Хумай надела птичий наряд

И прилетела сюда, говорят,

И губы мертвого Урала,

Говорят, она поцеловала:

«Ай, Урал ты мой, Урал,

К тебе живому я не успела,

Не слыхала, что ты сказал,

Душу утешить не сумела…

Хоть имя есть — Хумай — у меня,

Хоть люди знают, что женщина я,

Я птичью шубу уже не сниму,

Облик, в который можно влюбиться,

Больше никогда не приму…

Что для тебя я сделать смогу?

У дороги, где ты скакал,

На горной гряде, что ты создавал,

Вырыв могилу, похороню,

Навек тебя в сердце своем сохраню.

Путь великий, где ты скакал,

Не зальет никакая вода;

Горы, которые ты создавал,

Примут в свои объятья тебя,

Будут прах твой вечно хранить,

Будут вечно на свете жить.

Когда-то море ты здесь осушал,

Самым первым батыром стал,

На берегу страну основал;

Отныне, в объятьях могучей горы,

Будешь светочем ты страны,

Будешь светлой душой для людей,

И мертвый, будешь живых ты живей,

Еще прославленней будешь ты,

Немеркнущим золотом будешь ты;

Человечий возвысив род,

Слава твоя на земле живет!»

И, такие слова сказав,

Похоронила его в горах,

Улетела она, говорят,

Решив не возвращаться назад.

Дорога Урала — великие горы,

Могила Урала — высокие горы,

Название приняли то же — Урал.

По истечении долгих лет

Загрустила она по Уралу,

Вдоль дороги, что он проложил,

Махая крыльями, пролетала,

Опустилась на гору-скалу,

Думая об Урале, грустила.

Позднее вывела там птенцов,

Белых лебедей расплодила

И об этом узнали все.

Говоря: «Это птица Хумай»,

Лебедей за родных принимали,

Охотиться на них запрещали;

Не ловить благородных птиц

Между собой договорились —

Оттого птицы те расплодились.

Поэтому мясо лебедей

Навеки запретно для людей.

Много громов *с* тех пор отгремело,

Один за другим года пронеслись.

И вновь Хумай сюда прилетела,

А потом животных и птиц

За собой она привела:

Дескать, здесь благодатна земля,

На Урал возвратилась вновь;

Храня к ней привязанность и любовь,

Пришли-прилетели вереницей

Звери, животные и птицы.

Узнав, что все твари сошлись туда,

Что там никому не грозит беда,

Бык Катила племя свое,

Которому отроду был вожаком,

На отроги Уральских гор,

Туда, где благодатен простор,

Привел, чтоб вместе со всеми жить,

Голову перед людьми склонить.

Акбузат по странам бродил,

Лошадиный род единил,

Во главе табунов сам шел,

Всех затем он сюда привел …

Расплодились звери и птицы.

Не стало хватать воды, чтоб напиться

(Не пил из озер никто из людей).

Тогда к Иделю и Яику, Нугуш-батыру и Сакмару,

Собравшись вместе, люди пришли

Со всех сторон уральской земли

И, не в силах печали скрыть,

Стали спрашивать, как им быть […]

Идель, услышав эти слова,

Задумался, сошел с седла,

Меч, который оставил Урал,

В руки могучие он взял,

На высокую гору взошел

И такие слова сказал:

«В руках отцовских алмазный меч

Мог змей и дивов-драконов сечь;

От Урала пришедший в мир,

Достоин ли имя носить — батыр,

Кто мужчиной меня назовет,

Если жаждой страдает народ

Без воды, без живительных рек?» —

Так промолвил Идель, и вот

Гору мечом он алмазным сечет;

Воды, белые, как серебро,

Заструились тотчас с горы,

Прохладные понесли дары…

Дальше устремилась река;

Гора, на которой Идель стоял,

Там, где весело он скакал,

Откуда, выбилась та река,

Название приняла — Иремель.

Клин горы, запрудившей реку,

Там, где Идель ее разрубил,

Кырыкты называться стал.

Иделем добытая вода

Названье реки «Идель» приняла навсегда,

Каждый пил, воде этой рад;

И, следя за ее теченьем,

Счастья исполненный и волненья,

Песню такую пел, говорят:

«Иделем вырубленная река,

По долинам сухим потекла,

Сладка Идель и горька она,

Высушит всю твою печаль

И кровавые слезы до дна.

Пел песни народ о счастье и мире,

О славном сыне Урала-батыра,

Сладка Идель и горька она,

Высушит всю твою печаль

И кровавые слезы до дна.

Все в один голос его прославляли.

Высохли слезы, исчезли печали.

На берегах Идели-реки

Стал вовсю расселяться народ,

Разводить там домашний скот;

Разрасталось число людей,

Становилось им все тесней,

Не хватать им стало земель,

Все сужалась река Идель.

Потом батыры вместе сошлись

Батыры Яик, Нугуш и Сакмар

На поиски новых рек разбрелись.

Подобно Иделю, каждый из них

Мечом рубили земную твердь.

Три реки, из глубин земных

Вырвавшись, в стороны растеклись.

Четыре батыра народ пригласили,

На каждого из четырех поделили.

На долинах четырех рек

Стали строить они жилье,

Расселились там навек.

Батыров тех четырех имена

Четыре реки затем получили;

Во всех поколеньях, во все времена

В сердцах потомков батыры те жили.

*(Урал-батыр //Башкирское народное творчество. Том 1. Эпос. –Уфа,1987. С.35-134)*

тема 8. «антихристианин» Ф.ницше

*ФРИДРИХ НИЦШЕ (1844–1900), немецкий философ и поэт. Его отец и оба деда были лютеранскими священниками. После смерти отца в 1849 воспитывался в доме, где жили его младшая сестра, мать, бабушка и две незамужние тетки. Учился в университетах Бонна и Лейпцига, где углубился в греческую и латинскую классику.*

Значительное влияние на его философию оказали идеи немецкого философа Артура Шопенгауэра и закон борьбы за существование Ч.Дарвина. Отталкиваясь от этих учений, Ницше стремился создать идеал нового человека, сверхчеловека, призванного уничтожить все лживое, болезненное, враждебное жизни. Его философия должна была занять место того философского нигилизма, приближение которого он видел. Борясь против христианства, Ницше утверждал, что продуктом его является «рабская мораль». Он боролся как против прагматической морали буржуа, так и против морали плебса, угрожавшей, по его мнению, всему благородному и возвышенному.

Свои идеи Ницше, как правило, излагал в форме афоризмов, парадоксальных выражений, памфлетов и притч. Ему чужды попытки построения всеобъемлющей философской системы. Главная тенденция в воззрениях этого незаурядно одаренного мыслителя состояла в совершенствовании культуры человека, в улучшении самого типа человеческой личности.

# АНТИХРИСТИАНИН

**Опыт критики христианства**

# […] Проблема, что я ставлю, не в том, кто сменит человека в ряду живых существ (человек—конец), а в том, какой тип человека надлежит *взращивать,* какой наиболее высокоценен, более других достоин жизни, какому принадлежит будущее.

# […] Христианство называют религией *сострадания...* Сострадание противоположно аффектам тонуса, повышающим энергию жизненного чувства, — оно воздействует угнетающе. Сострадая, слабеешь. Сострадание во много крат увеличивает потери в силе, страдания и без того дорого обходятся. […] В целом сострадание парализует закон развития — закон *селекции.* Оно поддерживает жизнь в том, что созрело для гибели, оно борется с жизнью в пользу обездоленных и осужденных ею.

[…] Добродетель — это либо *наша* выдумка, глубоко личная *наша* потребность и орудие самозащиты, либо большая опасность. Все, что не обусловливается нашей жизнью, *вредит* ей: вредна добродетель, основанная на почитании понятия «добродетель», как того хотел Кант. «Добродетель», «долг», «благое в себе», благое безличное и общезначимое — все химеры, в которых находит выражение деградация, крайняя степень жизненной дистрофии, кенигсбергский китаизм. Глубочайшие законы сохранения и роста настоятельно требуют обратного — чтобы каждый сочинял себе добродетель, выдумывал свой категорический императив. Когда народ смешивает свой долг с долгом вообще, он погибает. Ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как «безличный долг», как жертва молоху абстракции... И почему только категорический императив Канта не воспринимали как *жизнеопасный!..* Только богословский инстинкт и взял его под защиту!.. Когда к действию побуждает инстинкт жизни, удовольствие служит доказательством того, что действие было *правильным,* а для нигилиста с христианской догмой в потрохах удовольствие служило аргументом *против...* Ничто так быстро не разрушает, как работа, мысль, чувство без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия, как автоматическое исполнение «долга»!

[…] К тому же выводу принуждает нас критика *христианского понятия бога...* Пока народ верует в себя, у него — свой бог. В своем боге народ чтит условия, благодаря которым он на высоте, в нем он чтит свои доблести,— удовольствие от себя самого, чувство силы он переносит на существо, которое можно благодарить за это. Щедрость богача: гордому народу бог нужен, чтобы приносить ему *жертвы...* В таких условиях религия — форма благодарения. Народ благодарен самому себе: ему нужен бог, чтобы благодарить... Ему надо, чтобы бог мог и быть полезным, и приносить вред, ему нужен бог-враг, бог-друг, которым можно восхищаться во всем — в добром и в дурном […] Однако правда: когда народ гибнет, когда он чувствует, что его вера в будущее иссякает, надежда обрести свободу окончательно гаснет, когда покорность представляется ему полезным делом, а добродетель побежденного — первым условием сохранения жизни, тогда *обязан* перемениться и бог. Бог стал тихоней, себе на уме, стеснительным, пугливым, он отныне проповедует «мир души», не велит никого ненавидеть, советует бережно обращаться со всеми и «любить» все одно что друга, что врага. Такой бог беспрерывно резонерствует, забивается в пещеры личной добродетели, он становится богом каждого, становится частным лицом, становится космополитом... Когда-то он представлял собою народ, силу народа, все агрессивное, все жаждущее власти в душе народа... А теперь он просто добрый боженька... На деле нет для богов иной альтернативы — *либо* ты воплощаешь волю к власти и остаешься божеством племени, народа, *либо* ты воплощаешь бессилие к власти, а тогда ты непременно хорош, *благ...*

[…] Христианское понятия бога – он бог больных, бог-паук, бог-дух – одно изсамых порченых, до каких только доживали на Земле; вероятно, оно само служит показателем самого низкого уровня, до какого постепенно деградирует тип бога. Выродившись, бог стал противоречием — *возражением* жизнивместо ее преображения, вместо вечного Да, сказанного ей! В боге — и провозглашена вражда жизни, природе, воле к жизни! Бог — формула клеветы на «посюсторонность», формула лжи о «потусторонности»! В боге Ничто обожествлено, воля к Ничто – освящена!..

[…] Осудив христианство, я не хотел бы совершить несправедливость в отношении родственной религии, превосходящей его числом приверженцев, - это буддизм. […] Буддизм во сто крат реалистичнее христианства; у него в крови наследие объективной и хладнокровной постановки проблем, он возник в итоге продолжавшегося сотни лет философского движения; когда буддизм появился на свет, с понятием «бог» уже успели покончить. Буддизм — это единственная во всей истории настоящая *позитивистская* религия — даже и в своей теории познания (строгом феноменализме); буддизм провозглашает уже не «борьбу с *грехом»,* а «борьбу со *страданием»,* тем самым всецело признавая права действительности. Буддизм глубоко отличается от христианства уже тем, что самообман моральных понятий для него пройденный этап; на моем языке он — *по ту сторону* добра и зла... Вот два психологических факта, на которых основывается и на которых останавливает взгляд буддизм: это, *во-первых,* чрезмерная чувствительность, выражающаяся в утонченной способности страдать, а *затем —* чрезмерная духовность, следствие слишком долгого пребывания среди понятий, логических процедур, от чего понес ущерб личный инстинкт и выиграло все безличное (то и другое состояние по собственному опыту известно, как и мне, хотя бы некоторым из моих читателей, а именно «объективным»). Как следствие таких физиологических предпосылок, установилась *депрессия —* против нее Будда и принимает свои гигиенические меры. Его средство — жить на природе, странствовать; быть умеренным и ограничивать себя в пище; соблюдать осторожность в отношении любых spirituosa, а также любых аффектов, вызывающих разлитие желчи и горячащих кровь; *не заботиться* ни о чем — ни о себе, ни о других. Он требует, чтобы представления приносили покой или радовали дух, и изобретает способы, как отвратить от себя все иное. Для Будды благо и доброта — то, что укрепляет здоровье. И *молитва,* и *аскетические* упражнения исключены,— вообще никакого категорического императива, никакого *принуждения,* даже и в монастырской общине (всегда можно выйти из нее). Все подобное лишь усиливало бы чрезмерную возбудимость. По той же причине он не требует бороться с инакомыслящими; ни против чего так не восстает его учение, как против мстительности, антипатии, ressentiment’a («не враждою будет положен конец вражде» — трогательный рефрен всего буддизма...). И справедливо: именно эти аффекты и *нездоровы* в смысле главной диэтетической цели. С утомленностью духа, которая налицо и которая сказывается в преувеличенной «объективности» (то есть в ослаблении индивидуальной заинтересованности, в утрате центра тяжести, «эгоизма»), он борется, последовательно относя к личности даже и самые духовные интересы.

[…] Предпосылками буддизма служат очень мягкий климат, кротость и вольность нравов, немилитаризм, а еще то, что очаг движения — высшие и даже ученые сословия. Стремятся к высшей цели — радости духа, невозмутимости, отсутствию желаний — и цели своей достигают. Буддизм — не та религия, в которой лишь чают совершенства; совершенство — это норма.

В христианстве на первый план выходят инстинкты угнетенных и порабощенных: в нем ищут спасения низшие сословия. Здесь занимаются как средством от скуки казуистикой греха, самокритикой, инквизицией совести; здесь постоянно поддерживают (молитвой) аффект в отношении *всемогущего,* прозванного «богом»,— наивысшее считается недоступным, принимается как дар, как «благодать». Нет и ничего публичного: закуток, темное помещение — вот это по-христиански. Здесь презирают тело, отвергают гигиену чувственности; церковь противится даже чистоте тела (первое христианское мероприятие после изгнания мавров состояло в том, чтобы закрыть общественные бани, которых в одной Кордове насчитывалось двести семьдесят). Известная жестокость к себе и к другим — это тоже христианское; тоже ненависть к инакомыслящим, воля к преследованию.

[…] Когда христианство оставило свою первоначальную почву — низшие сословия, *нижний мир* античности, когда оно пустилось завоевывать власть среди варварских народов, то здесь исходной предпосылкой для него выступали уже не усталые, но внутренне одичавшие, рвавшие друг друга на части люди — сильные, но плохо уродившиеся. Недовольство самими собой, страдание, причиняемое себе самим, выражались здесь не так, как у буддистов,— не в чрезмерной восприимчивости и болезненности, а совсем напротив, в огромном желании причинять боль и изживать внутреннее напряжение во враждебных действиях и представлениях. Христианство нуждалось в *варварских* понятиях и ценностях, чтобы одержать верх над варварами,— таковы принесение в жертву первенца, причащение кровью, презрение к духу и культуре, пытки во всевозможных формах, чувственных и иных, помпезность культа. Буддизм — эта религия рассчитана на людей *поздних,* предназначена для рас добрых, кротких, слишком духовных,— в них так легко вызвать ощущение боли (Европа далеко еще не созрела для боли); буддизм возвращает этим расам мир и радость, размеренность духовной диэты, известную телесную закалку. А христианству хочется овладеть *хищными зверями,* и вот его средство — надо заставить их *болеть,* надо их ослабить — христианский рецепт *укрощения,* «цивилизации». Буддизм — религия утомленного финала цивилизации, а христианство вообще не обнаруживает перед собой цивилизации,— оно при известных обстоятельствах лишь закладывает ее основы.

[…] На дне христианства сохраняются известные тонкости восточного происхождения. Прежде всего христианству ведомо: сама по себе истинность чего-либо совершенно безразлична, но в высшей степени важно, во что веруют как в истину. Истина и *вера* в истину — два крайне далеких, почти *противоположных* мира интересов, к ним ведут совсем разные пути. Ведать такое — значит на Востоке почти уже стать мудрецом: так разумеют дело брахманы, так разумеет его Платон, да и всякий последователь эзотерической мудрости. Вот, например, если *счастье* — в безгрешной жизни, то для искупления грехов важно не то, чтобы человек был грешен, а то, чтобы он *чувствовал* себя грешным. Итак, если вообще нужна *вера,* то необходимо вызвать недоверие к разуму, познанию, исследованию: путь к истине оказывается тогда *под запретом...* Крепкая *надежда* куда лучше стимулирует жизнь, чем любое ставшее реальностью счастье. Поэтому надо поддерживать в страдающих надежду — такую, с которой ничего не может поделать сама действительность, такую, которая не кончится тем, что сбудется,— потому что это надежда на «мир иной» (как раз по той самой причине, что надежда водит за нос несчастного человека, греки считали ее бедою из бед, самым *коварным* бедствием,— когда опрокидывалась бочка всех несчастий, надежда все-таки оставалась в ней...). Чтобы можно было *любить,* бог обязан стать личностью; чтобы могли соучаствовать и самые низкие инстинкты, бог обязан быть молодым. Страсти женской можно предъявить прекрасного святого, страсти мужской — деву Марию […] Требование *целомудрия* усиливает неистовство и проникновенность религиозного инстинкта — культ становится теплее, душевнее, мечтательнее... Любовь — состояние, в котором человек обычно видит вещи не такими, каковы они. Сила иллюзии — достигает своих высот — все приукрашивает, *преображает.* Любя, переносишь больше, терпишь все. Итак, надо было придумать религию, в которой можно любить: тем самым уже возвышаешься над всем скверным, что есть в жизни,— просто больше не замечаешь ничего такого... Вот что можно пока сказать о трех христианских добродетелях — вере, надежде, любви; назову их тремя христианскими *благоразумностями...* Буддизм же для этого слишком позитивистичен — он уже опоздал умнеть таким путем...

[…] Не упущу случай изложить сейчас психологию «веры», «верующих» — и по справедливости в пользу самих «верующих». Сегодня еще есть немало таких, кто не ведает, сколь *неприлично* быть «верующим»,— признак decadence’a, сломленной воли к жизни,— назавтра это узнают все. Мой голос достигнет и до тугоухих... Если только я не ослышался, у христиан в ходу критерий истины, называемый «доказательством силы». «Вера спасает,— *значит,* она истинна»... Уместно было бы возразить — спасение, блаженство, еще не доказано, а только обещано: блаженство поставлено в зависимость от «веры» — спасешься, если будешь веровать... Но как доказать, что обещания жреца сбудутся,— ведь они относятся к недоступному нашему контролю «миру иному»... Итак, мнимое «доказательство силы» — не что иное, как вера в то, что следствие веры не преминет наступить. Вот формула: «Верую, что вера спасает,— *следовательно,* она истинна»... Ну вот мы и закончили. Ведь это «следовательно» — воплощенный absurdum... Однако если мы чуточку уступим и предположим, что спасение верой доказано *(не* просто желательно и *не* просто обещано устами жреца, всегда будящими сомнение), то разве блаженство, или, если выразиться терминологичнее, разве *удовольствие* служило когда-либо доказательством истины? Отнюдь нет, скорее напротив: если чувство удовольствия соучаствовало в решении вопроса о том, что истинно, то это вызывает сильнейшее недоверие к «истине». Доказательство от «удовольствия» — это доказательство в пользу «удовольствия», и не более того; кто, ради всего на свете, мог бы полагаться на то, что именно истинные суждения доставляют большее удовольствие, нежели ложные, и что, в согласии с предустановленной гармонией, именно они непременно повлекут за собой приятные чувства?.. Опыт всех строго мыслящих, глубоких умов учит *обратному.* Приходилось отвоевывать каждую полоску истины, жертвуя почти всем, к чему обыкновенно привязаны наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Необходимо величие души: служение науке — самая тяжкая служба… Что же значит быть *порядочным* в делах духа? Это значит быть суровым к своему сердцу, презирать «красивые чувства», скрупулезно взвешивать каждое Да и Нет!.. Вера спасает, - *следовательно*, она лжет…

[…] Что мученичество доказы­вает истинность чего-ли­бо — это столь ложно, что мне не хотелось бы, чтобы мученики когда-либо якша­лись с истиной. Уже тон, в котором мученик швыряет свои мнения в головы людей, выражает столь низ­кий уровень интеллектуальной порядочности, та­кую бесчувственность к «истине», что мучеников и не приходится опровергать. Истина ведь не то, что у одного будет, а у другого нет: так в лучшем случае могут рассуждать крестьяне или крестьянские апостолы вроде Лютера. Можно быть уверенным: чем совестливее человек в делах духа, тем он скромнее и умереннее. Скажем, он сведущ в пяти вещах и тогда очень деликатно от­рицает, что сведущ еще в чем-либо сверх того... А «исти­на» в разумении пророков, сектантов, вольнодумцев, со­циалистов и церковников вполне доказывает нам, что тут не положено и самое начало дисциплины духа и само­определения — того, без чего не открыть и самой малой, мельчайшей истины... Кстати заметим: мученические смерти — большая беда для истории: они соблазняли... Умозаключение всех идиотов, включая женщин и просто­народье: если кто-то идет на смерть ради своего дела, значит, в этом деле что-то да есть (тем более, если «дело» порождает целые эпидемии самогубства). Однако такое умозаключение сделалось невероятным препятствием для исследования — для критического, осторожного духа исследования. Мученики нанесли ущерб истине... И се­годня необдуманных преследований достаточно, чтобы самая бездельная секта начала пользоваться почетом и уважением... Как?! Неужели ценность дела меняет­ся от того, что кто-то жертвует ради него жизнью?.. В поч­тенном заблуждении лишний соблазн: думаете ли вы, господа богословы, что мы дадим вам повод творить мучеников вашего лживого дела?.. Кое-что можно опро­вергнуть, почтительно положив под сукно; так опровер­гают и богословов... Всемирно-историческая глупость состояла именно в том, что преследователи придава­ли делу своих врагов видимость чего-то почтенного,— они даровали ему притягательную силу мученичества... Еще и сегодня женщины склоняются перед заблуж­дением — им сказали, что некто умер за него на крес­те. Разве крест — аргумент?.. ...Но во всем этом лишь один сказал слово, какого ждали тысячелетия,— Заратустра.

«Кровавые знаки писали они на дорогу, какой шли, и простота их учила, что кровью доказывается истина.

Однако кровь — самый ненадежный свидетель исти­ны; кровь отравляет и самое чистое учение, обращая его в фанатическую ненависть в сердце.

И если кто пошел в огонь за свое учение,— что этим доказывается! Воистину больше — если учение выходит из пламени твоей души».

[…] Не дадим сбить себя с толку: великие умы были скептиками. Заратустра — скептик. Сила и *независимость,* проистекающие из мощи, из сверхмогущества духа, доказываются скепсисом. Люди с убеждениями совсем не к месту, когда затрагивается ценность чего-либо существенно важного. Убеждения что темница. Не много видишь вокруг себя, не оглядываешься назад,— а чтобы судить о ценном и неценном, нужно, чтобы ты *преодолел, превзошел* сотню своих убеждений... Стремящийся к великому ум, если он не пренебрегает средствами, непременно станет скептическим. Независимость от любых убеждений *неизбежна* для сильного, для умеющего вольно обозревать все окрест... Великая страсть — основа и сила его бытия, просвещеннее, деспотичнее его самого,— занимает без остатка весь его интеллект, учит его не церемониться понапрасну, внушает ему мужество пользоваться далеко не святыми средствами и при определенных обстоятельствах даже *позволяет* ему иметь убеждения. Убеждение как средство: немало такого, что можно достичь лишь благодаря убеждениям. Великая страсть нуждается в убеждениях и пожирает их; она не покорствует им,— она суверенна... Напротив: потребность в вере, в безусловных Да и Нет, карлейлизм, если простят мне это слово,— это потребность *слабого.* Человек веры, «верующий» — во что бы он ни веровал,— это непременно зависимый человек, он не полагает себя как цель, вообще не полагает себе цели так, чтобы опираться на самого себя. «Верующий» не принадлежит *сам себе,* он может быть лишь средством, его пускают в дело, ему самому нужен кто-то, кто *пожрет* его. Он инстинктивно превыше всего ставит мораль самоотречения — к тому подводит его все: благоразумие, опыт, тщеславие. Любая вера выражает самоотречение, самоотчуждение […] Верующий вообще не волен решать вопрос об «истинном» и «неистинном» по совести: будь он порядочен в *одном этом,* он незамедлительно погибнет. Его видение патологически предопределено: так из человека с убеждениями вырастает фанатик — Савонарола, Лютер, Руссо, Робеспьер, Сен-Симон, — тип, противостоящий сильному уму, сбросившему с себя цепи принуждения. Однако грандиозная поза этих *больных* умов, этих эпилептиков рассудочности производит свое действие на массу,— фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать *доводы...*

[…] Весь труд античного мира — все *напрасно:* не нахожу слов, чтобы выразить чувство ужаса, какое охватывает меня... А ведь то была лишь предварительная работа, гранитным самосознанием был заложен лишь самый фундамент для труда тысячелетий,— и весь смысл античного мира напрасен?!.. Для чего жили греки! Для чего жили римляне?.. Уже были созданы все предпосылки ученой культуры, все научные *методы,* уже сложилось великое, несравненное искусство хорошего чтения,— без этого немыслима традиция культуры, единство науки; естествознание в союзе с математикой и механикой развивались наилучшим образом; *чувство факта,* самое главное и ценное из чувств, создало целые школы и имело за собой века традиции! Понятно ли это? В руках уже было все *существенное—*оставалось приступить к работе: ведь методы — надо неустанно твердить это — методы — главное, самое трудное, то, чему дольше всего противятся привычка и лень. Все завоеванное нами сегодня, все завоеванное ценой несказанного самообуздания — потому что дурные инстинкты, христианские инстинкты, все равно сидят еще в каждом из нас,— все завоеванное вновь — независимый взгляд на реальность, терпеливость, осторожность и серьезность в самом малом, *честность и порядочность* познания — все это было, все это уже было две тысячи лет назад! А сверх того еще тонкий такт и вкус! Никакой дрессировки мозгов! Никакой «немецкой» культуры с манерами хама! Нет, такт и вкус — в теле, в жесте, инстинкте, одним словом, в самой реальности…

[…] Христианство лишило нас урожая античной культуры. Позднее отняло у нас жатву культуры *ислама.* Чудесный мир мавританской культуры Испании — он по сути родственнее нам, он больше говорит нашим чувствам, нашему вкусу, чем Греция и Рим, и этот мир был *растоптан (я* уж не говорю, какими ногами), и почему? А потому, что он был обязан своим возникновением мужским инстинктам, потому, что он говорил Да жизни — жизни со всеми редкостными и утонченными прелестями мавританской культуры!.. Потом крестоносцы сражались с культурой, перед которой им приличнее было бы пасть ниц,— в сравнении с нею и наш XIX век, должно быть, все еще слишком бедный, слишком «поздний»... Конечно, им хотелось добычи, а Восток был богат... Давайте смотреть непредвзято! Крестовые походы – то же пиратство, чуть повыше классом, а больше ничего! […]

*(Ф.Ницше. Антихристианин //Сумерки богов /Сост. и общ.ред. А.А.Яковлева. –М.,1990. С.17-93)*

***тема 9. русская религиозная философия.***

***«смысл любви» Вл.соловьева***

*СОЛОВЬЕВ, ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ**(1853–1900), крупнейший русский религиозный философ, поэт, публицист и литературный критик. Сын С.М.Соловьева, ученого-историка, автора монументальной «Истории России с древнейших времен». Вл.Соловьев занимался научно-теоретическими исследованиями в области истории и философии религии (единственном, по его убеждению, «пути к истинной философии»). Философия всеединства Вл.Соловьева представляет синтез идей западноевропейской и восточной мысли.*

*Нравственно-метафизическая основа подлинного, сопричастного Богу существования изучается в философских трактатах Соловьева – «Смысл любви» и «Оправдание добра». Здесь наиболее полно представлена его доктрина «всеединства» и «цельного знания» (интуитивного образно-символического постижения мира, основанного на нравственном усилии личности), отраженная в учении о «мировой душе» – Софии.*

*Религиозно-философский взгляд Соловьева на мир вкратце сводится к следующему. Мир лежит во зле. На земле царят грех и смерть, причем не только с момента грехопадения Адама и Евы. Мир в целом есть единый живой организм. Первоисточником мира и средоточием жизни является мировая душа, от века существующая в Боге. Она обладает свободой и может либо подчинить себя Всеединству божественного мира и стать его частью, либо по своей воле выделиться из этого единства и существовать сама по себе. Домирным и иррациональным актом она выбирает вторую возможность. Тем самым она выпадает из божественного Всеединства и материализуется в формах времени, пространства и механической причинности, поскольку существование вне Бога возможно только в этих формах. Но в мире, отныне отделенном от Бога, сохраняется тоска по возврату во Всеединство божественной жизни. Попытка этого возврата и составляет содержание мирового процесса. В природе этот процесс совершается бессознательно; человечество же, достигнув достаточно высокой ступени развития, участвует в нем с сознанием происходящего.*

*Наибольшее влияние на Соловьева оказали идеи Платона, Плотина, отцов церкви во главе с Оригеном и Августином и немецкие мистики (Я.Беме).*

Смысл любви

Обыкновенно смысл половой любви полагается в размножении рода, которому она служит средством. Я считаю этот взгляд неверным — не на основании только каких-нибудь идеальных соображений, а, прежде всего, на основании естественноисторических фактов. Что размножение живых существ может обходиться без половой любви, это ясно уже из того, что оно обходится без самого разделения на полы. Значительная часть организмов как растительного, так и животного царства размножается бесполым образом: делением, почкованием, спорами, прививкой. Правда, высшие формы обоих органических царств размножаются половым способом. Но, во-первых, размножающиеся таким образом организмы, как растительные, так отчасти и животные, могут также размножаться и бесполым образом (прививка у растений, партеногенезис у высших насекомых), а во-вторых, оставляя это в стороне и принимая как общее правило, что высшие организмы размножаются при посредстве полового соединения, мы должны заключить, что этот половой фактор связан не с размножением вообще (которое может происходить и помимо этого), а с размножением высших организмов. Следовательно, смысла половой дифференциации (и половой любви) следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в идее высшего организма […]

Если весь смысл любви в потомстве и высшая сила управляет любовными делами, то почему же вместо того, чтобы стараться о соединении любящих, она, напротив, как будто нарочно препятствует этому соединению, как будто ее задача именно в том, чтобы во что бы то ни стало отнять самую возможность потомства у истинных любовников: она заставляет их по роковому недоразумению закалываться в склепах, топит их в Геллеспонте и всякими другими способами доводит их до безвременной и бездетной кончины. А в тех редких случаях, когда сильная любовь не принимает трагического оборота, когда влюбленная пара счастливо доживает до старости, она все-таки остается бесплодною. Верное поэтическое чутье действительности заставило и Овидия и Гоголя лишить потомства Филимона и Бавкиду, Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. Невозможно признать прямого соответствия между силою индивидуальной любви и значением потомства, когда самое существование потомства при такой любви есть лишь редкая случайность. Как мы видели, 1) сильная любовь весьма обыкновенно остается неразделенною; 2) при взаимности сильная страсть приводит к трагическому концу, не доходя до произведения потомства; 3) счастливая любовь, если она очень сильна, также остается обыкновенно бесплодною. А в тех редких случаях, когда необычайно сильная любовь производит потомство, оно оказывается самым заурядным.

Как общее правило, из которого почти нет исключений, можно установить, что особая интенсивность половой Любви или вовсе не допускает потомства, или допускает только такое, которого значение нисколько не соответствует напряженности любовного чувства и исключительному характеру порождаемых им отношений.

Видеть смысл половой любви в целесообразном деторождении — значит признавать этот смысл только там, где самой любви вовсе нет, а где она есть, отнимать у нее всякий смысл и всякое оправдание. Эта мнимая теория любви, сопоставленная с действительностью, оказывается не объяснением, а отказом от всякого объяснения […]

Преимущество человека перед прочими существами природы — способность познавать и осуществлять истину — не есть только родовая, но и индивидуальная: каждый человек способен познавать и осуществлять истину, каждый может стать живым отражением абсолютного целого, сознательным и самостоятельным органом всемирной жизни. И в остальной природе есть истина (или образ Божий), но лишь в своей объективной общности, неведомой для частных существ; она образует их и действует в них и чрез них как роковая сила, как неведомый им самим закон их бытия, которому они подчиняются невольно и бессознательно; для себя самих, в своем внутреннем чувстве и сознании, они не могут подняться над своим данным частичным существованием, они находят себя только в своей особенности, в отдельности от всего, следовательно, вне истины: а потому истина или всеобщее может торжествовать здесь только в смене поколений, в пребывании рода и в гибели индивидуальной жизни, не вмещающей в себя истину. Человеческая же индивидуальность именно потому, что она может вмещать в себе истину, не упраздняется ею, а сохраняется и усиливается в ее торжестве.

Но для того чтобы индивидуальное существо нашло в истине — всеединстве — свое оправдание и утверждение, недостаточно с его стороны одного сознания истины — оно должно быть в истине, а первоначально и непосредственно индивидуальный человек, как и животное, не есть в истине: он находит себя как обособленную частицу всемирного целого, и это свое частичное бытие он утверждает в эгоизме как целое для себя, хочет быть всем в отдельности от всего — вне истины. Эгоизм как реальное основное начало индивидуальной жизни всю ее проникает и направляет, все в ней конкретно определяет, а потому его никак не может перевесить и упразднить одно теоретическое сознание истины. Пока живая сила эгоизма не встретится в человеке с другою живою силою, ей противоположною, сознание истины есть только внешнее освещение, отблеск чужого света. Если бы человек только в этом смысле мог вмещать истину, то связь с нею его индивидуальности не была бы внутреннею и неразрывною; его собственное существо, оставаясь, как животное, вне истины, было бы, как оно, обречено (в своей субъективности) на гибель, сохраняясь только как идея в мысли абсолютного ума.

Истина, как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называется любовью. Любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть действительное оправдание и спасение индивидуальности. Любовь больше, чем разумное сознание, но без него она не могла бы действовать как внутренняя спасительная сила, возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. Только благодаря разумному сознанию (или, что то же, сознанию истины) человек может различать самого себя, т. Е. Свою истинную индивидуальность, от своего эгоизма, а потому, жертвуя этим эгоизмом, отдаваясь сам любви, он находит в ней не только живую, но и животворящую силу и не теряет вместе со своим эгоизмом и свое индивидуальное существо, а, напротив, увековечивает его. В мире животных вследствие отсутствия у них собственного разумного сознания истина, реализующаяся в любви, не находя в них внутренней точки опоры для своего действия, может действовать лишь прямо, как внешняя для них роковая сила, завладевающая ими как слепыми орудиями для чуждых им мировых целей; здесь любовь является как одностороннее торжество общего, родового над индивидуальным, поскольку у животных их индивидуальность совпадает с эгоизмом в непосредственности частичного бытия, а потому и гибнет вместе с ним […]

Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву эгоизма. На этом общем основании мы можем разрешить и специальную нашу задачу: объяснить смысл половой любви. Недаром же половые отношения не только называются любовью, но и представляют, по общему признанию, любовь по преимуществу, являясь типом и идеалом всякой другой любви (см. Песнь песней, Апокалипсис).

Ложь и зло эгоизма состоят вовсе не в том, что этот человек слишком высоко себя ценит, придает себе безусловное значение и бесконечное достоинство: в этом он прав, потому что всякий человеческий субъект как самостоятельный центр живых сил, как потенция (возможность) бесконечного совершенства, как существо, могущее в сознании и в жизни своей вместить абсолютную истину,— всякий человек в этом качестве имеет безотносительное значение и достоинство, есть нечто безусловно незаменимое и слишком высоко оценить себя не может (по евангельскому слову: что даст человек в обмен за душу свою?). Непризнание за собою этого безусловного значения равносильно отречению от человеческого достоинства; это есть основное заблуждение и начало всякого неверия: он так малодушен, что даже в самого себя верить не в силах,— как может он поверить во что-нибудь другое? Основная ложь и зло эгоизма не в этом абсолютном самосознании и самооценке субъекта, а в том, что, приписывая себе по справедливости безусловное значение, он несправедливо отказывает другим в этом значении; признавая себя центром жизни, каков он и есть в самом деле, он других относит к окружности своего бытия, оставляет за ними только внешнюю и относительную ценность […]

Человек (вообще и всякий индивидуальный человек в частности), будучи фактически только этим, а не другим, может становиться всем, лишь снимая в своем сознании и жизни ту внутреннюю грань, которая отделяет его от другого. “Этот” может быть “всем” только вместе с другими, лишь вместе с другими может он осуществить свое безусловное значение — стать нераздельною и незаменимою частью всеединого целого, самостоятельным живым и своеобразным органом абсолютной жизни. Истинная индивидуальность есть некоторый определенный образ всеединства, некоторый определенный способ восприятия и усвоения себе всего другого. Утверждая себя вне всего другого, человек тем самым лишает смысла свое собственное существование, отнимает у себя истинное содержание жизни и превращает свою индивидуальность в пустую форму. Таким образом, эгоизм никак не есть самосознание и самоутверждение индивидуальности, а напротив — самоотрицание и гибель.

Метафизические и физические, исторические и социальные условия человеческого существования всячески видоизменяют и смягчают наш эгоизм, полагая сильные и разнообразные преграды для обнаружения его в чистом виде и во всех ужасных его последствиях. Но вся эта сложная, Провидением предопределенная, природою и историей осуществляемая система препятствий и коррективов оставляет нетронутою самую основу эгоизма, постоянно выглядывает из-под покрова личной и общественной нравственности, а при случае проявляется и с полною ясностью. Есть только одна сила, которая может изнутри, в корне, подорвать эгоизм, и действительно его подрывает, именно любовь, и главным образом любовь половая. Ложь и зло эгоизма состоят в исключительном признании безусловного значения за собою и в отрицании его у других; рассудок показывает нам, что это неосновательно и несправедливо, а любовь прямо фактически упраздняет такое несправедливое отношение, заставляя нас не в отвлеченном сознании, а во внутреннем чувстве и жизненной воле признать для себя безусловное значение другого. Познавая в любви истину другого не отвлеченно, а существенно, перенося на деле центр своей жизни за пределы своей эмпирической особности, мы тем самым проявляем и осуществляем свою собственную истину, свое безусловное значение, которое именно и состоит в способности переходить за границы своего фактического феноменального бытия, в способности жить не только в себе, но и в другом так, чтобы отношение одного к другому было полным и постоянным обменом, полным и постоянным утверждением себя в другом, совершенным взаимодействием и общением […]

Признавая вполне великую важность и высокое достоинство других родов любви, которыми ложный спиритуализм и импотентный морализм хотели бы заменить любовь половую, мы видим, однако, что только эта последняя удовлетворяет двум основным требованиям, без которых невозможно решительное упразднение самости в полном жизненном общении с другим. Во всех прочих родах любви отсутствует или однородность, равенство и взаимодействие между любящим и любимым, или же всестороннее различие восполняющих друг друга свойств.

Так, в любви мистической предмет любви сводится в конце концов к абсолютному безразличию, поглощающему человеческую индивидуальность; здесь эгоизм упраздняется только в том весьма недостаточном смысле, в каком он упраздняется, когда человек впадает в состояние глубокого сна (с которым в Упанишадах и Веданте сравнивается, а иногда и прямо отождествляется соединение индивидуальной души со всемирным духом). Между живым человеком и мистическою “Бездною” абсолютного безразличия, по совершенной разнородности и несоизмеримости этих величин, не только жизненного общения, но и простой совместности быть не может: если есть Предмет любви, то любящего нет — он исчез, потерял себя, погрузился как бы в глубокий сон без сновидений, a когда он возвращается в себя, то предмет любви исчезает и вместо абсолютного безразличия воцаряется пестрое многоразличие действительной жизни на фоне собственного эгоизма, украшенного духовною гордостью. — История знает, впрочем, таких мистиков и целые мистические школы, где предмет любви понимался не как абсолютное безразличие, а принимал конкретные формы, допускавшие живые к нему отношения, но — весьма замечательно — эти отношения получали здесь вполне ясный и последовательно выдержанный характер половой любви…

Любовь родительская — в особенности материнская — и по силе чувства, и по конкретности предмета приближается к любви половой, но по другим причинам не может иметь равного с нею значения для человеческой индивидуальности. Она обусловлена фактом размножения и сменою поколений, с законом, господствующим в жизни животной, но не имеющим или, во всяком случае, не долженствующим иметь такого значения в жизни человеческой. У животных последующее поколение прямо и быстро упраздняет своих предшественников и обличает в бессмысленности их существование, чтобы быть сейчас в свою очередь обличенным в такой же бессмысленности существования со стороны своих собственных порождений. Материнская любовь в человечестве, достигающая иногда до высокой степени самопожертвования, какую мы не находим в любви куриной, есть остаток, несомненно пока необходимый, этого порядка вещей. Во всяком случае несомненно, что в материнской любви не может быть полной взаимности и жизненного общения уже потому, что любящая и любимые принадлежат к разным поколениям, что для последних жизнь — в будущем с новыми, самостоятельными интересами и задачами, среди которых представители прошедшего являются лишь как бледные тени. Достаточно того, что родители не могут быть для детей целью жизни в том смысле, в каком дети бывают для родителей.

Мать, полагающая всю свою душу в детей, жертвует, конечно, своим эгоизмом, но она вместе с тем теряет и свою индивидуальность, а в них материнская любовь если и поддерживает индивидуальность, то сохраняет и даже усиливает эгоизм. Помимо этого в материнской любви нет, собственно, признания безусловного значения за любимым, признания его истинной индивидуальности, ибо для матери хотя ее детище дороже всего, но именно только как ее детище, не иначе, чем у прочих животных, т. е. Здесь мнимое признание безусловного значения за другим в действительности обусловлено внешнею физиологическою связью.

Еще менее могут иметь притязание заменить половую любовь остальные роды симпатических чувств. Дружбе между лицами одного и того же пола недостает всестороннего формального различия восполняющих друг друга качеств, и если, тем не менее, эта дружба достигает особенной интенсивности, то она превращается в противу-естественный суррогат половой любви. Что касается до патриотизма и любви к человечеству, то эти чувства, при всей своей важности, сами по себе жизненно и конкретно упразднить эгоизм не могут, по несоизмеримости любящего с любимым ни человечество, ни даже народ не могут 'быть для отдельного человека таким же конкретным предметом, как он сам. Пожертвовать свою жизнь народу или человечеству, конечно, можно, но создать из себя нового человека, проявить и осуществить истинную человеческую индивидуальность на основе этой экстенсивной любви невозможно. Здесь в реальном центре все-таки остается свое старое эгоистическое я, а народ и человечество относятся на периферию сознания как предметы идеальные. То же самое должно сказать о любви к науке, искусству и т.п. […]

Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой любви по преимуществу; она отличается от других родов любви и большей интенсивностью, более захватывающим характером, и возможностью более полной и всесторонней взаимности; только эта любовь может вести к действительному и неразрывному соединению двух жизней в одну, только про нее и в слове Божьем сказано: будут два в плоть едину, т.е. станут одним реальным существом.

Чувство требует такой полноты соединения, внутреннего и окончательного, но дальше этого субъективного требования и стремления дело обыкновенно не идет, да и то оказывается лишь преходящим. На деле вместо поэзии вечного и центрального соединения происходит лишь более или менее продолжительное, но все-таки временное, более или менее тесное, но все-таки внешнее, поверхностное сближение двух ограниченных существ в узких рамках житейской прозы. Предмет любви не сохраняет в действительности того безусловного значения, которое придается ему влюбленной мечтой […]

Совпадение сильной любовной страсти с успешным деторождением есть только случайность, и притом довольно редкая; исторический и ежедневный опыт несомненно показывает, что дети могут быть удачно рождаемы, горячо любимы и прекрасно воспитываемы своими родителями, хотя бы эти последние никогда не были влюблены друг в друга. Следовательно, общественные и всемирные интересы человечества, связанные со сменой поколений, вовсе не требуют высшего пафоса любви. А между тем в жизни индивидуальной этот лучший ее расцвет оказывается пустоцветом. Первоначальная сила любви теряет здесь весь свой смысл, когда ее предмет с высоты безусловного центра увековеченной индивидуальности низводится на степень случайного и легкозаменимого средства для произведения нового, быть может немного лучшего, а быть может немного худшего, но во всяком случае относительного и преходящего поколения людей. Итак, если смотреть только на то, что обыкновенно бывает, на фактический исход любви, то должно признать ее за мечту, временно овладевающую нашим существом и исчезающую, не перейдя ни в какое дело (так как деторождение не есть собственно дело любви). Но, признавая в силу очевидности, что идеальный смысл любви не осуществляется в действительности, должны ли мы признать его неосуществимым? […]

Любовь для человека есть пока то же, чем был разум для мира животного: она существует в своих зачатках или задатках, но еще не на самом деле. И если' огромные мировые периоды — свидетели неосуществленного разума — не помешали ему наконец осуществиться, то тем более неосуществленность любви в течение немногих сравнительно тысячелетий, пережитых историческим человечеством, никак не дает права заключить что-нибудь против ее будущей реализации. Следует только хорошо помнить, что если действительность разумного сознания явилась в человеке, но не чрез человека, то реализация любви, как высшая ступень к собственной жизни самого человечества, должна произойти не только в нем, но и чрез него […]

Помимо материального или эмпирического содержания своей жизни каждый человек заключает в себе образ Божий, т. е. Особую форму абсолютного содержания. Этот образ Божий теоретически и отвлеченно познается нами в разуме и через разум, а в любви он познается конкретно и жизненно […]

Если эта реализация ставится как цель сама по себе прежде идеального дела любви, она губит любовь. Всякий внешний акт или факт сам по себе есть ничто; любовь есть нечто только благодаря своему смыслу, или идее, как восстановление единства или целости человеческой личности, как создание абсолютной индивидуальности. Когда нуль ставится после целого числа, он увеличивает его в десять раз, а когда ставится прежде него, то во столько же уменьшает или раздробляет его, отнимает у него характер целого числа, превращая его в десятичную дробь […]

Представлять себе можно все, что угодно, но любить можно только живое, конкретное, а, любя его действительно, нельзя примириться с уверенностью в его разрушении […]

Несовместимость бессмертия с таким существованием ясна с первого взгляда. Но при большем внимании такую же несовместимость мы должны будем признать и относительно других, по-видимому более наполненных существований. Если вместо светской дамы или игрока мы возьмем, на противоположном полюсе, великих людей, гениев, одаривших человечество бессмертными произведениями или изменивших судьбу народов, то увидим, что содержание их жизни и ее исторические плоды имеют значение лишь как данные раз и навсегда, а при бесконечном продолжении индивидуального существования этих гениев на земле потеряли бы всякий смысл. Бессмертие произведений, очевидно, нисколько не требует и даже само по себе исключает непрерывное бессмертие произведших их индивидуальностей. Можно ли представить себе Шекспира, бесконечно сочиняющего свои драмы, или Ньютона, бесконечно продолжающего изучать небесную механику, не говоря уже о нелепости бесконечного продолжения такой деятельности, какою прославились Александр Великий или Наполеон […]

Само по себе ясно, что, пока человек размножается, как животное, он и умирает, как животное. Но столь же ясно, с другой стороны, и то, что простое воздержание от родового акта нисколько не избавляет от смерти: лица, сохранившие девство, умирают, умирают и скопцы; ни те, ни другие не пользуются даже особенною долговечностью. Это и понятно. Смерть вообще есть дезинтеграция существа, распадение составляющих его факторов. Но разделение полов, не устраняемое их внешним и преходящим соединением в родовом акте,— это разделение между мужеским и женским элементом человеческого существа есть уже само по себе состояние дезинтеграции и начало смерти. Пребывать в половой раздельности — значит пребывать на пути смерти, а кто не хочет или не может сойти с этого пути, должен по естественной необходимости пройти его до конца. Кто поддерживает корень смерти, тот неизбежно вкусит и плода ее. Бессмертным –может быть только целый человек, и если физиологическое соединение не может действительно восстановить цельность человеческого существа, то, значит, это ложное соединение должно быть заменено истинным соединением, а никак не воздержанием от всякого соединения, т. е. Никак не стремлением удержать in Statu quo разделенную, распавшуюся и, следовательно, смертную человеческую природу […]

Если по принципу ненормально то половое отношение, в котором часть ставится на место целого, то люди, так или иначе покупающие тело женщин для удовлетворения чувственной потребности и тем самым отделяющие тело от души, должны быть признаны ненормальными в половом отношении, психически больными, фетишистами в любви или даже некрофилами. А между тем эти заживо умирающие любители мертвечины считаются людьми нормальными, и через эту вторую смерть проходит почти все человечество! […]

Вообще, говоря о естественности или противуестественности, не следует забывать, что человек есть существо сложное и что естественно для одного из составляющих его начал или элементов, может быть противуестественным для другого и, следовательно, ненормальным для целого человека.

Для человека как животного совершенно естественно неограниченное удовлетворение своей половой потребности посредством известного физиологического действия, но человек, как существо нравственное, находит это действие противным своей высшей природе и стыдится его… Как животному общественному человеку естественно ограничивать физиологическую функцию, относящуюся к другим лицам, требованиями социально-нравственного закона. Этот закон извне ограничивает и закрывает животное отправление, делает его средством для социальной цели — образования семейного союза. Но существо дела от этого не изменяется. Семейный союз основан все-таки на внешнем материальном соединении полов, он оставляет человека-животное в его прежнем дезинтегрированном, половинчатом состоянии, которое необходимо ведет к дальнейшей дезинтеграции человеческого существа, т. е. К смерти.

Если бы человек сверх своей животной природы был только существом социально-нравственным, то из этих двух противоборствующих элементов — одинаково для него естественных — окончательное торжество оставалось бы за первым. Социально-нравственный закон и его основная объективация — семья вводит животную природу человека в границы, необходимые для родового прогресса, они упорядочивают смертную жизнь, но не открывают пути бессмертия. Индивидуальное существо так же истощается и умирает в социально-нравственном порядке жизни, как если бы оно оставалось исключительно под законом жизни животной. Слон и ворон оказываются даже значительно долговечнее самого добродетельного и аккуратного человека. Но в человеке кроме животной природы и социально-нравственного закона есть еще третье, высшее начало — духовное, мистическое или божественное. Оно и здесь, в области любви и половых отношений, есть тот “камень, его же небрегоша зиждущии” и “той бысть во главу угла”. Прежде физиологического соединения в животной природе, которое ведет к смерти, и прежде законного союза в порядке социально-нравственном, который от смерти не спасает, должно быть соединение в Боге, которое ведет к бессмертию, потому что не ограничивает только смертную жизнь природы человеческим законом, а перерождает ее вечною и нетленною силою благодати. Этот третий, а в истинном порядке — первый элемент с присущими ему требованиями совершенно естествен для человека в его целости как существа, причастного высшему божественному началу и посредствующего между ним и миром. А два низшие элемента — животная природа и социальный закон,— также естественные на своем месте, становятся противоестественными, когда берутся отдельно от высшего и полагаются вместо него. В области половой любви противоестественно для человека не только всякое беспорядочное, лишенное высшего, духовного освящения удовлетворение чувственных потребностей наподобие животных (помимо разных чудовищных явлений половой психопатии), но так же недостойны человека и противоестественны и те союзы между лицами разного пола, которые заключаются и поддерживаются только на основании гражданского закона, исключительно для целей морально-общественных, с устранением или при бездействии собственно духовного, мистического начала в человеке. Но именно такая противоестественная, с точки зрения цельного человеческого существа, перестановка этих отношений и господствует в нашей жизни и признается нормальной, и все осуждение переносится на несчастных психопатов любви, которые только доводят до смешных, безобразных, иногда отвратительных, но большей частию безвредных сравнительно крайностей это самое общепризнанное и господствующее извращение […]

Хотя все три естественные для человека в его целом отношении или связи между полами, именно связь в животной жизни, или по низшей природе, затем связь морально-житейская, или под законом, и, наконец, связь в жизни духовной, или соединение в Боге,— хотя все эти три отношения существуют в человечестве, но осуществляются противуестественно, именно в отдельности одно от другого, в обратной их истинному смыслу и порядку последовательности и в неравной мере.

На первом месте в нашей действительности является то, что поистине должно быть на последнем,— животная физиологическая связь. Она признается основанием всего дела, тогда как она должна быть лишь его крайним завершением. Для многих здесь основание совпадает с завершением: дальше животных отношений они и не идут; для других на этом широком основании поднимается социально-нравственная надстройка законного семейного союза. Тут житейская средина принимается за вершину жизни, и то, что должно служить свободным, осмысленным выражением во временном процессе вечного единства, становится невольным руслом бессмысленной материальной жизни. А затем, наконец, как редкое и исключительное явление остается для немногих избранных чистая духовная любовь, у которой все действительное содержание уже заранее отнято другими, низшими связями, так что ей приходится довольствоваться мечтательной и бесплодной чувствительностью безо всякой реальной задачи и жизненной цели. Эта несчастная духовная любовь напоминает маленьких ангелов старинной живописи, у которых есть только голова да крылышки и больше ничего. Эти ангелы ничего не делают за неимением рук и не могут двигаться вперед, так как их крылышкам хватает силы только на то, чтобы поддерживать их неподвижно на известной высоте. В таком же возвышенном, но крайне неудовлетворительном положении находится и духовная любовь. Физическая страсть имеет перед собою известное дело, хотя и постыдное; законный союз семейный также исполняет дело пока необходимое, хотя и посредственного достоинства. Но у духовной любви, какою она является до сих пор, заведомо нет совсем никакого дела, а потому неудивительно, что большинство дельных людей glaubt an keine Liebe oder nimmt's fur Poesie.

Эта исключительно духовная любовь есть, очевидно, такая же аномалия, как и любовь исключительно физическая и исключительно житейский союз. Абсолютная норма есть восстановление целости человеческого существа, и, нарушается ли эта норма в ту или другую сторону, в результате во всяком случае происходит явление ненормальное, противуестественное. Мнимо духовная любовь есть явление не только ненормальное, но и совершенно бесцельное, ибо то отделение духовного от чувственного, к которому она стремится, и без того наилучшим образом совершается смертью. Истинная же духовная любовь не есть слабое подражание и предварение смерти, а торжество над смертью, не отделение бессмертного от смертного, вечного от временного, а превращение смертного в бессмертное, восприятие временного в вечное. Ножная духовность есть отрицание плоти, истинная духовность есть ее перерождение, спасение, воскресение […]

Коренной смысл любви, как было уже показано, состоит в признании за другим существом безусловного значения […]

Предмет истинной любви не прост, а двойствен: мы любим, во-первых, то идеальное (не в смысле отвлеченном, а в смысле принадлежности к другой, высшей сфере бытия) существо, которое мы должны ввести в наш реальный мир, и, во-вторых, мы любим то природное человеческое существо, которое дает живой личный материал для этой реализации и которое чрез это идеализуется не в смысле нашего субъективного воображения, а в смысле своей действительной объективной перемены или перерождения. Таким образом, истинная любовь есть нераздельно и восходящая и нисходящая (amor ascendens и amor descendens), или те две Афродиты, которых Платон хорошо различал, но дурно разделял. Для Бога Его другое (т. е. Вселенная) имеет от века образ совершенной Женственности, но Он хочет, чтобы этот образ был не только для Него, но чтобы он; реализовался и воплотился для каждого индивидуального существа, способного с ним соединяться. К такой же реализации и воплощению стремится и сама вечная Женственность, которая не есть только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий. Весь мировой и исторический процесс есть процесс ее реализации и воплощения в великом многообразии форм и степеней. В половой любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность получает средство для своего окончательного, крайнего воплощения в индивидуальной жизни человека, способ самого глубокого и вместе с тем самого внешнего реально-ощутительного соединения с ним. Отсюда те проблески неземного блаженства, то веяние нездешней радости, которыми сопровождается любовь, даже несовершенная, и которые делают ее даже несовершенную, величайшим наслаждением людей и богов — hominum divomque voluptas. Отсюда же и глубочайшее страдание любви, бессильной удержать свой истинный предмет и все более и более от него удаляющейся […]

Тот разрыв личной ограниченности, которую именуют любовную страстью и составляет ее основной смысл, приводит на деле только к эгоизму вдвоем, потом втроем и т.д. Это конечно все-таки лучше, чем эгоизм в одиночку, но рассвет любви открывал всем иные горизонты […]

Пока индивидуальный подвиг ограничивается только своим ближайшим предметом — исправлением личного извращенного отношения между двумя существами,—он необходимо останется без окончательного успеха и в этом своем прямом деле. Ибо то зло, с которым сталкивается истинная любовь, зло материальной отдельности, непроницаемости и внешнего противоборства двух существ, внутренно восполняющих друг друга,— это зло есть частный, хотя и типичный случай общего извращения, которому подвержена наша жизнь, и не только наша, но и жизнь всего мира […]

Наше перерождение неразрывно связано с перерождением вселенной, с преобразованием ее форм пространства и времени. Истинная жизнь индивидуальности в ее полном и безусловном значении осуществляется и увековечивается только в соответствующем развитии всемирной жизни, в котором мы можем и должны деятельно участвовать, но которое не нами создается. Наше личное дело, поскольку оно истинно, есть общее дело всего мира — реализация и индивидуализация всеединой идеи и одухотворение материи. Оно подготовляется космическим процессом в природном мире, продолжается и совершается историческим процессом в человечестве.

Истинному бытию, или всеединой идее, противополагается в нашем мире вещественное бытие — то самое, что подавляет своим бессмысленным упорством и нашу любовь и не дает осуществиться ее смыслу. Главное свойство этого вещественного бытия есть двойная непроницаемость: 1) непроницаемость во времени, в силу которой всякий последующий момент бытия не сохраняет в себе предыдущего, а исключает или вытесняет его собою из существования, так что все новое в среде вещества происходит на счет прежнего или в ущерб ему, и 2) непроницаемость в пространстве, в силу которой две части вещества (два тела) не могут занимать зараз одного и того же места, т. е. Одной и той же части пространства, а необходимо вытесняют друг друга. Таким образом, то, что лежит в основе нашего мира, есть бытие в состоянии распадения, бытие раздробленное на исключающие друг друга части и моменты. Вот какую глубокую почву и какую широкую основу должны мы принять для того рокового разделения существ, в котором все бедствие и нашей личной жизни. Победить эту двойную непроницаемость тел и явлений, сделать внешнюю реальную среду сообразною внутреннему всеединству идеи — вот задача мирового процесса, столь же простая в общем понятии, сколько сложная и трудная в конкретном осуществлении […]

Фактически и в нашем видимом мире существует многое такое, что не есть только видоизменение вещественного бытия в его пространственной и временной непроницаемости, а есть даже прямое отрицание и упразднение этой самой непроницаемости. Таково, во-первых, всеобщее тяготение.

Сверх силы всемирного тяготения идеальное всеединство осуществляется духовно-телесным образом в мировом теле посредством света и других сродных явлений (электричество, магнетизм, теплота), которых характер находится в таком явном контрасте со свойствами непроницаемого и косного вещества, что и материалистическая наука принуждена очевидностью признать здесь особого рода полувещественную субстанцию, которую она называет эфиром. Это есть материя невесомая, всепроницаемая и всепроницающая — одним словом, вещество невещественное.

Этими воплощениями всеединой идеи — тяготением и эфиром — держится наш действительный мир, а вещество само по себе, т. е. Мертвая совокупность косных и непроницаемых атомов, только мыслится отвлекающим рассудком, но не наблюдается и не открывается ни в какой действительности.

Сама индивидуальная жизнь животного организма уже содержит в себе некоторое, хотя ограниченное, подобие всеединства, поскольку здесь осуществляется полная солидарность и взаимность всех частных органов и элементов в единстве живого тела.

Несмотря на продолжающуюся и в человечестве смену поколений, есть уже начатки увековечивания индивидуальности в религии предков — этой основе с всякой культуры, в предании — памяти общества, в искусстве, наконец, в исторической науке. Несовершенный, зачаточный характер такого увековечения соответствует несовершенству самой человеческой индивидуальности и самого общества. Но прогресс несомненен, и окончательная задача становится яснее и ближе.

Если корень ложного существования состоит в непроницаемости, т. е. Во взаимном исключении существ друг другом, то истинная жизнь есть то, чтобы жить в другом, как в себе, или находить в другом положительное и безусловное восполнение своего существа. Основанием и типом этой истинной жизни остается и всегда останется любовь половая, или супружеская […]

Установление истинного любовного, или сизигического, отношения человека не только к его социальной, но и к его природной и всемирной среде — эта цель сама по себе ясна. Нельзя сказать того же о путях ее достижения для отдельного человека. Не вдаваясь в преждевременные, а потому сомнительные и неудобные подробности, можно, основываясь на твердых аналогиях космического и исторического опыта, с уверенностью утверждать, что всякая сознательная действительность человеческая, определяемая идеею всемирной сизигии и имеющая целью воплотить всеединый идеал в той или другой сфере, тем самым действительно производит или освобождает реальные духовно-телесные токи, которые постепенно овладевают материальною средою, одухотворяют ее и воплощают в ней те или другие образы всеединства — живые и веяные подобия абсолютной человечности. Сила же этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращение или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

Связавши в идее всемирной сизигии (индивидуальную половую) любовь с истинною сущностью всеобщей жизни, я исполнил свою прямую задачу — определить смысл любви, так как под смыслом какого-нибудь предмета разумеется именно его внутренняя связь со всеобщею истиной.

*(Соловьев В.С. Смысл любви //Соловьев В.С. Соч. в 2 т.-2-е изд. Т.2. –М.,1990. С.493-547)*

***тема 10. экзистенциальная философия.***

***«экзистенциализм – это гуманизм» ж.-п.сартра***

*ЖАН-ПОЛЬ**САРТР (1905–1980) - французский философ, писатель, драматург и эссеист. Его ранние работы – это собственно философские исследования. В 1938г. он опубликовал свой первый роман «Тошнота», а в следующем году выпустил книгу небольших рассказов под названием «Стена». Во время Второй мировой войны был активным участником Сопротивления, писал для подпольных изданий. Во время оккупации опубликовал свой главный философский труд – «Бытие и ничто».*

*Признанный лидер экзистенциалистского движения, Сартр стал наиболее заметным и обсуждаемым автором в послевоенной Франции. В 1964г. Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе, заявив, что не хотел бы ставить под сомнение свою независимость.*

*Термин «экзистенциализм» применяют и к философии более ранних мыслителей, таких, как Кьеркегор или Хайдеггер, однако именно благодаря Сартру этот термин приобрел известность. Сартра интересовала не метафизика, а феноменология. Человек сознает, что лишь он один во Вселенной наделен свободой. Это означает, что только для него «существование предшествует сущности», т.е. он всегда свободен стать иным, чем был. Человек всецело ответствен за то, чем является в каждый момент, ни его прошлое, ни его так называемая «природа» не предопределяют принимаемых им решений. Общее впечатление случайности, произвольности человеческого существования рождает беспокойство, озабоченность. Чтобы избежать этого, большинство людей отказываются от «аутентичной», подлинной жизни, которая требует постоянного подтверждения свободы выбора, они предпочитают суррогат веры. Это возможно, говорит Сартр, поскольку человек придает смысл бессмысленной Вселенной, а также окружающим его людям, так что индивид, который хочет отказаться от собственной свободы, играет «роль», самим ли им выбранную или навязанную другими. И наоборот, действительно свободный человек должен выражать свою свободу посредством собственного сознательного действия.*

# ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ – ЭТО ГУМАНИЗМ

Я хотел бы выступить здесь в защиту экзистенциализма от ряда упреков, высказанных в адрес этого учения.

Прежде всего, экзистенциализм обвиняют в том, будто он призывает погрузиться в квиетизм отчаяния: раз никакая проблема вообще не разрешима, то не может быть и никакой возможности действия в мире; в конечном итоге это созерцательная философия, а поскольку созерцание — роскошь, то мы вновь приходим к буржуазной философии. Таковы главным образом обвинения со стороны коммунистов.

С другой стороны, нас обвиняют в том, что мы подчеркиваем человеческую низость, показываем всюду гнусное, темное, липкое и пренебрегаем многим приятным и красивым, отворачиваемся от светлой стороны человеческой натуры. Так, например, критик, стоящий на позициях католицизма, - г-жа Мерсье обвиняла нас в том, что мы забыли об улыбке ребенка. Те и другие упрекают нас в том, что мы забыли о солидарности людей, смотрим на человека как на изолированное существо; и это следствие того, что мы исходим, как заявляют коммунисты, из чистой субъективности, из картезианского «я мыслю», то есть опять-таки из такого момента, когда человек постигает себя в одиночестве, и это будто бы отрезает нам путь к солидарности с людьми, которые находятся вовне и которых нельзя постичь посредством cogito.

Со своей стороны христиане упрекают нас еще и в том, что мы отрицаем реальность и значение человеческих поступков, так как, уничтожая божественные заповеди и вечные ценности, не оставляем ничего, кроме произвола: всякому позволено поступать, как ему вздумается, и никто не может судить о взглядах и поступках других людей.

На все эти обвинения я постараюсь здесь ответить; именно поэтому я и озаглавил эту небольшую работу «Экзистенциализм — это гуманизм». Многих, вероятно, удивит, что здесь говорится о гуманизме. Разберем, какой смысл мы в него вкладываем. В любом случае мы можем сказать с самого начала, что под экзистенциализмом мы понимаем такое учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и человеческую субъективность […]

…Существуют две разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские экзистенциалисты, к которым я отношу Ясперса и исповедующего католицизм Габриэля Марселя; и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты, к которым относятся Хайдеггер и французские экзистенциалисты, в том числе я сам. Тех и других объединяет лишь убеждение в том, что существование предшествует сущности, или, если хотите, что нужно исходить из субъекта. Как это, собственно, следует понимать?

Возьмем изготовленный человеческими руками предмет, например книгу или нож для разрезания бумаги. Он был сделан ремесленником, который руководствовался при его изготовлении определенным понятием, а именно понятием ножа, а также заранее известной техникой, которая предполагается этим понятием и есть, в сущности, рецепт изготовления. Таким образом, нож является предметом, который, с одной стороны, производится определенным способом, а с другой — приносит определенную пользу. Невозможно представить себе человека, который бы изготовлял этот нож, не зная, зачем он нужен. Следовательно, мы можем сказать, что у ножа его сущность, то есть сумма приемов и качеств, которые позволяют его изготовить и определить, предшествует его существованию. И это обусловливает наличие здесь, передо мной, данного ножа или данной книги. В этом случае мы имеем дело с техническим взглядом на мир, согласно которому изготовление предшествует существованию.

Когда мы представляем себе бога-творца, то этот бог по большей части уподобляется своего рода ремесленнику высшего порядка. Какое бы учение мы ни взяли — будь то учение Декарта или Лейбница,— везде предполагается, что воля в большей или меньшей степени следует за разумом или, по крайней мере, ему сопутствует и что бог, когда творит, отлично себе представляет, что именно он творит. Таким образом, понятие «человек» в божественном разуме аналогично понятию «нож» в разуме ремесленника. И бог творит человека, сообразуясь с техникой и замыслом, точно так же, как ремесленник изготовляет нож в соответствии с его определением и техникой производства. Так же и индивид реализует какое-то понятие, содержащееся в божественном разуме.

В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие бога, но не идею о том, что сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем повсюду: у Дидро, Вольтера и даже у Канта. Человек обладает некой человеческой природой. Эта человеческая природа, являющаяся «человеческим» понятием, имеется у всех людей. А это означает, что каждый отдельный человек — лишь частный случай общего понятия «человек». У Канта из этой всеобщности вытекает, что и житель лесов — естественный человек, и буржуа подводятся под одно определение, обладают одними и теми же основными качествами. Следовательно, и здесь сущность человека предшествует его историческому существованию, которое мы находим в природе.

Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь я, более последователен. Он учит, что если даже бога нет, то есть, по крайней мере, одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек, или, по Хайдеггеру, человеческая реальность. Что это означает: «существование предшествует сущности»? Это означает, что человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется.

Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма […]

… Мы хотим сказать, что человек прежде всего существует, что человек — существо, которое устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее […]

…Экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование.

Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. Слово «субъективизм» имеет два смысла, и наши оппоненты пользуются этой двусмысленностью. Субъективизм означает, с одной стороны, что индивидуальный субъект сам себя выбирает, а с другой стороны — что человек не может выйти за пределы человеческой субъективности. Именно второй смысл и есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть. Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. То, что мы выбираем,— всегда благо. Но ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех. Если, с другой стороны, существование предшествует сущности, и если мы хотим существовать, творя одновременно наш образ, то этот образ значим для всей нашей эпохи в целом. Таким образом, наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, так как распространяется на все человечествo […]

…Я ответственен, таким образом, за себя самого и за всех и создаю определенный образ человека, который выбираю; выбирая себя, я выбираю человека вообще.

Это позволяет нам понять, что скрывается за столь громкими словами, как «тревога», «заброшенность», «отчаяние». Как вы увидите, в них заложен чрезвычайно простой смысл. Во-первых, что понимается под тревогой? Экзистенциалист охотно заявит, что человек — это тревога. А это означает, что человек, который на что-то решается и сознает, что выбирает не только свое собственное бытие, но что он еще и законодатель, выбирающий одновременно с собой и все человечество, не может избежать чувства полной и глубокой ответственности […]

Говоря о «заброшенности» (излюбленное выражение Хайдеггера), мы хотим сказать только то, что бога нет, и что отсюда необходимо сделать все выводы […]

Достоевский как-то писал, что «если бога нет, то все дозволено». Это — исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если бога не существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего, у него нет оправданий. Действительно, если существование предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет детерминизма, человек свободен, человек—это свобода.

С другой стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой — в светлом царстве ценностей — у нас не имеется ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал; и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает. Экзистенциалист не верит во всесилие страсти. Он никогда не станет утверждать, что благородная страсть — это всесокрушающий поток, который неумолимо толкает человека на совершение определенных поступков и поэтому может служить извинением. Он полагает, что человек ответствен за свои страсти. Экзистенциалист не считает также, что человек может получить на Земле помощь в виде какого-то знака, данного ему как ориентир. По его мнению, человек сам расшифровывает знамения, причем так, как ему вздумается. Он считает, следовательно, что человек, не имея никакой поддержки и помощи, осужден всякий раз изобретать человека […]

Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. Заброшенность приходит вместе с тревогой.

Что касается отчаяния, то этот термин имеет чрезвычайно простой смысл. Он означает, что мы будем принимать во внимание лишь то, что зависит от нашей воли, или ту сумму вероятностей, которые делают возможным наше действие. Когда чего-нибудь хотят, всегда присутствует элемент вероятности. Я могу рассчитывать на то, что ко мне приедет друг. Этот друг приедет на поезде или на трамвае. И это предполагает, что поезд прибудет в назначенное время, а трамвай не сойдет с рельсов. Я остаюсь в области возможного; но полагаться на возможность следует лишь настолько, насколько наше действие допускает всю совокупность возможностей. Как только рассматриваемые мною возможности перестают строго соответствовать моим действиям, я должен перестать ими интересоваться, потому что никакой бог и никакое провидение не могут приспособить мир и его возможности к моей воле. В сущности, когда Декарт писал: «Побеждать скорее самого себя, чем мир» то этим он хотел сказать то же самое: действовать без надежды. Марксисты, с которыми я разговаривал, возражали: «В ваших действиях, которые, очевидно, будут ограничены вашей смертью, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны других людей. Это значит рассчитывать, во-первых, на то, что другие люди сделают для помощи вам в другом месте — в Китае, в России, и в то же время на то, что они сделают позже, после вашей смерти, для того чтобы продолжить ваши действия и довести их до завершения, то есть революции. Вы даже должны на это рассчитывать, иначе вам нет морального оправдания». Я же на это отвечаю, что я всегда буду рассчитывать на товарищей по борьбе, в той мере, в какой они участвуют вместе со мной в общей; конкретной борьбе, связаны единством партии или группировки, действие которой я более или менее могу контролировать, — я состою в ней, и мне известно все, что в ней делается. И вот при таких условиях рассчитывать на единство и на волю этой партии — это все равно, что рассчитывать на то, что трамвай придет вовремя или что поезд не сойдет с рельсов. Но я не могу рассчитывать на людей, которых не знаю, основываясь на вере в человеческую доброту или заинтересованность человека в общественном благе. Ведь человек свободен, и нет никакой человеческой природы, на которой я мог бы основывать свои расчеты […]

Оно [учение Сартра – *прим. сост*.] даже идет дальше и заявляет, что человек есть не что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь. Отсюда понятно, почему наше учение внушает ужас некоторым людям. Ведь у них зачастую нет иного способа переносить собственную несостоятельность, как с помощью рассуждения: «Обстоятельства были против меня, я стою гораздо большего. Правда, у меня не было большой любви или большой дружбы, но это только потому, что я не встретил мужчину или женщину, которые были бы их достойны. Я не написал хороших книг, но это потому, что у меня не было досуга. У меня не было детей, которым я мог бы себя посвятить, но это потому, что я не нашел человека, с которым мог бы пройти по жизни. Во мне, стало быть, остаются в целости и сохранности множество неиспользованных способностей, склонностей и возможностей, которые придают мне значительно большую значимость, чем можно было бы судить только по моим поступкам». Однако в действительности, как считают экзистенциалисты, нет никакой любви, кроме той, что создает саму себя; нет никакой «возможной» любви, кроме той, которая в любви проявляется. Нет никакого гения, кроме того, который выражает себя в произведениях искусства. Гений Пруста — это произведения Пруста. Гений Расина — это ряд его трагедий, и кроме них ничего нет. Зачем говорить, что Расин мог бы написать еще одну трагедию, если он ее не написал? Человек живет своей жизнью, он создает свой облик, а вне этого облика ничего нет. Конечно, это может показаться жестоким для тех, кто не преуспел в жизни. Но, с другой стороны, надо, чтобы люди поняли, что в счет идет только реальность, что мечты, ожидания и надежды позволяют определить человека лишь как обманчивый сон, как рухнувшие надежды, как напрасные ожидания, то есть определить его отрицательно, а не положительно. Тем не менее, когда говорят: «Ты есть не что иное, как твоя жизнь», это не значит, что, например, о художнике будут судить исключительно по его произведениям; есть тысячи других вещей, которые его определяют. Мы хотим лишь сказать, что человек есть не что иное, как ряд его поступков, что он есть сумма, организация, совокупность отношений, из которых составляются эти поступки […]

…Экзистенциалист, описывая труса, полагает, что этот трус ответствен за собственную трусость. Он таков не потому, что у него трусливое сердце, легкие или мозг. Он таков не вследствие своей физиологической организации, но потому, что сам сделал себя трусом своими поступками. Не бывает трусливого темперамента. Темпераменты бывают нервическими, слабыми, как говорится, худосочными или полнокровными. Но слабый человек вовсе не обязательно трус, так как трусость возникает вследствие отречения или уступки. Темперамент — еще не действие. Трус определяется по совершенному поступку. То, что люди смутно чувствуют и что вызывает у них ужас,— это виновность самого труса в том, что он трус. Люди хотели бы, чтобы трусами или героями рождались […]

В противоположность философии Декарта, через «я мыслю» мы постигаем себя перед лицом другого, и другой так же достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек, постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех других, и притом — как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет в том, что не может быть каким-нибудь (в том смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен, зол или ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего существования, так же, впрочем, как и для моего самопознания. При этих условиях обнаружение моего внутреннего мира открывает мне в то же время и другого, как стоящую передо мной свободу, которая мыслит и желает «за» или «против» меня. Таким образом, открывается целый мир, который мы называем интерсубъективностью. В этом мире человек и решает, чем является он, и чем являются другие.

Кроме того, если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы человеческой природой, то все же существует некая общность условий человеческого существования. Не случайно современные мыслители чаще говорят об условиях человеческого существования, чем о человеческой природе. Под ними они понимают, с большей или меньшей степенью ясности, совокупность априорных пределов, которые очерчивают фундаментальную ситуацию человека в универсуме. Исторические ситуации меняются: человек может родиться рабом в языческом обществе, феодальным сеньором или пролетарием. Не изменяется лишь необходимость для него быть в мире, быть в нем за работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным. Пределы не субъективны и не объективны, Скорее, они имеют объективную и субъективную стороны. Объективны они потому, что встречаются повсюду и повсюду могут быть опознаны. Субъективны потому, что переживаемы; они ничего не представляют собой, если не пережиты человеком, который свободно определяет себя в своем существовании по отношению к ним. И хотя проекты могут быть различными, ни один мне не чужд, потому что все они представляют собой попытку преодолеть пределы, или раздвинуть их, или не признать их, или приспособиться к ним. Следовательно, всякий проект, каким бы индивидуальным он ни был, обладает универсальной значимостью. Любой проект, будь то проект китайца, индейца или негра, может быть понят европейцем. Может быть понят — это значит, что европеец 1945 года может точно так же идти от постигнутой им ситуации к ее пределам, что он может воссоздать в себе проект китайца, индейца или африканца. Любой проект универсален в том смысле, что понятен каждому. Это не означает, что данный проект определяет человека раз навсегда, а только то, что он может быть воспроизведен. Всегда можно понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, достаточно иметь необходимые сведения. В этом смысле мы можем говорить о всеобщности человека, которая, однако, не дана заранее, но постоянно созидается. Выбирая себя, я созидаю всеобщее. Я созидаю его, понимая проект любого другого человека, к какой бы эпохе он ни принадлежал. Эта абсолютность выбора не ликвидирует относительности каждой отдельной эпохи. Экзистенциализм и хочет показать эту связь между абсолютным характером свободного действия, посредством которого каждый человек реализует себя, реализуя в то же время определенный тип человечества,— действия, понятного любой эпохе и любому человеку, и относительностью культуры, которая может явиться следствием такого выбора […]

…Мы не верим в прогресс. Прогресс – это улучшение. Человек же всегда находится лицом к лицу с меняющейся ситуацией, и выбор всегда остается выбором в ситуации. Моральная проблема ничуть не изменилась с тех пор, когда надо было выбирать между сторонниками и противниками рабовладения во время войны между Севером и Югом, вплоть до сегодняшнего дня, когда нужно голосовать за МРП или за коммунистов […]

Если мы определили ситуацию человека как свободный выбор, без оправданий и без опоры, то всякий человек, пытающийся оправдаться своими страстями или придумывающий детерминизм, нечестен. Могут возразить: «Но почему бы ему не выбирать себя нечестно?» Я отвечу, что не собираюсь судить с моральной точки зрения, а просто определяю нечестность как заблуждение. Здесь нельзя избежать суждения об истине. Нечестность — это, очевидно, ложь ибо утаивает пoлную свободу действия… В каждом конкретном случае свобода не может иметь другой цели, кроме самой себя, и если человек однажды признал, что, пребывая в заброшенности, сам устанавливает ценности, он может желать теперь только одного — свободы как основания всех ценностей. Это не означает, что он желает ее абстрактно. Это попросту означает, что действия честных людей имеют своей конечной целью поиски свободы как таковой…Но, стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от свободы других людей и что свобода других зависит от нашей свободы […]

…Слово «гуманизм» имеет два совершенно различных смысла. Под гуманизмом можно понимать теорию, которая рассматривает человека как цель и высшую ценность. Подобного рода гуманизм имеется у Кокто, например, в его рассказе «В 80 часов вокруг света», где один из героев, пролетая на самолете над горами, восклицает: «Человек поразителен!» Это означает, что лично я, не принимавший участия в создании самолетов, могу воспользоваться плодами этих изобретений и что лично я — как человек — могу относить на свой счет и ответственность, и почести за действия, совершенные другими людьми. Это означало бы, что мы можем оценивать человека по наиболее выдающимся действиям некоторых людей. Такой гуманизм абсурден, ибо только собака или лошадь могла бы дать общую характеристику, человеку и заявить, что человек поразителен, чего они, кстати, вовсе не собираются делать, по крайней мере, насколько мне известно. Но нельзя признать, чтобы о человеке мог судить человек. Экзистенциализм освобождает его от всех суждений подобного рода. Экзистенциалист никогда нe рассматривает человека как цель, так как человек всегда незавершен. И мы не обязаны думать, что есть какое-то человечество, которому можно поклоняться на манер Огюста Конта. Культ человечества приводит к замкнутому гуманизму Конта и — стоит сказать — к фашизму. Такой гуманизм нам не нужен.

Но гуманизм можно понимать и в другом смысле. Человек находится постоянно вне самого себя. Именно проектируя себя и теряя себя вовне, он существует как человек. С другой стороны, он может существовать, только преследуя трансцендентные цели. Будучи этим выходом за пределы, улавливая объекты лишь в связи с этим преодолением самого себя, он находится в сердцевине, в центре этого выхода за собственные пределы. Нет никакого другого мира, помимо человеческого мира, мира человеческой субъективности. Эта связь конституирующей человека трансцендентности (не в том смысле, в каком трансцендентен бог, а в смысле выхода за свои пределы) и субъективности — в том смысле, что человек не замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом мире,— и есть то, что мы называем экзистенциалистским гуманизмом. Это гуманизм, поскольку мы напоминаем человеку, что нет другого законодателя, кроме него самого, в заброшенности он будет решать свою судьбу; поскольку мы показываем, что реализовать себя по-человечески человек может не путем погружения в самого себя, но в поиске цели вовне, которой может быть освобождение или еще какое-нибудь конкретное самоосуществление […]

*(Ж.П.Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов /Сост. и общ.ред.А.А.Яковлева. –М.,1990. С.319-344)*

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |
| --- |
| От составителей |
| Тема 1. Философия Древнего Китая. «Лунь юй» Конфуция |
| Тема 2. Античная философия   1. "О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов" Диогена Лаэрция 2. "Апология Сократа" Платона |
| Тема 3. Философия средних веков.  "Исповедь" Блаженного Августина |
| Тема 4. Философская мысль периода Возрождения   1. Н.Кузанский «Об ученом незнании», «Об уме» 2. Дж.Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека» 3. Э.Роттердамский «Похвала глупости» 4. Т.Мор «Утопия» 5. Т.Кампанелла «Город Солнца» |
| Тема 5. Философия Нового времени   1. Р.Декарт «Рассуждение о методе» 2. Ф.Бэкон «Новый Органон», «Новая Атлантида» |
| Тема 6. Философия Просвещения   * + 1. Вольтер «Философские письма», «Метафизический трактат», «Несведущий философ», «Назидательные проповеди», «Философский словарь»     2. Ж.-Ж.Руссо «Рассуждение о науках и искусствах», «Об общественном договоре»   Французский механистический материализм XVIII века   1. Д.Дидро «О достаточности естественной религии» 2. П.А.Гольбах «Система природы» |
| Тема 7. Философская мысль в Башкортостане.  Эпос «Урал-батыр» |
| Тема 8. Философия жизни. «Антихристианин» Ф.Ницше |
| Тема 9. Русская религиозная философия.  "Смысл любви" Вл.Соловьева |
| Тема 10. Экзистенциальная философия.  "Экзистенциализм - это гуманизм" Ж.-П.Сартра |